





88 3
Н 18

ИВ. НАЖИВИНЪ.

И Н Т И М Н О Е .

КНИГА ТИХАГО РАЗДУМЬЯ.

ДАР
Л. ПОЛЕВОГО

*JE NE SUPPOSE RIEN, JE NE
PROPOSE RIEN, — J'EXPOSE.
MONTAIGNE.*

ИЗДАНИЕ 2-е.



К-ВО „ИКАРЪ“

Б Е Р Л И Н Ъ 1 9 2 2 .

ГУМАНИТАРНЫЙ
ЦЕНТР
ИРКУТСК ✓

Н 74 р. 92 ✓

Alle Rechte vorbehalten.
All rights reserved.
Tous les droits réservés.

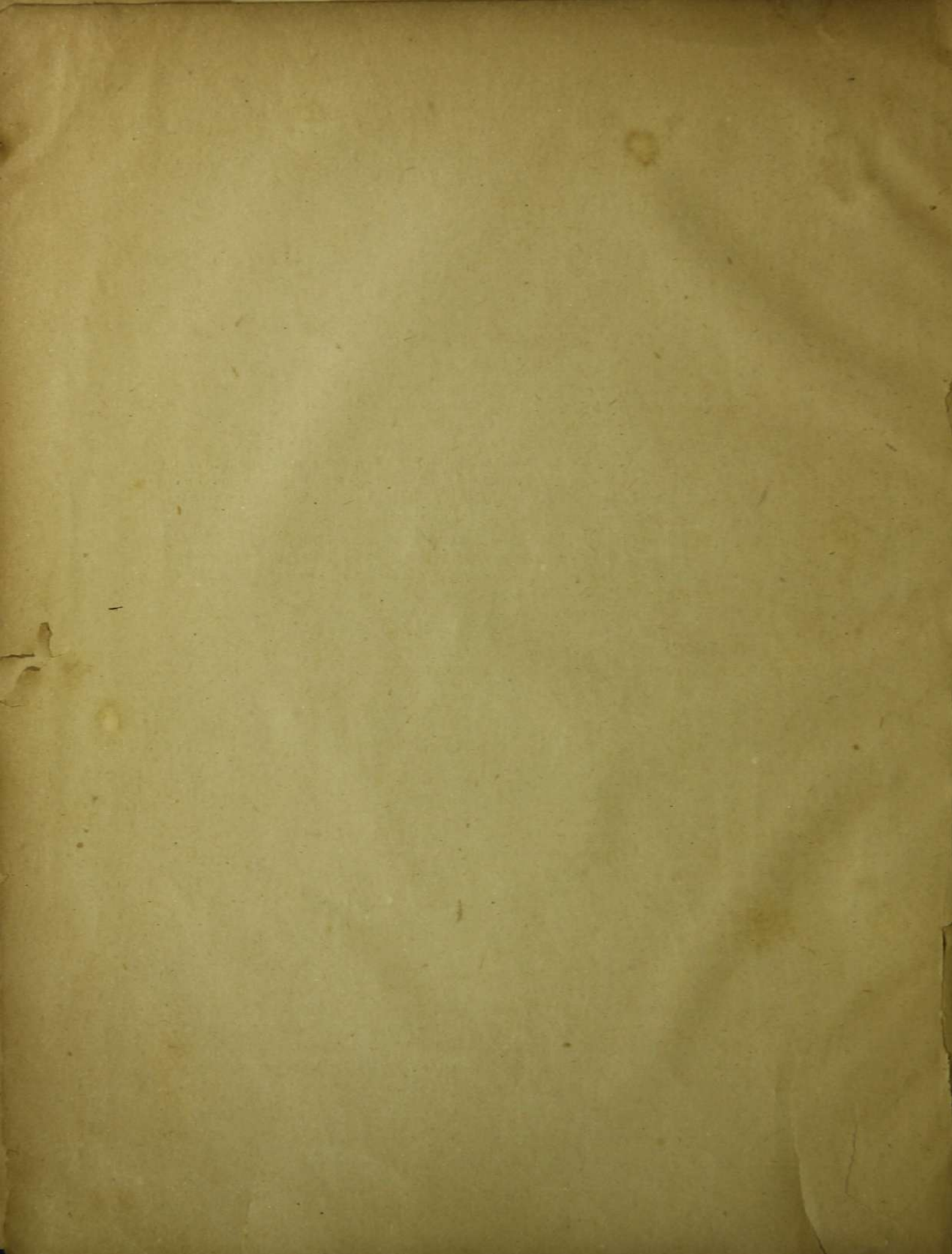
ГЦ
ФОНД
РЕДКИХ КНИГ

А. Кочетков

26, I, 1926.

Grand Hotel des Wagons-Lits
Peking

Залитый солнцем, цвѣтущій лугъ жизни
со всѣхъ сторонъ окруженъ неприступной стѣ-
ной Тайны. Раньше, подойдя къ этой стѣнѣ,
я бился о ея камни головой и отчаивался;
теперь же, когда становится она на пути мо-
емъ, я останавливаюсь, свертываю въ сторону
и вдоль стѣны, у ея подножя, ищу и нахожу
цвѣты. . .





Передъ зеркаломъ.

Я вольная, сторожкая птица, отъ которой пахнетъ вѣтромъ и далью, и которая не любитъ подпускать къ себѣ близко. Я не дѣлатель, не борець, я — Гамлетъ, созерцатель, для котораго дума о жизни часто дороже и интереснѣе самой жизни. Я не знаю, на сколько «полезно» такое амплуа въ жизни, но думаю, что все сущее имѣетъ свои разумныя основанія, и, если мнѣ нужны сапоги и хорошо налаженные финансы, то и сапожнику, и министру финансовъ не вредно иногда отдохнуть надъ моей страницей. . . И для борьбы я слишкомъ дальнозорокъ. Я вижу всегда слишкомъ много, больше, чѣмъ слѣдуетъ, и потому я не могу не вникать, а вникать значитъ понимать, а понимать значитъ не прощать — ибо кто ты, фарисей, чтобы смѣть прощать? — а не обвинять. Я часто даю себѣ и сержусь, но осерчать на противниковъ до конца я не могу. Я начинаю думать и сердце «отходить» и вотъ вдругъ съ эллиномъ я эллинъ и съ иудеемъ — иудей и все, что угодно. Для того, чтобы дѣйствовать, надо твердо вѣрить въ свою правоту, какъ вѣрить, напримѣръ, Вильгельмъ II или Ленинъ, я же не вѣрю твердо ни во что, я вижу, что борьба многообразныхъ началъ этихъ и есть сама жизнь и, кто въ ней въ концѣ концовъ побѣдитъ на сегодня, для мудраго безразлично, ибо жизнь остается при всякой побѣдѣ и при всякомъ поражении одинаковой, все такая же пестрая, волнующая, теплая, красивая. . .

На ея могилкѣ.

Туманъ. . . Сквозь бѣлесую мглу нѣжно проступаетъ молодая, свѣжая пушистая зелень лѣса. Гдѣ-то неподалеку въ звонкомъ ущельѣ кукуетъ кукушка. И больно сжалось сердце: ея нѣтъ, ея нѣтъ! . .

И пришелъ вечеръ. Тишина, золотое сіяніе заката, въ небѣ крики журавлей, тянущихъ на милый, далекій сѣверъ. И опять: ея нѣтъ, ея нѣтъ! . .

Зачѣмъ? Почему? Что все это такое: это тихое сіяніе вечера, эти крики журавлей, эта молчаливая дорогая могилка, эта моя грусть и слезы?

Ничего, ничего не знаю! . .

Ночью.

Проснулся, раскрылъ окно — тихая, звѣздная ночь, лунная. Вдали то и дѣло вспыхиваютъ зарницы, и все вокругъ точно пляшетъ: то появится, то исчезнетъ. Точно это не неподвижные дубы, скалы, звѣзды, а что-то призрачное, нереальное. И я уже не мыслью, какъ за чтеніемъ Веданты, а всѣмъ своимъ существомъ почув-

ствоваль, что все это, весь этотъ пляшущій при вспышкахъ молній во тьмѣ миръ, дѣйствительно, призракъ, и что мнѣ поэтому какъ-то не на что опереться, что я вишу какъ будто гдѣ-то въ безконечномъ пространствѣ. И стало жутко, тревожно. . .

И вдругъ я взглянулъ вверхъ: звѣзды, тишина, глубина, миръ. . . И шевельнулось въ душѣ недоброе чувство: «миръ, у тебя миръ, а намъ то каково?» И промелькнула — все это спросонья — мысль: если бы не грустные, хоть иногда, облачные, сѣренькіе деньки, прерывающіе иногда этотъ миръ и великолѣпіе неба, люди или возненавидѣли бы этотъ его миръ, или . . . перемѣнили бы всю свою жизнь. . .

Ужасъ.

Говорятъ, что одна американская газета поглощаетъ бумагой въ сутки до 13000 деревьевъ и что, если дѣло пойдетъ такъ и дальше, то черезъ 21 годъ въ Америкѣ не останется ни одного перелѣска. Только вдумавшись немного, поймешь весь безмѣрный ужасъ этого преступленія. Оголить землю, уничтожить одно изъ самыхъ прекрасныхъ украшеній ея, ея храмъ, обезводитъ поэтому рѣки, вызвать засухи, обезобразитъ землю, и все это только для того, чтобы отравлять миллионы людей каждый день всякою пошлостью и ложью и ни на что не нужнымъ вздоромъ, отъ этого просто можно съ ума сойти! . . . Сколько красоты создано природой, и какое безобразіе дѣлаетъ изъ этого человѣкъ, пожирающій лѣса, зелень, свѣжесть, радость для того, чтобы превратить все это въ «кушайте Геркулесъ», «я былъ лысымъ» и во вранье какого-нибудь безстыжаго политика! . . .

До чего нагло и мерзко лицо нашей такъ называемой цивилизаціи!

Человѣкъ изъ папье-маше.

Приѣхалъ Н., вотъ уже много лѣтъ проповѣдующій вегетеріанство и «возвращеніе къ природѣ». Когда мы встрѣтились утромъ въ саду, онъ тотчасъ же сѣлъ спиною къ морю и заговорилъ о . . . разныхъ книжкахъ, брошюрахъ, газетахъ и только черезъ часъ спохватился и, обратившись къ морю, проговорилъ, какъ бы по обязанности:

— Какъ у васъ хорошо тутъ! . . .

И сразу раскрылось все, что въ немъ. Природы, возвратъ къ которой онъ проповѣдуетъ и на которую иногда разсѣянно взглядываетъ сквозь пенсне, онъ не знаетъ и поэтому не любитъ, для него это — только красивое слово, и вся его проповѣдь — это только нанизываніе одно на другое этихъ красивыхъ словъ: природа, трудъ на землѣ и пр., — словъ, подъ которыми нѣтъ рѣшительно ничего. Онъ ходитъ у насъ по морскому берегу, какъ слѣпой, онъ говоритъ только о печатной бумагѣ во всѣхъ ея видахъ. Онъ ѣстъ душистое, только что сорванное съ яблони яблоко не потому, что ароматъ его и вкусъ прелестны, а потому, что это — «сыроядѣніе», которое, какъ сказалъ докторъ такой-то, особенно «полезно», онъ купается въ морѣ . . . впрочемъ, онъ не купается, а «совершаетъ частыя омовенія тѣла» потому, что они, какъ сказалъ докторъ вотъ такой-то, тоже очень «полезны». Онъ глубоко вдыхаетъ ароматный морской воздухъ не потому, что его радостно вдыхать, а опять-таки потому, что въ немъ есть какая-то такая штука, которая сдѣлаетъ его, Н., здоровымъ и цвѣтушимъ: такъ сказалъ докторъ такой-то. . .

Это не настоящие, не живые люди, а люди из папье-маше и, как ни воюю я с шакалкой, который все таскает у нас курь, вороватый шакалка этот мнѣ ближе, понятнѣе и роднѣе. . .

Тайна.

Каждое утро я мету свою комнату, и каждый разъ, видя подъ щеткой эту грудку сѣрой пыли, я невольно думаю, что это я самъ себя выметаю. Тутъ, въ этой сѣрой грудкѣ, есть и земля, принесенная на подошвахъ, и частички изношеннаго платья, и частички моего тѣла. Все это — потокъ безобразной матеріи, которая течетъ черезъ пылающій центръ моего Я, одухотворяющаго ее. Потомъ все это идетъ на огородъ и превращается тамъ подъ лучами солнца въ рѣдису, салатъ, капусту и снова течетъ черезъ Я.

Тайна вѣковая одинаково не дается ни спиритуалистамъ, ни дуалистамъ, ни материалистамъ, никому. Спиритуалисты мнѣ были одно время ближе вѣхъ, но и они не даютъ всей тайны, останавливаются передъ послѣднимъ откровеніемъ, не въ силахъ проникнуть далѣе. У нихъ не раскрыто, откуда это обманъ многообразія міра, т.-е. почему лошадь — лошадь, а облако — облако? Пусть все это не такое, какимъ оно мнѣ представляется, пусть все это обманъ нашихъ чувствъ, игра Майи, но почему, откуда это многообразіе? А если тайна раскрыта не вся, то это все равно, какъ если бы не было раскрыто ничего. . .

И чувство покорности предъ Тайной во мнѣ все крѣпнеть, — ничего другого, вѣдь, и не остается! . .

Жестяная лампочка.

Материальныя усовершенствованія ничуть не увеличиваютъ счастья человѣчества. Какимъ удобствомъ кажется въ сравненіи съ прежней «лучинушкой» теплѣе решная маленькая керосиновая лампочка, а, между тѣмъ, что она прибавила мужику? Правда, пряхъ можно пряеть спокойнѣе, не надо то и дѣло вставать, чтобы перемѣнить лучину въ свѣтцѣ, но зато сколько эти же самыя пряхи создали милыхъ, задушевныхъ пѣсень о своей лучинушкѣ, сколько поэзіи внесли онѣ и въ свою и въ нашу жизнь этими милыми пѣснями, въ то время, какъ никто еще до сихъ поръ не осмѣлился создать такой пѣсенки для маленькой жестяной проржавѣвшей лампочки. Что-нибудь да значить же это! И совсѣмъ не въ томъ причина, что «лучинушка» хорошо рѣмуется съ «кручинушкой», и «дѣтинушкой», и «рябинушкой», а на лампу, какъ ни старайся, не придумаешь никакой рѣмы. Нѣтъ въ ней, проклятой, никакой поэзіи, никакой красоты. . .

Будто бы, усовершенствованія направлены на то, чтобы сокращать трудъ человѣка, чтобы быть онъ болѣе свободенъ. . . Думается, что и это обманъ, ибо всѣ изобрѣтенія эти не столько сокращаютъ трудъ, сколько *распыляютъ* его. Взять хоть бы лучинушку и лампу. Поѣхалъ тихимъ осеннимъ утромъ мужикъ въ лѣсъ, — а какой онъ красивый въ это время, этотъ грустный, тихій лѣсъ! . . — вырубилъ, мурлыкая заунывную, берущую за душу пѣсенку, нѣсколько березокъ, надраль лучины и все кончено, — стоитъ бабѣ только аккуратно вставлять въ свѣтецъ свою лучинушку и семья со свѣтомъ. Для лампы же надо добыть жести, надо заводъ или мастерскую, гдѣ изъ этой жести будутъ дѣлаться эти паршивыя лампочки въ

безрадостномъ трудѣ, въ нездоровой обстановкѣ, потомъ надо лавку и приказчиковъ, которые продавали бы эти лампочки, надо къ нимъ стеклянные заводы, надо хлопка на фитили, надо желѣзныя дороги, чтобы свезти это все вмѣстѣ, надо почту, надо телеграфъ, надо проклятую каторгу нефтяныхъ промысловъ, надо легіоны рабочихъ, конторщиковъ, желѣзнодорожныхъ служащихъ и пр., и пр., и пр. Правда, пряжа можетъ теперь сидѣть спокойно и прясть, но зато сколько тысячъ людей должны для нея суетиться и нести болѣею частью противный трудъ и терять терпѣніе въ этомъ трудѣ и бунтовать. И какъ вѣнецъ всей этой суеты, безсмыслицы и безрадостнаго труда: умерла тихая поэзія лучинушки, умерла маленькая частичка въ красотѣ жизни...

Летучія мыши.

Въ блѣдномъ свѣтѣ луны, надъ уснувшей землей, въ то время, когда говорятъ звѣзды, онѣ носятся взадъ и впередъ, эти черныя, безпокойныя тѣни, онѣ ищутъ чего-то и не находятъ, и, полныя тоски и смятенія, вновь ищутъ, чтобы никогда не находить... О, какимъ холодомъ вѣетъ отъ этихъ черныхъ тѣней, и какъ жутка темная тайна ночи!..

Не такъ ли и души наши носятся надъ темною тайною жизни, какъ летучія мыши надъ уснувшей землею въ то время, когда говорятъ звѣзды? Не такъ же ли безпокойно ищутъ онѣ и не находятъ и, полныя тоски и смятенія, вновь ищутъ, чтобы никогда не находить?

О, какимъ холодомъ вѣетъ отъ этихъ черныхъ тѣней, и какъ жутка темная тайна ночи!

Старая сказка.

Меня всегда поражаетъ, что есть люди, которые въ исторіи видятъ какую-то планомѣрность. Мнѣ она представляется ураганомъ страстей, который никакъ не можетъ заранѣе сказать себѣ: вотъ то дерево я сломаю, тотъ домъ опрокину, тамъ намету заоблачную гору песку, тамъ проскочу мимо, чтобы съ удвоенной силой обратиться на тотъ вотъ пароходъ. Ураганъ есть ураганъ, и онъ совсѣмъ не знаетъ, что онъ сдѣлаетъ. Хороша планомѣрность! Какая-то голова, какой-нибудь «вождь» этого урагана раздумываетъ: сдѣлаю вотъ то-то и то-то, изъ этого выйдетъ вотъ то-то и то-то, а на самомъ дѣлѣ онъ дѣлаетъ вотъ то-то и то-то, а какъ результатъ получается то, что ему отрубаютъ голову. А завтра отрубятъ голову и его палачамъ... Цѣлью стоитъ «свобода, равенство и братство», а когда — чрезъ тысячи труповъ — подходить къ цѣли, то находятъ тамъ Наполеона съ его полчищами и, забывъ о всякой свободѣ, съ криками «vive l'Empereur!», подъ огневые звуки марсельезы, пѣсни свободы, бросаются въ Россію и — погибаютъ въ снѣгу среди страшныхъ мученій голода и холода, подъ топорами мужиковъ и на казацкихъ пикахъ...

Хороша «планомѣрность»!

Одиночество.

Что самое тяжелое въ людяхъ? Несомнѣнно, то, что вотъ никакъ не проникнешь за тѣ стѣны, которыми они все себя окружаютъ. Все это какія-то цитадели, которыя не возьмешь никакимъ приступомъ, которыя, можетъ быть, въ нѣкоторыхъ

случаяхъ уступать только долговременной осадѣ. Да и то едва ли. . . И тяжело вотъ это: вотъ рядомъ съ тобой человѣкъ, и ты никакъ не проникнешь въ самую суть его, которую онъ такъ боязливо отъ всѣхъ прячетъ, — ото всѣхъ, а часто и отъ самого себя даже. . . Мы сходимся, говоримъ о всякихъ пустякахъ, о политикѣ, объ искусствѣ, о послѣдней книгѣ знаменитаго автора, обо всемъ, но только не о томъ, что для насъ самое главное, самое важное, чѣмъ мы особенно болѣемъ, объ этомъ вотъ нашемъ чувствѣ безконечнаго одиночества, о нашихъ ночныхъ думахъ, часто безотрадныхъ, о нашей тоскѣ. . .

Но иногда бываетъ и такъ, что человѣкъ пытается открыть тебѣ свою душу, а тебѣ скучно. Впрочемъ, вѣрнѣе, что онъ только дѣлаетъ видъ, что открываетъ душу, а на самомъ дѣлѣ въ эти-то моменты онъ больше всего, пожалуй, и прячется, — отъ того-то съ нимъ такъ и тоскливо. До отвращенія, въ самомъ дѣлѣ, мало интересныхъ, своеобразныхъ душъ. Все какіе-то пошлые стереотипы, похожіе одинъ на другой, какъ похожъ одинъ номеръ газеты на тысячи другихъ номеровъ. А если иногда человѣкъ и оригиналенъ, онъ носитъ со своей оригинальностью, какъ дурень съ писаной торбой, чувствуетъ себя какимъ-то Колумбомъ и подноситъ вамъ на блюдѣ свою крошечную Америку.

Общее мѣсто.

Нѣтъ, кажется, уже ни одного образованнаго человѣка, который не повторилъ бы теперь засаленныхъ словъ, что «христіанство убило красоту жизни». Это стало общимъ мѣстомъ, которое знаютъ даже тѣ, кого никакъ нельзя заподозрить въ излишнемъ знакомствѣ съ Ницше.

Венера Милосская — прекрасна, но я не вижу въ ней полноту красоты, за которой дальше уже и нѣтъ ничего. Парѳенонъ прекрасенъ, но прекрасенъ и Коллизей — не только линиями, а тѣмъ, чему онъ былъ свидѣтелемъ, тою силою духа человѣческаго, которая проявилась на его окровавленныхъ аренахъ. Прекрасенъ Аполлонъ Бельведерскій, но и Францискъ Ассизскій со своими «Цвѣточками» не менѣе его прекрасенъ.

А Евангеліе, сама жизнь Христа, — развѣ это не прекраснѣйшая изъ поэмъ?

А св. Петръ въ Римѣ, а готическіе соборы, а мадонны Мурильо, а духовная музыка въ ея неисчерпаемомъ богатствѣ?

Мы слишкомъ привыкли къ богатству, окружающему насъ, чтобы цѣнить его. Привычка дѣлаетъ духовныя очи незрячими.

Я не хочу этой странной партійности и, принимая всей душой красоту уносящейся въ небо и расцвѣтающей тамъ пышнымъ цвѣткомъ коринтской колонны, я принимаю и цвѣтной полусумракъ — отъ цвѣтныхъ оконъ — готическаго собора, и тихо мерцающія лампы.

Тотъ, умершій міръ улыбался жизни дѣтской улыбкой, — мнѣ больше говорить наша, немного скорбная, улыбка, наша серьезность, наше молчаніе, наши слезы. . .

Овсянка.

Я помню, какъ разъ въ дѣтствѣ, ранней весной я ходилъ съ ружьемъ по лѣсу и съ непонятной жестокостью ребенка стрѣлялъ маленькихъ птичекъ. Я помню этотъ тихій, ясный вечеръ, согрѣтый лучами заходившаго солнца, спускавшагося

за молодой лѣсокъ. На одной березкѣ, на самой вершинѣ, усѣлась овсянка и, подставляя свою желтенькую грудку лучамъ солнца, пѣла свою несложную пѣсенку, въ которой скрыто что-то непонятно грустное и невыразимо прелестное. Казалось, овсянка грезилла о чемъ-то и грустила. . . И вдругъ выстрѣль. . . Птичка, продолжая свою пѣсенку, поднялась высоко вверхъ, словно желая въ послѣдній разъ взглянуть на солнце, и камнемъ упала оттуда на влажную землю среди молодыхъ подснежниковъ. Когда я подошелъ къ ней, она была уже мертва. . .

И вотъ я стою среди притихшаго послѣ моего выстрѣла лѣса съ мертвой овсянкой въ рукахъ. Къ запаху земли, молодыхъ листьевъ и незамѣтныхъ фіалокъ примѣшивается острый запахъ порохового дыма. Что-то шевельнулось во мнѣ, и мнѣ стало грустно. . .

Съ тѣхъ поръ часто въ трудныя минуты, когда жизнь наноситъ мнѣ раны, я вспоминаю мою овсянку и со смертельной болью въ сердцѣ стараюсь подняться вверхъ, къ солнцу вѣчной Правды-Красоты, чтобы пропѣть ему свою грустную пѣсенку, и — снова падаю въ жизнь. . .

Больное дерево.

Сквозь чащу деревьевъ, сквозь сумракъ осенняго вечера, смотреть красная зловѣщая зоря. . . Вѣтеръ, проносясь въ полной мрака и какого-то застывшаго ужаса глубинѣ лѣса, шелеститъ молчаливыми папоротниками и мертвыми опавшими листьями. . . И среди этой холодной тишины стонетъ, тихо качаясь, старое, наклонившееся на бокъ дерево съ больнымъ, едва живымъ сердцемъ. . . Этимъ стономъ говорить мнѣ дерево, что ему холодно, что оно одно, что его никто не слышитъ, а кто слышитъ — не понимаетъ. И будить эта жалоба задремавшее въ сумракѣ эхо, и мучить мое сердце непонятной и глубокой тоской. . .

Тише. . .

Удивительные дни. . . И не столько этотъ блескъ солнца, не столько это почти лѣтнее тепло хороши, сколько эта невозмутимая тишина, которая здѣсь, при морѣ, бываетъ такъ рѣдко, а особенно въ это время года: все точно спитъ въ глубокомъ, но свѣтломъ снѣ — не шелохнетъ волна, не качнется ни одна былинка, ни одна вѣточка. И это день за днемъ, день за днемъ. . . Точно вся природа шепчетъ мнѣ: такъ вотъ и ты, — яснѣе, яснѣе, тише, тише. . .

И я стараюсь подражать ей: въ этомъ свѣтломъ сияющемъ покоѣ — все. . .

Тише, тише, яснѣе! . . Тишина — драгоценный даръ, котораго человѣкъ еще не оцѣнилъ. . .

Къ другому берегу.

Моя жизненная ладья уже прошла середину потока, «стрежень», какъ говорятъ на Волгѣ; сзади, на покинутомъ берегу — молодость, «воскипѣніе силъ духовныхъ и тѣлесныхъ», мое бродяжничество, мои исканія, любовь женщинъ; на другомъ, на томъ берегу — страданія, болѣзнь, тихое угасаніе, а потомъ то, чего мы не понимаемъ: смерть. И приближаясь уже безъ большого бунта къ тому берегу, я смотрю

назадъ, на покинутый берегъ, съ грустью и любовью... Да, да, много тамъ было ошибокъ, много — какъ и у всякаго человѣка — страданій, но ничего, ничего я тамъ не проклиная, ничего не ненавижу, а все, все благословляю и за все благодарю...

И грустно, и больно, что онъ, покинутый берегъ, уходитъ изъ глазъ все дальше и дальше...

Сумерки.

Кончился день, улеглась вся суета, я одинъ, на душѣ тихая радость и умиленіе... Какъ хороши эти вечера, тихіе, свѣтлые, нѣжные! Сидишь и слушаешь, какъ въ этомъ серебристомъ сумракѣ тихонько вздыхаетъ море, какъ дроздъ въ заросляхъ выводитъ свою нарядную яркую пѣсенку, которая похожа на причудливую серебряную инкрустацію въ этомъ розовомъ покоѣ вечера. Неподалеку перезваниваютъ въ горахъ колокольчики идущаго домой скота... Вотъ на противоположной сторонѣ ущелья зашуршали кусты и на меня выглянула морда съ настороженными ушами. То — наша Діанка... И она мычитъ, узнавъ меня, и идешь къ ней навстрѣчу, и она, здороваясь, лижетъ тебя своимъ шершавымъ языкомъ и отъ нея идетъ этотъ коровій, теплый, говорящій объ уютѣ запахъ, который такъ идетъ почему-то къ этому сумеречному часу...

И на душѣ тихая радость и глубокой, глубокой покой... И смотришь на молодые зеленые росточки въ своемъ огородѣ, на пышно цвѣтущій садъ и что-то въ душѣ шепчетъ: ахъ, какъ хороша жизнь, какъ хороша, какъ хороша!...

Тѣни.

Сижу, усталый отъ работы, на диванѣ, отдыхаю. Въ комнатѣ — она такая большая, свѣтлая, — никого нѣтъ. Въ большія окна чуется весна, и ходять въ нихъ какіе-то сиреневые отсвѣты, тѣни и на душѣ почему-то отъ этихъ сиреневыхъ, чистыхъ такихъ, радостныхъ тѣней поднимается чувство огромнаго, свѣтлаго счастья. Отчего, почему это такъ вдругъ? Что есть въ этихъ сиреневыхъ отблескахъ весны въ стеклахъ такого, что такъ властно поднимаетъ и волнуетъ душу? Не знаю...

Говорять, чужая душа — потемки; какъ будто своя не потемки!...

Голосъ далекаго брата.

Въ одной книжкѣ нашель я стихи одного неизвѣстнаго поэта-тамилла, которые написаны гдѣ-то въ глубинѣ Азии болѣе тысячи лѣтъ тому назадъ.

Глубоко въ темнотѣ хожу я.
Гдѣ же свѣтъ? Есть ли свѣтъ?
Ничего я не знаю, только спрашиваю себя:
Есть ли свѣтъ? Гдѣ же свѣтъ?
Господи, въ пустынѣ брожу я...
Гдѣ же путь? Есть ли путь?
Какъ мнѣ придти къ Тебѣ, спрашиваю я себя.
Неужели нѣтъ пути? Гдѣ же путь?

Милый братъ мой, столь далекой и такъ невыразимо близкой, болѣе тысячи лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ ты, тоскуя, написалъ эти строки, но увы: и я не знаю отвѣта на твои вопросы!...

Картинка.

Бурный осенній день... Среди необозримаго моря по сѣдымъ волнамъ несется въ сѣрую даль темный пароходъ... Густой дымъ черной лентой стелется по низкому сѣрому небу... Изъ волнъ доносится печальный плачь невидимой чайки...

Вотъ въ одномъ мѣстѣ облака посвѣтлѣли, — вотъ-вотъ брызнетъ веселый яркій лучъ солнца... Напрасная надежда!... Тучи сгущаются и темнѣютъ, а въ волнахъ еще печальнѣе кричатъ невидимыя чайки...

Облачный день.

Тихо-сіяющая голубая бездна, яркое солнце, а вокругъ него причудливая фантазмагорія облаковъ: тутъ звѣри, колесницы, великаны, ангелы, фантастическіе гигантскіе цвѣты, легионы, идущіе, сверкая шлемами, въ бой, цѣпи снѣговыхъ горъ, какіе-то замки на неприступныхъ скалахъ съ бойницами и высокими башнями, необъятной величины, пышущій пламенемъ, драконъ, невѣдомый городъ съ золотыми кровлями, — цѣлый міръ образовъ, плывущій, вѣчно измѣняющійся, причудливый, необыкновенный...

И точно то же чувствую я въ душѣ своей, — чую я въ ней какую-то тихую безконечность и точно неподвижное, яркое солнце, а предъ солнцемъ, озаренная имъ, вся эта фантазмагорія жизни нашей, всѣ эти безчисленные образы, то прекрасные, то безобразные, то пошлые, то глубокіе и значительные, цѣлый міръ, пестрый, волнующійся, который куда-то плыветъ и уходитъ, вѣчно измѣняющійся, причудливый, необыкновенный...

Но когда пройдутъ всѣ эти бѣгущія причудливыя облака міра, тогда что? Останется ли эта тихая сіяющая лазурь, это яркое солнце, теплое, живое, или ничего не останется?

Будущее.

Только то будущее принимаю я, которое любовно и радостно рождается, течетъ изъ прошедшаго. То же будущее, которое тщетно пытается родиться изъ ненависти къ прошлому, изъ осужденія его, то будущее, каково бы оно ни было, я не принимаю, не хочу его.

Ибо жизнь одна, и вся она святая, и принять ее, и отвергнуть можно только всю.

Жемчужинка.

У одного царя родился сынъ. Врачи сказали царю, что если въ первыя пятнадцать лѣтъ ребенокъ увидитъ свѣтъ солнца или луны, то онъ навсегда ослѣпнетъ. Тогда царь приказалъ помѣстить сына до пятнадцатилѣтняго возраста въ подземелье. И вотъ пятнадцать лѣтъ истекли, и царь приказалъ, чтобы сыну его были показаны всѣ вещи міра сего, чтобы онъ узналъ имена ихъ. И вотъ ребенокъ узналъ имена и золота, и серебра, и камней драгоценныхъ, и лошадей, и всего прочаго. И увидѣвъ женщинъ, онъ спросилъ объ ихъ имени. И министръ царскій, шутя, отвѣчалъ ему:

— Это — дьяволы, созданные на погибель человѣку...

И когда потомъ царь спросилъ своего сына, что изъ всего видѣннаго ему понравилось болѣе всего, сынъ отвѣчалъ, что лучше всего — дьяволы, созданные на погубель человѣка (изъ «Légende Dorée»).

Ангель-хранитель.

Съ каждымъ днемъ все яснѣе и яснѣе слышу я тихій голосъ: ты всегда былъ слишкомъ скоръ на осужденіе. . . ты всегда былъ слишкомъ скоръ на осужденіе. . . ты всегда былъ слишкомъ скоръ на осужденіе. . .

И я слушаю, слушаю. . .

— Что же молчишь ты? Правъ ли я?

— Да, да, ты правъ, — отвѣчаю я. — Чѣмъ больше узнаю я себя, тѣмъ болѣе вижу я, что я всегда былъ слишкомъ скоръ на осужденіе. . .

Воздадимъ хвалу Ему!

Я шель невѣрными, колеблющимися шагами — потому, что труденъ этотъ путь, — къ чистой, безобрядной, исключительно внутренней религіи. . . И вдругъ мнѣ открылось и стало понятнымъ и дорогимъ это стремленіе человѣчества къ религіи внѣшней. Почему, почему отказываться отъ нея? Почему съ горящей душой не принести къ подножію Его сладкихъ звуковъ органа и молитвъ? Почему не славить красоту Его въ живыхъ краскахъ прекрасныхъ картинъ? Почему не заставить пѣть Ему хвалу даже самые мертвые камни, поднимая изъ нихъ къ небу прекрасные кружевные соборы, эти символы устремленій души человѣка въ бездну неба, эти вѣчные персты, указывающіе намъ, пресмыкающимся во прахъ, въ вѣчность, окутывающую нашу маленькую землю со всѣхъ сторонъ? Почему?

Ошибаются люди, когда дѣлаютъ это главнымъ, ибо главное все же чистое сердце, но и звуки, и краски, и камни, и еиміамъ кадилъ при должномъ отношеніи ко всему этому не только не мѣшаютъ этому внутреннему огню, живящему душу человѣческую, но даже помогаютъ ему.

Пусть все, вся наша земля, всѣ наши маленькія силы поютъ хвалу Невѣдомому! . .

Ave Maria!

Какъ-то вдругъ, слушая шубертовское «Ave Maria», точно въ откровеніи я понялъ всю безбрежную красоту св. Дѣвы. Пусть этотъ удивительный образъ, созданный десятками поколѣній, миллиардами страдавшихъ человѣческихъ сердецъ, ни въ одной точкѣ не совпадаетъ съ историческимъ образомъ Маріи, пусть, — тѣмъ прекраснѣе это созданіе сердца человѣческаго, тѣмъ болѣе чести дѣлаетъ оно человѣку, такому маленькому и грязненькому: намъ тяжело, намъ холодно, намъ грязно — но вотъ, смотрите, сіяетъ надъ міромъ въ вѣнцѣ изъ звѣздъ Чистая Дѣва, полная милосердія, ибо много страдавшая. . . И, падши, человѣкъ поклоняется своему прекрасному созданію и гремитъ въ честь Ея божественными гимнами, и куритъ Ей еиміамами, и приноситъ на алтарь Ея свои измученныя, текуція кровью сердца

и — уходить утѣшенный и обновленный . . . грезой, созданиемъ сердца своего! . . . Сколько тутъ любви, сколько тутъ трогательнаго, сколько святого, сколько безсилія и сколько силы необыкновенной! . . .

И я съ радостнымъ сердцемъ присоединяюсь теперь къ вѣчному хору, греющему по землѣ: Ave Maria!

Простите меня!

О, вы всѣ, чьи жизненные пути въ долгое или короткое время сплелись съ моимъ путемъ, вы всѣ, которыхъ только на мигъ одинъ видѣлъ я въ нестромъ сверканіи жизни, вы всѣ — простите меня! . . . Очень и очень немногіе нашли у меня любовь и ласку и искренній привѣтъ, но безчисленное множество оскорбилъ я жизнью своей. Однихъ оскорбилъ я дѣломъ, другихъ — этихъ больше — словомъ, иногда холоднымъ и жесткимъ, иногда злобнымъ, иныхъ — этихъ великое множество — оскорбилъ я въ мысли. И вотъ у всѣхъ васъ прошу я прощенія. Мира и тишины хочу я, забвенія и прощенія, — ибо вотъ чувствую я за плечами своими смерть, отходъ въ какую-то невѣдомую даль отъ васъ и не хочу я короткій мигъ, что остался мнѣ и вамъ тоже, отдать борьбѣ и ненависти. Мира и тишины хочу я, но я слабъ, и, можетъ быть, при новой встрѣчѣ съ вами я снова затуманюсь злобой и снова такъ или иначе оскорблю васъ, ибо каюсь: не люблю я васъ. Я хочу, чтобы жизнь ваша была вамъ легка и радостна, я готовъ даже по мѣрѣ силъ работать для этого, но нѣтъ въ моемъ сердцѣ любви къ вамъ, нѣтъ! Но вы все же простите меня, — простите и за прошлое, и за будущее, какъ и я всѣхъ, всѣхъ и отъ всего переполненнаго печалью сердца прощаю. . .

И ты, милая Земля, зеленый, солнечный пріютъ, въ которомъ я, одинокій путникъ, остановился на мгновение на моемъ пути изъ невѣдомой дали въ даль невѣдомую, и ты, милая Земля, прости меня: какъ мало сдѣлалъ я, чтобы украсить тебя, и какъ много, чтобы оскорбить тебя! . . . Скоро я пойду дальше, а ты, родимая, прими въ себя усталое тѣло мое и пусть на зеленомъ холмикѣ, который прикроетъ его, вырастутъ пышные цвѣты, пусть хоть смерть моя послужитъ для украшенія твоего и для радости. . .

Мечта.

Въ сердцѣ моемъ, въ сердцѣ вселенной недоступно и незримо сіяешь ты, Прекрасная! Тебя ищемъ мы въ каждой женщинѣ, что встрѣчаемъ мы на путяхъ жизни нашей, — всѣ онѣ только попытки воплотить Тебя, обнаружить хотя одну изъ граней безсмертной красоты Твоей. Но сама Ты недоступна никому, и по Тебѣ, многоликой, но единой, во всѣхъ сердцахъ тоска ненасытимая. Это Тебя, Прекрасная, искали и чуяли душой греки въ прекрасныхъ твореніяхъ своихъ, о Тебѣ пѣли трубадуры, въ честь Тебя кроваво бились рыцари на турнирахъ, о Тебѣ пѣли поэты, отъ Тебя спасались святые въ пещеры свои!

О, мечта моя, Ты — самое прекрасное твореніе Божіе, Ты — величайшее чудо на печальной землѣ нашей! Чѣмъ была бы жизнь, если бы не было въ ней великой и умилительной красоты Твоей? Ты всего ближе мнѣ и всего непонятнѣе, Ты всего дороже и всего страшнѣе, непостижимая, влекущая, вѣчная жажда всего бытія! . . .

Тысячелѣтія повторяютъ смѣшные люди, что ты — сосудъ скудельный и дщерь дьявола, но я не могу принять этого, ибо тогда я долженъ былъ бы признать, что дьяволъ — Богъ. . .

Два потока.

Бѣгутъ, шумять по зеленому лугу жизни два потока, потокъ воды живой и потокъ воды мертвой. . .

И шелеститъ потокъ воды мертвой:

«Такъ какъ система Спинозы безусловно рациональна и демонстративна, такъ какъ она относится ко всему логически, то она необходимо атеистична и фаталистична, — такъ судилъ въ свое время Якоби. Такъ какъ система Спинозы безусловно рациональна и относится ко всему лишь логически, то она необходимо теологична, какъ судилъ въ послѣднее время Фейербахъ. . .»

И звенитъ, играя, свѣтлый потокъ воды живой:

«О, другъ, зачѣмъ заботиться о тайнахъ существованія? Зачѣмъ мучить сердце и душу трудными размышленіями? Живи счастливо, проводи время въ радости — въ концѣ тебя не спросятъ о томъ, зачѣмъ міръ таковъ, каковъ онъ есть. Взгляни на утро, вставай, юноша, и дыши радостью зари. . . Придетъ время, ты будешь искать и не найдешь этой минуты жизни, которая такъ удивила насъ въ этомъ обманчивомъ мірѣ. Утро сбросило покровъ мрака — о чемъ же печалиться? Вставай, будемъ пользоваться утромъ, потому что многія утра будутъ еще дышать, когда въ насъ не будетъ уже дыханія. . .»

Волны.

Идея общественнаго прогресса въ концѣ-концовъ понятна и трогательна: намъ плохо, но погодите — намъ будетъ хорошо. И это упованіе нѣсколько смягчаетъ боль настоящаго и поддерживаетъ человѣка.

Прогрессъ мы видимъ оттого, что беремъ слишкомъ короткіе промежутки времени и недостаточно внимательно всматриваемся въ жизнь. Правда, дикій вой плчищъ Аттилы смѣнился проповѣдью Толстого, но въ то же время и Нагорная проповѣдь смѣнилась ревомъ тысячъ и тысячъ пушекъ. Если въ одномъ мѣстѣ земнаго шара люди поднялись до Сократа и Платона, то въ другомъ мѣстѣ они спустились до еврейскихъ погромовъ, и на томъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда была Голгова, слышавшая изумительныя слова: «прости имъ, Отецъ, ибо не вѣдаютъ, что творять», теперь стоятъ съ примкнутыми штыками турецкіе солдаты, охраняющіе дикую толпу пилигримовъ, которые, того и гляди, въ своемъ религіозномъ усердіи передавятъ одни другихъ. . . Дикарь каменнаго вѣка въ порывѣ дикой злобы раздроблялъ тяжелымъ камнемъ голову своего врага, теперь сѣдой ученый спокойно сидитъ у себя въ кабинетѣ на мягкомъ креслѣ и обдумываетъ лучшее устройство разрывной бомбы, которую съ недоступной высоты броситъ аэропланъ въ горящій городъ, полный больныхъ, раненыхъ, стариковъ, женщинъ, дѣтей. А потомъ этотъ ученый, какъ ни въ чемъ не бывало, идетъ къ своимъ дѣтямъ, къ женѣ. Тотъ, дикарь каменнаго вѣка, былъ весь порывъ въ моментъ убійства, этотъ — воплощенное спокойствіе. Тотъ убивалъ по страсти, этотъ — съ холодно обдуманномъ намѣреніемъ, чтобы получить за изобрѣтеніе много денегъ и высокій чинъ. Тотъ убивалъ одного, этотъ — тысячи. Тотъ — убійца по несчастью, этотъ — по профессіи. Въ удовлетвореніи половой страсти дикарь не зналъ никакого удержа, и вся зеленая земля звенѣла дѣтскими голосами, европеецъ, знающій, что тутъ долженъ дѣйствовать регулирующий законъ, сталъ эротоманомъ и учредилъ лиги для прекращенія дѣторожденія, для дѣтоубійства, и земля становится все унылѣе и унылѣе. . . Тотъ былъ весь дикій, вольный;

этотъ весь окутанъ государственными и всевозможными предрасудками. Тотъ иногда погибаетъ отъ голода, холода и болѣзней, этотъ преждевременно погибаетъ всегда въ каменныхъ зараженныхъ мѣшкахъ городов... Знанія? Если они не дали человѣку счастья, если они только увеличили его скорбь, то какая имъ цѣна?..

Если я скажу себѣ, что жизнь идетъ впередъ, я и буду рваться впередъ, буду пренебрегать настоящимъ въ ущербъ страстно ожидаемому будущему; если же я скажу себѣ, что она впередъ не идетъ — хотя бы по тому одному, что въ безконечности нельзя идти ни впередъ, ни назадъ, — что она какъ бы стоитъ на мѣстѣ, горитъ, какъ огонь лампы, тихо и ровно, то я перестану рваться въ несуществующее, я пойму, что вся моя задача, вся моя возможная радость — въ настоящемъ, что именно въ эти минуты, которыя даны мнѣ, и долженъ я разгорѣться возможно ярче. . .

Но — скажутъ — это разгораніе человѣка и есть прогрессъ его. А если разгораться будутъ всѣ или только многіе, то вотъ и прогрессъ общественный. Нѣтъ, ибо для прогресса одного нужно — худо это или хорошо, но только такъ ужъ это устроено — паденіе другого. Одно поднимается, другое опускается. Для того, чтобы былъ Сократъ, нужны глупые афиняне, осудившіе его. Для того, чтобы засіялъ надъ міромъ Христосъ, нужно, чтобы римляне и синедрионъ помогли Ему въ этомъ, нужно, чтобы они были. Для того, чтобы мнѣ простить обидчика и загорѣться душой, нужно, чтобы кто-нибудь палъ до способности обижать. Изъ этого не выйдешь. Общество святыхъ невысказано, ибо для того, чтобы были святые, необходимы грѣшныя, угнетающіе, обижающіе, распутныя, злыя. . . Безъ Змѣя-Горыныча невозможна сказка. . .

Волнуется безконечное море жизни. . . Встаютъ волны и опускаются, встаютъ и опускаются. . . И какъ безконечно прекрасно это безбрежное, волнующееся море! . .

О терпимости.

Оглядываясь назадъ, я вижу, сколько разъ былъ я въ обладаніи истиной полной, и черезъ годъ, два, три истина эта оказывалась ложью, дымомъ, и мнѣ приходилось искать новую истину. Какъ же можно поручиться, что этого не повторится и въ будущемъ? И я сталъ очень остороженъ въ утвержденіяхъ: нѣтъ ни одной истины человѣческой, которая не оспаривалась бы, которая не проходила бы.

Отсюда — терпимость, какъ необходимое условіе человѣчности. . .

Въ дорогѣ.

Я пріѣхалъ въ городъ, и, какъ всегда, меня поразило ужасающее безобразіе нашей жизни. Какъ-то тихимъ, жаркимъ вечеромъ я вышелъ на балконъ гостиницы. Въ небѣ загорались звѣзды, а на землѣ точно адъ какой кипѣлъ: выли и бухали въ ресторанахъ дурацкія «машины», оглушительно свистали и горланили пѣсни пьяные матросы, ревѣли въ порту пароходы, гдѣ-то неподалеку слышалась отвратительная ругань. . . А въ воздухѣ запахъ каменнаго угля, дыма, отвратительная, какая-то сальная городская пыль и нестерпимая вонь базара и отхожихъ мѣсть. . . И всюду одутловатыя, потныя, красныя, пьяныя лица, грязныя лохмотья, смѣшно одѣтыя женщины, разбитыя клячи извозчиковъ. . .

И я перенесся мыслью въ далекія зеленныя горы. . . Какихъ-нибудь сто верстъ отсюда и ничего этого нѣтъ. Вмѣсто пьянаго матроса — статный олень, вмѣсто ди-

каго гомона трактировъ — шумъ бѣлыхъ водопадовъ, вмѣсто развратныхъ толпъ — стройные джейраны, вмѣсто вони каменнаго угля и алкоголя — аромать росы и цвѣтовъ, вмѣсто этихъ каменныхъ домовъ-тюремъ — вольная волюшка, широкій просторъ. . .

Отчего мы такъ безобразны?

И въ тысячный разъ я думалъ о томъ, куда все это дѣтъ въ томъ прекрасномъ царствѣ Разума и Красоты, пришествія котораго мы все такъ ждемъ? Какъ войдетъ въ него этотъ вѣчно пьяный босякъ, этотъ матросъ-сифилитикъ, эта распухшая отъ пьянства и ужасной жизни проститутка? Куда дѣнутся воняющіе пароходы и эти насквозь протухшіе, зараженные города? . . . И въ тысячный разъ я понялъ, что если царство Разума и Красоты и придетъ когда, то намъ земли обѣтованной, какъ Моисею въ пустынѣ, не видать, не видать. . . Мы — какая-то промежуточная ступень. . .

И неужели же, въ самомъ дѣлѣ, жизнь человѣка будетъ когда-нибудь такъ же прекрасна, какъ жизнь оленя въ зеленыхъ горахъ? . . .

Ночью мы съ моимъ спутникомъ уже ѣхали обратно этими зелеными горами. Надъ нами зажигались звѣзды. И было удивительно тихо и красиво. И мой спутникъ, глядя въ небо, сказалъ, что необходимо во всехъ школахъ основательно преподавать астрономію, — ни одна наука не приводитъ человѣка такъ близко къ Богу, какъ астрономія.

Да, какъ это ни странно, но въ микроскопъ и телескопъ видно въ концѣ-концовъ Бога, т.-е. Непостижимаго, Конечную Тайну.

Приѣхали на станцію, гдѣ надо было подождать разсвѣта. Вокругъ вѣковья деревья, надъ ними лѣсистыя вершины, на которыхъ кричатъ дикіе козлы, а надъ вершинами — звѣзды. . . И чувствуется въ сыромъ пахучемъ воздухѣ та дикая, вольная жизнь оленей, о которой я вспомнилъ въ поганомъ городѣ подъ ревъ дурацкихъ «машинъ» и пьяныхъ матросовъ.

— Отчего вы не ложитесь спать, Ризванъ? — спросилъ я лезгина, завѣдующаго станціей.

— Нельзя, у насъ сегодня ураза . . . — отвѣчалъ онъ тихо. — Черезъ часъ на молитву надо вставать. . .

— Это очень хорошо, что вы такъ исполняете требованія вашей религіи . . . — сказалъ я.

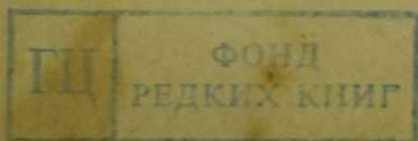
Тотъ помолчалъ.

— Одно время я среди русскихъ какъ-то свихнулся, — сказалъ онъ, — сталъ пить, безобразничать. . . И нехорошо было. А потомъ бросилъ, молиться сталъ. И совсѣмъ другая жизнь стала и люди другіе. . .

И хорошо стало на душѣ отъ этого отвѣта лезгина и я почувствовалъ, что этотъ магометанинъ въ своемъ темномъ стремленіи къ красотѣ и благообразію жизни — братъ мой. . .

Безъ выхода?

Злая, безпричинная тоска давить меня. Въ эти моменты міръ и вся жизнь кажутся чѣмъ-то нелѣпымъ и злымъ. Точно все зло міра, соединившись, навалилось на тебя темной тучей, которой нѣтъ конца, которая душитъ тебя и толкаетъ къ пропасти смерти: прыгни туда и конецъ. Но конецъ ли, вотъ въ чемъ вопросъ. Убѣжать человѣку некуда: все живое оцѣплено желѣзнымъ кольцомъ безсмертія. Куда ни кинься — хоть въ могилу — всюду жизнь. . .



Люди Запада боятся смерти, болѣе глубокие и сосредоточенные люди Востока болѣе основательно боятся безсмертія, и ихъ Будда указываетъ имъ путь спасенія не отъ смерти, а отъ жизни. . .

Золотые сны.

Я влюбленъ въ земной шаръ — онъ безконечно прекрасенъ. . . И иногда меня съ необыкновенной силой охватываетъ страстное желаніе быть сразу вездѣ: и въ удивительныхъ шхерахъ Ботническаго залива, и въ апельсиновыхъ рощахъ старой, черной Теормины, орлинымъ гнѣздомъ повисшей на утесѣ, надъ моремъ, передъ самой Этной, и на сумрачномъ прекрасномъ Уралѣ, и гдѣ-нибудь на крошечномъ островкѣ среди Тихаго океана, подъ пальмами, и среди волнующагося золотого моря ржи, откуда смотрятъ милые васильки, и въ молодомъ березовомъ лѣскѣ, гдѣ такъ уповательно пахнетъ ландышами, и въ какомъ-нибудь старинномъ, старинномъ монастырѣ въ лѣсной пустынѣ нашего сѣвера. . .

А Коринескій заливъ, на которомъ я провелъ одинъ вечеръ моей жизни? Если на землѣ былъ когда-нибудь рай, то это было непременно тутъ, у подошвы этаго уходящаго въ золотое вечернее небо Парнаса, на берегу этаго лазурнаго тихаго залива, въ который смотрятся зеленые берега. И одинокая лодка тихо-тихо уходитъ въ золотую даль. . .

Я не говорю: есть красота и въ городѣ, — видали ли вы, напримѣръ, московскій Кремль морознымъ утромъ, когда вставшее солнце не успѣло еще разсѣять эти золотыя массы нѣжнаго тумана? Это призракъ, волшебная сказка, которой не налюбуешься! . . А какая-нибудь старинная, старинная грустная церковка, затерявшаяся въ этой путаницѣ улицъ, всѣми забытая, почти никому ненужная, полная темныхъ суровыхъ ликовъ и кроткаго сіянія лампадъ? А этотъ многоголосый, кипящій водоворотъ большихъ улицъ и площадей? Да, но все же я здѣсь чужой. Я язычникъ, я дикарь, мнѣ ближе, понятнѣе и дороже трепещущій въ весеннемъ небѣ жаворонокъ, и грустная золотая березка тихимъ туманнымъ осеннимъ утромъ, и жуткая, удивительная жизнь глухого лѣса. . .

О, если бы вырваться изъ этой клѣтки и унести, и облетѣть съ пѣсней всю землю, и ухнуть ея красотой и, когда пробьетъ часъ, сложить крылья и упасть на грудь океана или въ дремучую чащу стараго, звенящаго въ солнечной вышинѣ лѣса, и исчезнуть въ его глубинѣ навсегда и чтобы мѣста этого не зналъ никто, никогда! . .

Ноктюрнъ.

(Изъ прошлаго.)

Вмѣстѣ съ темнотой каждый вечеръ спускается на мою душу злая тоска и, чѣмъ темнѣе ночь, тѣмъ сильнѣе тоскую я.

Изъ-за горъ поднялась полная луна, и лучи ея, проникая ко мнѣ въ комнату, пропадаютъ въ желтомъ свѣтѣ лампы, какъ пропадаютъ молодыя грезы въ холодѣ жизни. Лунные лучи у меня невидимы, но я чувствую ихъ силу. Это они заставили меня положить перо, отодвинуть работу, опустить голову на руки и слушать тиканье часовъ. Я слушаю, слушаю его, это тихое, миленькое тиканье, и тоска все сильнѣе и сильнѣе заливаешь мою душу: съ каждымъ ударомъ маленькаго маятничка все дальше и дальше уходитъ отъ меня жизнь, оставляя въ прошломъ безплодные поиски

свѣта, счастья, любви, а въ будущемъ это тиканье рисуешь мнѣ ночь безъ луны, безъ звѣздъ и, какъ всегда, — одиночество. Раньше я въ такія минуты плакалъ, потомъ пересталъ.

На старомъ соборѣ колоколь мѣрно пробилъ десять, и до меня долетѣлъ чуть слышный голосъ стараго караульщика, по древнему обычаю возглашавшаго:

— *Ohé les guets! Il a sonné di-i-i-x!*¹⁾

Я подошелъ къ окну и приникъ головой къ холодному стеклу. Внизу, подъ горой уныло мелькають огоньки засыпающаго города. Тихо на землѣ, тихо на небѣ. Тамъ, въ высотѣ, безшумно бѣгутъ сѣренькія тучки; края ихъ вспыхиваютъ золотой каймой, когда онѣ набѣгаютъ на луну, которая, холодная, безучастная, поднимается все выше и выше и тушитъ одна за другой серебряныя звѣзды, на которыя я такъ люблю смотрѣть. Когда я смотрю на нихъ, мнѣ кажется, что я уже не одинъ, что оттуда на меня смотритъ кто-то родной и зоветъ, и ждетъ меня. Да, но онѣ все же далеки, эти звѣзды, и я здѣсь все же одинъ...

На колоколѣ стараго собора послышался шорохъ. Медлительные торжественные звуки колокола понесли въ серебряномъ сумракѣ ночи надъ землей.

— *Слуша-а-ай!* — раздался голосъ старика. — *Один-нацать би-ло!*...

Почему, отчего я такъ одинокъ? Неужели всѣ одиноки?...

И вдругъ въ дверь послышался легкій стукъ, и въ комнату вошла моя сосѣдка, молодая женщина, съ которой я не разъ встрѣчался, говорилъ, но которая была такъ же далека отъ меня, какъ эта холодная луна.

— *Какая ночь!*... — сказала она. — *Посмотрите на небо...*

Мы вышли на балконъ, стали рядомъ и подняли глаза въ небо. И вдругъ лицо ея преобразилось — когда человекъ смотритъ такъ вверхъ, лицо его всегда становится значительнѣе и духовнѣе, точно глубокая дума неба отражается на немъ. Въ глазахъ ея появились отсвѣты далекой луны и звѣздъ и холодный блескъ этотъ, казалось мнѣ, говорилъ, что и она одинока, и она ищетъ родной души, тепла, счастья, любви...

И я почувствовалъ, что не все еще потеряно, можетъ быть, что счастье еще возможно, что оно, можетъ быть, въ этой вотъ женщинѣ съ одинокой душой, которая теперь любитъ со мной рядомъ этимъ звѣзднымъ небомъ. И, полный тревожнаго вопроса, полный сладкой надежды, я взялъ ея руку и пожалъ ее. Тихое пожатіе въ отвѣтъ. И я привлекъ ее къ себѣ и слушалъ, какъ билось ея сердце на моей груди. И мы долго стояли такъ...

— *Слуша-а-ай: про-би-ло пол-ночь...*

И она прошептала, тихонько освобождаясь:

— *Пора...*

И звукъ ея шопота нарушилъ очарованіе, — надо было молчать, молчать...

Мы вошли въ комнату. Яркій свѣтъ лампы ослѣпилъ насъ сперва, а потомъ, потомъ мы взглянули одинъ на другого и поняли, что все это былъ сонъ, мечта, не дѣйствительность. Ея сердце билось сейчасъ на моей груди, — почему? Потому что луна и звѣзды увѣнчали ее на мигъ какимъ-то блестящимъ ореоломъ; нѣтъ луны и звѣздъ, — нѣтъ и ореола, и предо вновь стоитъ женщина, съ которой мы говоримъ на разныхъ языкахъ, которая чужда мнѣ.

Она ушла.

Какъ заживо погребенный, очнувшійся въ гробу, рвется къ свѣту и жизни, такъ и я рванулся вдругъ къ счастью, которое создали мнѣ на мгновеніе луна и

¹⁾ Слушай: пробило десять...

звѣзды. О, я ненавижу сѣрныя сумерки, блѣдныя ночи — я хочу яркаго свѣта, жгучаго солнца! Пусть, какъ мотылекъ, что стремится къ огню, я обожгу свои крылья, но огня, солнца, счастья!..

— *Слуша-а-ай: про-би-ло ча-съ!..*

И крылья опустились. Гдѣ, гдѣ оно, это счастье, гдѣ?.. Лучше совсѣмъ уйти изъ жизни, совсѣмъ... Все забыть, ничего не хотѣть, — какое счастье!

И желѣзною рукою сдавила тоска наболѣвшее сердце...

И плыли по небу сѣрныя тучки, ярко свѣтила холодная луна, кротко сіяли милыя звѣзды, а изъ моихъ глазъ одна за другою катились тяжелыя, холодныя слезы...

— *Слуша-а-ай: про-би-ло два-а-а...*

Не понимаю.

Ношу воду на поливку огорода, — очень трудно, усталъ, а надо мной, на сухой вершинѣ дуба щебечетъ и радуется ласточка. И стало завидно: отчего ихъ жизнь такъ проста и радостна, а мы вотъ страдаемъ, выбиваемся изъ силъ? И отвѣтили себѣ: причина — наши страсти. И тотчасъ же стало ясно, что это не вѣрно: животныя знаютъ и половую страсть, страсть до бѣшенства, и голодь, и ревность, и зависть. У насъ погибло нѣсколько пѣтуховъ въ честномъ бою за первенство среди куръ, и сейчасъ вотъ, умирая, страдаетъ нѣсколько дней такой пѣтухъ, страдаетъ ужасно: разбитая голова вся распухла, одинъ глазъ вытекъ, горло попорчено, и глотать онъ не можетъ. И стоитъ на солнцѣ, понурясь, и тяжело дышитъ, а его соперникъ только что растерзанъ ястребомъ и валяется неподалеку въ лѣсу. А другой соперникъ все насканиваетъ на умирающаго и бьетъ его острыми шпорами, вызывая во всѣхъ насъ чувство возмущенія и отвращенія, и мы съ криками кидаемъ въ него камнями... Нѣтъ, нѣтъ, и у нихъ не все хорошо, и щебетанье ласточки выражаетъ не всю ея жизнь, а только настроеніе минуты. Но такія минуты бываютъ даже и у меня...

И смотришь на этого умирающаго въ тяжелой мукѣ пѣтуха, на эту тайну, покрытую пестрыми перьями и украшенную краснымъ гребнемъ, который теперь весь расклеванъ и распухъ, и дивишься: ну, мы-то хотя «яблоко съѣли», какъ говорить Достоевскій, а этотъ-то за что отбываетъ міровую повинность? За злобу свою? Но вѣдь къ нему Христосъ не приходилъ и Францисковъ Ассизскихъ у него не было, — онъ увѣренъ, что это такъ и надо. И непонятны эти его мучительныя страданія и не видно, на что онъ нужны. Даже и для того, чтобы «показать примѣръ», не нужны, потому что завтра же тѣ же пѣтухи будутъ такъ же биться на смерть, ослѣпленные могучимъ инстинктомъ. Карма? Не понимаю... И что ни думай, все одно и то же: не понимаю ничего...

На солнценоворотѣ.

Мое любимое время, зимній солнценоворотъ... Я ѣхалъ по горамъ, покрытымъ лѣсомъ, и представлялъ себѣ то, что свершается теперь въ нашей солнечной системѣ. Гдѣ-то въ безднѣ горитъ яркимъ костромъ солнце; земля, несущаяся вкругъ него, подходитъ къ вершинѣ эллипсиса и медленно, всей своей тяжестью, поворачивается къ солнцу другой стороной. И оттого, что вотъ это происходитъ въ необозримой вселенной, одно сердце на этой крошечной пылинкѣ, землѣ, не видной даже человѣ-

ческимъ глазомъ съ солнца, одно сердце наполняется радостью: а-а, день прибываетъ, уже скоро весна, солнце, молодые клейкіе листочки, радость!.. Земля не видна съ солнца, на землѣ не видна эта лѣсная дорога, затерявшаяся въ горахъ, на этой длинной каменной лентѣ, протянувшейся на сотни верстъ, среди этой лѣсной пустыни я со всѣми моими думами — только совсѣмъ невидная пылинка, и вотъ эта пылинка размышляетъ о томъ, что дѣлается теперь въ безднѣ вселенной. Да развѣ это не поразительно, развѣ это не величайшее изъ чудесъ, этотъ огонекъ человѣческаго разума, это живое, полное радости человѣческое сердце?!..

Кто это?

... Какъ быстро летитъ время!.. Люся уже учится писать, Леночка уже рисуетъ своихъ первыхъ «дядей», фантастическія фигуры со страшными глазами и безконечнымъ количествомъ пальцевъ; даже крошечный Левушка, такъ, казалось, еще недавно родившійся, и тотъ все смотритъ въ зеркало и все удивленно спрашиваетъ: «кто это? кто это?» и, заглядывая за зеркало, старается поймать того таинственнаго незнакомца, который на него смотритъ оттуда.

Я почти на сорокъ лѣтъ старше его, но, когда я смотрю въ зеркало, я тоже тихо про себя спрашиваю: «кто это? кто это?» и — не нахожу отвѣта...

Невозвратное.

Сны, сны... Какое-то волшебное царство открывается предо мною каждую ночь, — настолько волшебное, настолько прекрасное, что жалѣешь, что проснулся...

Сегодня во снѣ я былъ молодымъ, здоровымъ человѣкомъ, у котораго вся жизнь еще впереди. И снилась мнѣ прекрасная женщина съ удивительными глазами цвѣта барвинка, которая любила меня любовью чистой, какъ утренняя заря. Вкругъ насъ кипѣли страсти, были всякія столкновенія съ людьми, борьба, но надъ всѣмъ этимъ сіяла, какъ майское утро, наша любовь.

И я просыпаюсь, полный сладкой муки, и въ золотомъ сіяніи ранняго утра еще долго плаваютъ предо мною милые глаза цвѣта барвинка, еще долго болитъ мое сердце, что этого нѣтъ, что этого... не было...

И откуда, откуда прилетаютъ они къ намъ, эти милые призраки со свѣтлыми крыльями? Кто они? Зачѣмъ? Что такое эта ихъ мимолетная жизнь въ насъ, болѣе короткая, чѣмъ жизнь мотылька? И сколько, сколько ихъ, этихъ нарядныхъ невидимыхъ мотыльковъ, носится такъ надъ лугомъ жизни!..

Они зовутъ къ невозвратному. И тяжело сознавать, что это — невозвратное. Да, волшебная сказка жизни кончилась, и надо встрѣтить вечеръ, а затѣмъ и ночь мужественно, спокойно, безъ страха, безъ напрасныхъ сожалѣній, — хотя и съ грустью, можетъ быть...

Вечеръ.

Еще такъ недавно приходила она ко мнѣ, окруженная своей прелестной дѣтвой и сама такая прелестная въ этомъ тихомъ сіяніи материнства и такая еще молодая. И вотъ тихій, ясный вечеръ, и гдѣ-то въ чашѣ поютъ дрозды свои первыя весеннія пѣсни, и во всемъ чувствуется уже сдержанная улыбка весны, а изъ-за зарослей доносятся до меня глухіе удары въ землю: то на сосѣдномъ кладбищѣ роютъ ей могилу.

И она сама, ея застывшее, холодное, какъ камень, тѣло всего въ сотнѣ саженей отъ меня, за этимъ молодымъ лѣскомъ, и я чувствую, какъ отъ этого холоднаго тѣла исходитъ теперь какая-то эманация, какая-то странная сила и пропитываетъ собою всю эту безбрежность моря и сѣрыхъ, въ зимнемъ одѣяніи, горъ, и пѣніе дроздовъ, и золотистое, тихое вечернее небо. И я слышу два вѣчныхъ голоса:

— Да, вотъ смерть, а мы все же сіяемъ, поемъ и живемъ. . .

И слышу я другой голосъ:

— Да, вы сіяете, и поете, и живете, а все же — вотъ смерть. . .

И безмолвный дуэтъ этотъ и есть все содержаніе жизни.

И я сажу молоденькіе кустарники, много, много, цѣлые длинные ряды этихъ тоненькихъ, слабенькихъ былинковъ, сажу ихъ для того, чтобы онѣ росли, чтобы цвѣли, для жизни, а изъ-за зарослей глухо ухаеетъ въ землѣ кирка, разбивая грудь скалы, куда завтра положить эту милую, прелестную женщину, и во мнѣ темнымъ облакомъ стоитъ грустное сознаніе своего безсилія: да, если не правы матеріалисты, то совершенно точно такъ же не правы и спиритуалисты, и тайны жизни нашей они не разгадали и не разгадаютъ никогда. Игра атомовъ? Никогда не повѣрю я, что это случайная игра атомовъ произвела эту молодую мать въ вѣнцѣ изъ своей дѣтвы. Только духъ? Никогда не смогу я повѣрить, что она, теперь холодная и мертвая, этотъ тихій центръ цѣлаго гнѣзда, была только моимъ представленіемъ. . . Если это только мое представленіе, то отчего же такъ болитъ моя душа, слушая эти глухіе удары кирки въ скалу, зная, что тутъ гдѣ-то неподалеку въ этотъ золотой вечерній часъ плачутъ — ихъ пятеро осталось, пятеро, и старшей девять лѣтъ . . . — покинутыя сиротки. . .

Я не матеріалистъ, поэтому что не могу удовлетвориться объясненіемъ міра, какъ взаимодействіемъ притягивающихся и отталкивающихся атомовъ или электроновъ, потому что вполне естественно возникаетъ вопросъ: а что же за этими электронами, откуда, зачѣмъ они? Но не могу я думать, что міръ это только мое представленіе, потому что вотъ предо мной чернильница, а вонъ на горизонтѣ облако, похожее на всадника, — стало быть, есть что-то такое внѣ меня, что стучится въ мое сознаніе то облакомъ, то чернильницей. И потомъ: если все это только мое представленіе, сонъ, то какая же можетъ быть рѣчь о томъ, что я долженъ такъ, а не иначе относиться къ тому, что я вижу во снѣ? Зачѣмъ мнѣ любить людей, какое мнѣ дѣло до того, что на моихъ глазахъ умираетъ съ голоду ребенокъ? Вѣдь, все это не реально, все это сонъ. Нельзя же серьезно говорить объ обязанностяхъ къ человѣку, котораго ты видишь во снѣ!

Не надо думать. . . Не матеріалистъ я, не спиритуалистъ, я — человѣкъ, покорно принявшій, наконецъ, Тайну.

Враги жизни.

Отдыхая, слушала, какъ дѣти читаютъ стихи Сурикова про бабушку Маланью. Бабушка эта настолько отягчена всевозможными добродѣтелями, что прямо слушать противно. . .

Я думаю, что такія литературныя бабушки Маланьи чрезвычайно вредны, какъ были вредны тѣ идеальныя «златовратскіе» мужички, которые одно время кишѣли въ литературѣ. Вредно все это потому, что когда ребенокъ не находитъ потомъ въ жизни этихъ сверхъестественныхъ бабушекъ и идеальныхъ мужичковъ, онъ страдаетъ, онъ не хочетъ примириться съ тѣмъ, что у бабушекъ и у мужичковъ есть и тѣневныя стороны, что жизнь совсѣмъ не отвѣчаетъ его грезѣ. Мы должны показывать ему не эту несуществующую, сусальную жизнь, а людей подлинныхъ, жизнь настоящую. Пусть бабушка Маланья и поссорится иногда изъ-за пустяковъ съ сосѣдкой, пусть мужички не прочь и выпить, и побезобразить, и покривить душой, — намъ надо не отмывать ихъ для нашей классной комнаты, а сумѣть заставить дѣтей полюбить ихъ «и черненькими». Кажется, Цицеронъ говорилъ, что маленькія лжи не опасны, если онѣ украшаютъ стиль оратора. Но тутъ люди украшаютъ уже не стиль только, а всю жизнь подмалевываютъ. Они, какъ боги, стараются создать какую-то особенную, свою жизнь, а надобности въ этомъ никакой нѣтъ: и та, что есть, прекрасна, и глубока, — умѣй только видѣть это, раскрой глаза!

Хороши драгоценныя камни и цвѣты на прекрасной дѣвушкѣ, но только тогда, когда они настоящіе; если же все это поддѣлка, то въ фальшивомъ блескѣ ихъ и ея красота страдаетъ и блекнетъ. Хорошо украсить свѣтлую идею всѣми перлами воображенія и поэзіи, но мишура на ней только отталкивается. . .

Св. Клара.

Св. Клара, подруга Франциска Ассизскаго, умирая въ своей убогой келійкѣ въ С.-Даміано, говорила въ тихой радости:

— Господи, благодарю Тебя, что Ты сотворилъ меня. . .

Я, грѣшный Иванъ, еще живу и, большею частью, живу совсѣмъ плохо и часто тяжело, но все же отъ глубины сердца моего я повторяю:

— Господи, благодарю Тебя, что Ты даровалъ мнѣ жизнь. . .

Они ошибаются.

Толстой совершенно правъ, говоря, что цѣль жизни каждаго человѣка — его благо, но онъ совершенно не правъ, предполагая, что это благо опредѣляется разумомъ человѣка: въ чемъ благо, человѣку указываетъ не разумъ, а та или иная страсть, мимолетная, часто вся цѣликомъ основанная на какомъ-нибудь капризѣ. Каждый данный моментъ жизни есть результатъ въ высшей степени сложной игры страстей предшествовавшихъ поколѣній, — игры, въ которой разумъ не играетъ рѣшительно никакой роли, развѣ только *post factum*, послѣ, когда люди, какъ бы соблюдая какое-то приличіе, стараются подыскать разумныя основанія тому, большею частью, вздору, который они надѣлали.

И что любопытно, такъ это то, что даже тѣ, которые поняли, что жизнь наша могла бы быть разумнѣе, и тѣ, несмотря на всѣ свои усилія, живутъ большею частью

за предѣлами разума — мало того, самое желаніе ихъ сдѣлать жизнь болѣе разумной часто вырастаетъ у нихъ до предѣловъ большой страсти, которая слѣпитъ ихъ и заставляеть совершать совсѣмъ уже неразумныя глупости.

Черная мантия монаха и красный флагъ, пылающій средь бурь Марсельезы, вѣнецъ мученика и вѣнокъ вакханки, мракъ и молніи Голговы и нѣжная улыбка весенняго утра надъ голубымъ озеромъ, когда въ зеленой чашцѣ кукуетъ кукушка, — все это покрываетъ одно и то же. . .

Будущее.

И меня занимаетъ иногда вопросъ о нашемъ будущемъ. Я представляю его себѣ совершенно иначе, чѣмъ это обыкновенно принято рисовать въ утопіяхъ. Я представляю человѣчество уставшимъ отъ долгой суеты исторіи, ясно понявшимъ въ концѣ-концовъ тщету всей этой кровавой возни, отказавшимся отъ всѣхъ этихъ Эйфелевыхъ башенъ, отъ чудовищныхъ машинъ, отъ огромныхъ библіотекъ, которыя милліонами своихъ книгъ говорятъ только два коротенькихъ слова: не знаю, — призадумавшимся, притихшимъ, яснымъ. . . Все меньше и меньше рождается дѣтей на землѣ, все больше и больше молчатъ и уходятъ въ себя люди, и земля потихоньку превращается снова въ прелестную зеленую пустыню, въ рай. . . Города исчезли. Лишь изрѣдка видны въ тѣни гиганскихъ деревьевъ простыя хижинки, въ которыхъ, никѣмъ незримая, идетъ простая, сосредоточенная въ себѣ жизнь. А потомъ и она потихоньку угасаетъ, и земля остается одна, безъ человѣка, — вольная, дикая, вся зеленая. . .

И странно: любимой фантазіей моей въ дѣтствѣ было представленіе вотъ такой безлюдной, дикой земли, на которой остался только я одинъ.

А теперь и этого не надо, теперь и я согласенъ уйти. . .

Плѣнные.

Къ огромному бѣлому зданію вокзала по широкой асфальтовой площади тихо подкатились сразу нѣсколько вагоновъ трамвая. На площадкахъ стоятъ часовые съ винтовками, а въ большія окна выглядываютъ головы въ непривычныхъ для взгляда высокихъ сѣрыхъ кепкахъ. Это — отправляютъ куда-то плѣнныхъ. . .

Со всѣхъ сторонъ къ трамваю жадно устремились любопытные. Часовые, неуклюжіе и излишне суровые съ непривычки парни изъ ратниковъ, энергично оттѣснили толпу, раненые вышли, и — сердце заныло. Усталые, изможденные, часто совсѣмъ больные, они производили тягостное впечатлѣніе. Вотъ идетъ впереди высокій, худой, блѣдный, какъ смерть, идетъ на костыляхъ, волоча за собой разбитыя ноги; вотъ другой съ густо забинтованной головой, — изъ-за повязокъ видны только усталые отъ страданія и такіе покорные глаза; вотъ маленькій, бородатый и веселый, какъ воробей, чехъ, который пытается шутить и смѣяться, но шутки его не находятъ отклика ни въ товарищахъ, ни въ толпѣ зрителей, видимо, подавленныхъ видомъ всего этого страданія. Вотъ суровый и дикій боснякъ въ красной фескѣ съ рукой на перевязи; вотъ чудный рослый красавецъ съ прекрасными золотистыми усами на красивомъ и интеллигентномъ лицѣ, онъ на костыляхъ — одной ноги у него нѣтъ, и какъ-то жалко и страшно мотается у него вмѣсто ноги пустая штанина.

Вотъ одного выносить на носилкахъ, — ничего уже не чувствуя, онъ смотритъ въ небо ничего невидящимъ взглядомъ. . .

Рядомъ со мною стоитъ пожилая женщина. На интеллигентномъ выразительномъ лицѣ ея — глубокое страданіе. . . И вообще слышно, какъ въ толпѣ нарастаетъ чувство состраданія, нарастаетъ и ищетъ выхода, обнаруженія. . .

Окруженная конвоемъ, печальная процессія въ сѣрыхъ высокихъ кепкахъ медленно скрывается въ огромномъ вокзалѣ. И вдругъ — громкая, бодрая пѣсня съ гикомъ и присвистомъ: то широкой улицей идутъ на ученіе наши стрѣлки. И рядъ за рядомъ, мѣрно отбивая шагъ по каменной мостовой, проходятъ мимо насъ ряды сѣрыхъ шинелей, мѣрно колыхая блестящими штыками, съ пѣсней, со свистомъ, съ какимъ-то особеннымъ подзадоривающимъ пріахиваніемъ. И вдругъ судорожное, подавленное, больное всхлипываніе сзади: то при звукахъ веселой пѣсни не удержалась та пожилая женщина со скорбнымъ лицомъ, которая только что смотрѣла на раненыхъ, — она сообразила, что и стрѣлковъ ждетъ тотъ же ужасъ. . .

И это скрытое въ толпѣ нѣжное движеніе женской души было понятно и дорого мнѣ. . .

На перекресткѣ.

Долго шель я широкою степью жизни. . . И путь мой то змѣился прихотливо по зеленѣющимъ лугамъ, ярко залитымъ солнечнымъ свѣтомъ и тепломъ, полнымъ птицъ и прекраснѣйшихъ цвѣтовъ, то уходилъ вдругъ въ бесплодные и унылые солончаки, гдѣ все было мертво и тоскливо, то опять дорога взбѣгала на пригорокъ, и тамъ была вся зеленая рощица, и внизу журчала рѣчка, и пѣли въ уремѣ соловьи, и такъ хорошо, такъ сладостно было въ тѣни душистыхъ березъ. И были дни солнечные, полные радости, и были долгіе дни ненастья, когда долго-долго шель унылый дождь и было такъ холодно и безпріютно на душѣ. . .

И вотъ вдругъ дорога стала какъ-то вѣтвиться, раздѣляться на много дорогъ и потеряла свою четкость и опредѣленность. И трудно было разобрать, куда идти. И мѣсто было такое унылое, холодное. И вотъ усталыми уже ногами подошелъ я къ путевому столбу, стоявшему на перепутьи, и прочелъ на немъ полустертую — много людей, должно быть, читало ее — надпись: *«Путникъ, если ты пойдешь налево, то ты встрѣтишь на пути своемъ радость и страданіе; если пойдешь ты направо, то ничего, кромѣ страданій и радостей, не найдешь ты на пути твоёмъ; если пойдешь прямо, то спутниками твоими по безбрежной степи будутъ радость и страданіе»*.

И увидѣлъ я на столбѣ неподвижно сидящаго ворона, чернаго и грустнаго.

— Воронъ, братъ мой, — сказала я ему, — я въ нерѣшимости: какимъ же путемъ идти мнѣ въ концѣ-концовъ? Какой путь лучше?

— Всѣ пути степи широкой одинаково прекрасны, — отвѣчалъ воронъ, — ибо на всѣхъ путяхъ есть и радость, и страданіе: страданіе — для того, чтобы была радость, и радость потому, что есть страданіе.

И усталыми уже ногами, опираясь временами на мой посохъ, продолжалъ я путь свой по широкой степи, и опять, какъ и прежде, печальные солончаки ея смѣнялись смѣющимися лужайками, гдѣ гудѣли среди цвѣтовъ пчелы, и такъ сладостно пахло ландышами, а за лужайками шли мрачные дикіе лѣса, полные дикой жути, лѣшнихъ и зловѣщихъ сновъ, а за ними шли опять золотыя нивы, полныя васильковъ, которые съ звонкимъ смѣхомъ собирали маленькія дѣти въ то время, какъ

матери ихъ, напрягая всѣ силы, жали колосистую рожь, изъ которой потомъ будетъ хлѣбъ для этихъ дѣтей, для ихъ мужей и для меня, одинокаго путника, идущаго широкою безбрежною степью. . .

Что же главное?

Материалисты, спиритуалисты, позитивисты, дуалисты, теозофія, ученіе о Логосѣ, Элевзинскія мистеріи, ницшеанство, православіе, Веданта, что это все, какъ не одинъ сплошной крикъ: «я ничего не знаю . . .»? Всѣ эти теченія мысли похожи на тѣ храмы, которые, въ удивленіи предъ Тайной, человѣчество воздвигаетъ по лицу земли: всѣ они стремятся точно улетѣть въ небо своими колокольнями и шпицами, и — всѣ не достигаютъ его.

Что же все это значить? Это прежде всего значить, что не мысль въ жизни главное. . .

Перлъ.

Преподобный Исихій говорить, что *человѣкъ долженъ быть подобенъ израильскому первосвященнику, который на груди носилъ золотую дощечку съ надписью: «святыня Господня»*. Да, это хорошо помнить, что и у тебя на груди есть такая, хотя бы и невидимая, золотая дощечка, говорящая, что въ душѣ твоей, святынь твоей, должно быть только то, что свято, только то, что радостно, только то, что лучезарно. . .

Кровь.

Рано по утру, когда я съ больнымъ Левушкой на рукахъ подошелъ къ окну, я замѣтилъ, что на одинъ изъ ближайшихъ дубовъ сѣла какая-то хищная птица. Ястреба страшно одолѣваютъ насъ, то и дѣло растерзывая куръ. Я быстро передалъ Левушку женѣ и, схвативъ ружье, выстрѣлилъ. И тотчасъ же, пригибая вѣтви, только что опушившіяся молодой листвою, на землю медленно, съ сучка на сучокъ, стала падать птица.

И сразу меня охватило знакомое мнѣ чувство моральной тошноты.

Я вышелъ. Тамъ, подъ дубомъ, на молодой, обрызганной кровью травѣ лежалъ соколъ, — удивительный, весь точно стальной, красавецъ съ огромными, прекрасными, обведенными желтой каймой глазами. При видѣ меня онъ приподнялся и зло раскрылъ навстрѣчу мнѣ клювъ. Изъ груди его сочилась кровь.

Вокругъ тихое сѣренькое утро, и въ заросляхъ поютъ соловьи, а въ моей груди — тоска невыразимая. . .

Грѣхи.

Большіе, такъ называемые, «смертные» грѣхи у человѣка, большею частью, являются грѣхами совсѣмъ малыми, тогда какъ грѣхи маленькіе, такъ называемые, «простительные», суть грѣхи очень большіе, важныя, «смертные». Грѣхи большіе потому имѣютъ маленькое значеніе, что на нихъ человѣкъ рѣшается только подъ давленіемъ исключительныхъ обстоятельствъ, ослѣпленный, напимѣрь, сломанный

страстью, и потому они въ большинствѣ случаевъ совѣмъ не говорятъ о томъ, что самая суть души его порочна, между тѣмъ какъ маленькіе грѣхи, растущіе въ жизни какъ бы сами собою, какъ опенки на гниломъ пнѣ, и говорятъ какъ разъ о томъ, что душа человѣка не въ порядкѣ, что ее надо особенно почистить.

Двѣ истины.

Къ сорока годамъ своей жизни я узналъ двѣ важныхъ истины.

Первая истина въ томъ, что люди въ массѣ совѣмъ не желаютъ знать никакой истины.

Тьмы низкихъ истинъ намъ дороже
Насъ возвышающій обманъ, —

сказалъ поэтъ и сказалъ невѣрно. Я сказалъ бы иначе: тьмы высокихъ истинъ намъ дороже насъ принижающій обманъ. Нѣтъ для человѣка вещи болѣе непріятной и неудобной, какъ истина. И это — истина первая.

Вторая истина въ томъ, что если у тебя все-таки зудитъ сообщить людямъ то, что ты считаешь истиной, то ты долженъ не только обладать ею, но, главное, еще умѣть сообщить ее людямъ. А для этого первое условіе — подстелить соломки, закутать истину ваткой такъ, чтобы она не кололась. Иначе ничего не выйдетъ. Я не говорю уже о возможности Голгофы или чаши съ цикутой — все это мигъ одинъ и нисколько не страшнѣе горловой чахотки, — а то, что никто тебя и слушать не станетъ и вся твоя истина останется при тебѣ, истина и — горечь...

Туманное утро.

Прелестное утро... Туманно и необыкновенно тихо, настолько тихо, что слышно паденіе листьевъ въ глубинѣ лѣса. Я подрѣзываю свой садъ, рядомъ дѣтишки копошатся что-то въ землѣ. Сѣрое тихое море, сѣрое тихое небо дышитъ покоемъ и грустью. Надъ головами изрѣдка проносятся съ сѣвера стайки дроздовъ-рябинниковъ съ своимъ характернымъ цоканьемъ. А въ воздухѣ стоитъ и не проходитъ ровный, удивительно пріятный запахъ опавшей листвы и влажной земли... И на душѣ тихо, тихо и грустно, и никуда, никуда не хочется, никуда, и ничего, и никого...

„Morceaux moscovites.“

R. Rolland въ своемъ огромномъ романѣ «Jean Christoph», говоря о музыкѣ, съ легкимъ презрѣніемъ отзывается о разныхъ «morceaux moscovites», которыя — страшно сказать — играютъ иногда въ концертахъ рядомъ съ вещами Бетховена или Моцарта. Какъ смѣшно и неожиданно со стороны такого умнаго человѣка это презрѣніе къ искусству, котораго онъ просто не понимаетъ, до котораго онъ еще не расширился душой. У всякаго народа, у всякаго человѣка во всякій возрастъ его, во всякую эпоху — своя музыка. Эти презрѣнные «morceaux moscovites» — пѣсни нашей русской души. Можно жалѣть, что ты не понимаешь нашихъ пѣсень, но никакъ нельзя, слушая ихъ, презрительно пожимать плечами.

Чѣмъ больше слушаешь разсужденій объ искусствѣ, чѣмъ пристальнѣе вглядываешься въ необозримый океанъ его, пропитывающій всю жизнь человѣчества до самыхъ темныхъ глубинъ ея и уходящій съ другой стороны въ небо, тѣмъ все яснѣе и яснѣе выступаютъ какіе-то слои въ этомъ океанѣ: этотъ слой, и тотъ, и еще вонъ тотъ мнѣ родные, понятные, близкіе, а тѣ — чужіе. Но тѣ люди, что живутъ въ чужихъ для меня слояхъ искусства, чувствуютъ, что мои слои чужды имъ, что они не только никакъ не могутъ войти въ эти области, но что эти области ихъ какъ будто даже отталкиваютъ. Это странно, но это такъ. И что еще страннѣе, такъ пребываніе душой въ томъ или иномъ слое искусства совсѣмъ не обуславливается ни эпохой, ни національностью, ни той или иной широтой общаго развитія человѣка, ни его темпераментомъ.

Если въ тихій сѣренькій лѣтній денекъ я слышу, какъ, отваливъ съ луговой стороны, идетъ Волгой на нагорную тяжелая, пахнущая смолой и сыростью «завозня», и слышу это заунывное, однообразное

Погребнемъ, махнемъ
Да еще, еще . . .

повторяемое гребцами въ тактъ весель безъ конца, моя душа отзывается на это, какъ отзывается она на свѣтлые громы симфоніи Бетховена, той симфоніи, которая оставляла Толстого холоднымъ (впрочемъ, это не точно: холоднымъ онъ не оставался, но изъ своего *parti pris* говорилъ: «я, къ сожалѣнію, настолько испорченъ, что это мнѣ нравится. . .»), какъ отзывается она на тихое сіяніе Мурильевской Мадонны. И въ то же время я никакъ не могу войти въ тотъ слой искусства, гдѣ люди восторженно поклоняются мадоннамъ Рафаэля, или операмъ Вагнера, или уштанымъ тѣламъ Рубенса. Мнѣ говорятъ ванъ-Дейкъ, Веласкецъ, фра Б. Анджелико, но я совершенно холоденъ предъ М. Анджело и Л. да-Винчи; меня чаруютъ старенькіе менуэты Рамо и не будить холодный Сень-Сансъ, я путаюсь въ стиляхъ прошлаго и меня приводитъ въ восторгъ такъ называемый стиль модернъ, «Война и миръ» для меня — первая книга въ мірѣ, Шекспира — почти что нѣтъ, а «Божественная комедія» — источникъ скуки невѣроятной, такъ же, какъ и «Потерянный рай»; рѣпинскій «Иванъ Грозный» для меня вещь совершенно не нужная, а пейзажи Левитана — дороги и трогаютъ до самой глубины души. И если бы меня попросили обвести границы моего слоя искусства, я никакъ не могъ бы этого сдѣлать, никакъ бы не могъ формулировать, что именно чаруетъ меня въ томъ, что меня чаруетъ, и что отталкиваетъ въ томъ, что мнѣ чуждо. Тутъ какое-то таинственное сродство душъ, неуловимое и прелестное. . .

И раньше я бунтовалъ противъ того, что было мнѣ въ искусствѣ чуждо, теперь молчу и жду, когда мнѣ раскроется та область, которая теперь мнѣ еще не доступна. А если никогда не раскроется? Такъ что же? Всякому свое и сердиться совсѣмъ не на что. . .

Э з о п ѣ .

Эзопъ вывели на продажу вмѣстѣ съ двумя другими невольниками. Покупатель спросилъ одного изъ невольниковъ, что онъ умѣетъ дѣлать. Тотъ, чтобы поднять свою цѣну въ глазахъ покупателя, наговорилъ о себѣ горы всякихъ чудесъ; другой тоже не отставалъ отъ него и хвалился столько же и даже болѣе. Когда очередь дошла до Эзопъ и его спросили, что онъ умѣетъ, онъ отвѣчалъ:

— Ничего не умѣю, ибо эти двое все уже заняли. Они все знают и умѣютъ. . .
Удивительно, но я никогда не слышу голоса Эзопы: эти рабы все знают, все умѣютъ! . .

Основное.

Вотъ тѣ три основныхъ положенія, не принявъ, т.-е. не понявъ которыхъ, совершенно невозможно относиться къ жизни серьезно, совершенно невозможно ни принять, ни понять ее:

I. Нѣтъ и не можетъ быть такого положенія для человѣка, въ которомъ онъ не страдалъ бы.

II. Нѣтъ и не можетъ быть такого положенія для человѣка, въ которомъ не было бы маленькихъ и большихъ радостей, дающихъ возможность жить.

III. Нѣтъ и не можетъ быть такого положенія, въ которомъ нельзя было бы быть хоть немножко человѣкомъ.

Старыя вещи.

Нельзя не поражаться ужасающей непрактичности современной жизни, ужасающему мотовству людей, ужасающему неуваженію къ человѣческому труду, времени, спокойствію. . . Стаканы, изъ которыхъ вы пьете чай, бьются милліонами, ситцы сгораютъ на людяхъ съ такой быстротой, какъ будто бы ихъ палило огнемъ, и милліоны людей изнываютъ въ уныломъ, подневольномъ трудѣ, чтобы снова и снова дѣлать вамъ тѣ же эфемерные стаканы, тѣ же поганые ситцы, которыхъ не хватаетъ и на мѣсяцъ. Казалось бы, лучше заплатить за стаканъ въ тысячу разъ больше, чтобы пользоваться имъ самому всю жизнь и потомъ передать его дѣтямъ, а тѣ своимъ дѣтямъ. Если дѣлать его на долгое время, то можно больше и потрудиться надъ нимъ, можно сдѣлать его прекраснымъ произведеніемъ искусства, которое будетъ источникомъ радости для многихъ поколѣній. Теперь же черезъ наши руки идетъ непрерывный потокъ всевозможныхъ, всегда новыхъ вещей, исчезающихъ прежде, чѣмъ ты могъ не только сродниться съ ними, но даже просто привыкнуть, вещей, не имѣющихъ совершенно никакого лица, всюду одинаковыхъ, сѣрыхъ. Домъ нашъ не гнѣздо, гдѣ все родное, а какой-то базаръ, какая-то выставка всякой дешевой дряни. И какая это была бы радость для мастера трудиться надъ вещью, которая пойдетъ въ вѣка, которою будутъ любоваться даже тогда, когда о мастерѣ не останется уже никакого воспоминанія среди людей! . .

Знаю, что на это возразятъ: условія рынка, экономическая необходимость и пр., и будутъ думать, что сказали что-то, между тѣмъ это только глупыя слова, подъ которыми мы скрываемъ, что мы запутались и дѣлаемъ глупость на глупости и конца этимъ глупостямъ не видно. . .

И какъ красивы семьи, въ которыхъ много старинныхъ родовыхъ вещей! . .

Побѣжденных не судятъ.

Не суди, потому что за каждымъ человѣкомъ слышенъ разбѣгъ тысячелѣтнихъ силъ (хотя бы та же наслѣдственность). Надо быть очень большимъ героемъ, чтобы, воспротивившись этимъ страшнымъ силамъ, побѣдить ихъ. Да въ концѣ-концовъ,

если и воспротивишься имъ, — кто знаетъ, можетъ быть, и это противленіе твое есть дѣйствіе все тѣхъ же силъ, только проявившихся на мигъ въ тебѣ.

Воля человѣка, конечно, свободна, но это — микроскопическая свобода, ограниченная условіями мѣста, времени, той же наслѣдственностью. На морѣ реветъ ураганъ. Комаръ можетъ пищать, можетъ и не пищать, онъ свободенъ, но что значить его пискъ въ ревѣ урагана?

Пищать надо, насколько только хватаетъ силъ, надо, надо!.. Но, если кто пищать слабо или совсѣмъ не пищать, отдаваясь безсильно порывамъ бури, — не суди!.. Побѣдителей не судятъ, — можетъ быть, но еще справедливѣе не судить побѣжденных!..

Жизнь.

Въ пустыняхъ есть странныя рѣки. Онѣ берутъ начало въ зеленыхъ лѣсистыхъ горахъ, благоухающихъ цвѣтами, и потихоньку убѣгаютъ вдаль, въ пески пустыни. И текутъ онѣ по этимъ пескамъ, голымъ и бесплоднымъ, становясь все шире и шире, и вдругъ исчезаютъ: пески поглощаютъ ихъ безъ слѣда.

Когда человѣчество стояло на порогѣ безбрежной жизни, на лугу, усеянномъ цвѣтами иллюзій, свѣтлыхъ надеждъ, грезъ, выросшихъ на почвѣ дѣтской невинности и чистоты, — къ нему подошелъ Сатана. Быстро поблекли при его приближеніи цвѣты на лугу и опустили свои головки, роняя капельки росы: точно кто-то плакалъ о чемъ-то... И вмѣстѣ съ Сатаной, давшимъ ему факель Мысли, человѣчество вступило въ безбрежную пустыню сомнѣній, тоски, безвѣрія, и вотъ послѣ долгаго-долгаго пути, усталое, измученное, оно вдругъ исчезаетъ въ безконечности времени и пространства...

Люди.

I.

Въ нашемъ зоологическомъ саду былъ огромный старый слонъ. Онъ былъ прикованъ тяжелыми цѣпями къ полу и никогда ничего не видѣлъ долгіе и долгіе годы, кромѣ голыхъ, безобразныхъ стѣнъ этого неуютнаго кирпичнаго сарая. Иногда на него нападала тоска, онъ становился безпокоенъ, и его боялись, но тоска проходила, и снова онъ дѣлался спокоенъ и навстрѣчу безчисленнымъ зѣвакамъ высоко поднималъ свой могучій хоботъ и широко раскрывалъ ротъ, украшенный парой огромныхъ клыковъ. Они, чему-то мерзко хихикая, кидали ему въ ротъ булки, и старый слонъ кланялся имъ, благодарилъ.

И вотъ старикъ заболѣлъ и, промучившись столько, сколько нужно было непонятной Судьбѣ, умеръ...

И его вскрыли и въ желудкѣ его нашли гвозди, иголки, битое стекло, жестянки, — это все, забавляясь, прятали люди въ свои булки, за которыя онъ благодарилъ ихъ, кланяясь своей огромной, умной, старой головой...

II.

Въ Парижѣ кипѣла революція. Одинъ изъ членовъ трибунала, судившаго аристократовъ, Trinchard, послалъ своей подругѣ записку такого содержанія:

«Если ты свободна, то можешь, моя милая подруга, притти посмотреть, какъ мы будѣмъ судить господъ, числомъ 24, — все президентъ и члены парламентовъ Тулузы и Парижа. Очень савѣтую тебѣ закусить хорошенько прѣдварительно, такъ какъ мы едва ли кончимъ раньше трехъ часовъ. Абнимаю тебѣ, мая милая подруга и супруга твой мужъ Трэншаръ.»

И, конечно, супружница закусила и пошла смотрѣть, какъ люди мучаютъ людей, какъ ихъ казнятъ, какъ мальчикъ 16 лѣтъ среди груды обезглавленныхъ труповъ ищетъ тѣла своего отца, котораго такъ недавно еще привезли сюда изъ Тулузы и за которымъ мальчикъ всю дорогу шелъ издали пѣшкомъ, не въ силахъ оторваться отъ любимаго. . .

И вотъ болѣе ста лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, и авторъ книги, въ которой я на-шелъ этотъ человѣческій документъ¹⁾, сидитъ въ томъ же замкѣ, изъ котораго былъ увезенъ на гильотину его дѣдъ, артистъ и страстный нумизматъ, и разбираетъ семейный архивъ и негодуетъ на убійцу его дѣда и совсѣмъ, совсѣмъ не понимаетъ того, что тогда произошло. . . А вокругъ стѣнъ его замка, какъ и тогда, такіе же озлобленные люди и все та же бессмыслица и нелѣпость жизни. . .

III.

Въ 1904 г. въ Англии былъ арестованъ молодой человѣкъ, по имени Куперъ, по обвиненію въ убійствѣ своей возлюбленной и въ покушеніи на самоубійство. Онъ былъ приговоренъ къ смертной казни, но такъ какъ рана, нанесенная имъ себѣ въ шею, еще не зажила, исполненіе приговора было отложено. Черезъ нѣкоторое время доктора удостовѣрили, что рана его *достаточно зажила* и что онъ можетъ быть безъ всякихъ опасеній повѣшенъ, что и было исполнено. . .

(Carpenter, — „Prisons, Police and Punishment“).

Эгоцентризмъ.

Подъ завываніе страшнаго нордъ-оста я думалъ о той болѣзни, которою страдаемъ всѣ мы и которая лишаетъ насъ столькихъ радостей. Мыслью мы всѣ прекрасно понимаемъ, что мы — только частичка во всемъ земномъ населеніи, а земля — только пылинка въ безднахъ неба, мы это понимаемъ, но мы этого *не чувствуемъ*. Напротивъ, мы чувствуемъ, что мы стоимъ въ центрѣ вселенной, и весь этотъ величавый ходъ ея только какъ бы для насъ, для меня, стоящаго въ центрѣ мірозданія. Отсюда всѣ эти странныя заботы объ утвержденіи своей пылинки, своего я, эта боязнь, какъ бы маленькій огонекъ этотъ не потухъ. Стоитъ же только выучиться чувствовать себя безконечно малою частью безконечно великаго цѣлаго, искоркой въ потокѣ вѣчнаго свѣта, льющагося изъ безднъ невѣдомаго, какъ всѣ эти страхи, всѣ заботы должны будутъ отпасть: не о чемъ заботиться, не стоитъ заботиться. Этого я достигаю временами, и какая радость тогда жизнь! . .

Но, съ другой стороны, надо твердо помнить, что личность человѣка — святыня, что она не можетъ быть средствомъ ни для какой цѣли, что она сама по себѣ высшая цѣль. . .

¹⁾ „Vers l'échafaud“, par de Batz.

Въ развалинахъ Помпей.

Тихо, грустно. . . Тишина и грусть и въ этихъ развалинахъ, и въ теплохъ небѣ, что грѣетъ и нѣжитъ ихъ, и въ Везувіи, съ вершины котораго тихо поднимается бѣлый дымъ — словно великанъ приносить тамъ жертву божеству, искупая свое преступленіе. Легкій вѣтерокъ шелеститъ травой и доноситъ до насъ запахъ цвѣтущаго гдѣ-то жасмина, который такъ идетъ къ этому глубокому сну мертваго города.

На обломокъ тысячелѣтней колонны спустились двѣ бабочки. Онѣ нѣжно ласкаютъ одна другую крылышками и видно, что онѣ счастливы своей любовью, этимъ солнцемъ и тепломъ. А надъ ними, на стѣнѣ развалившагося дома Cecilius'a Jucundus'a полустертая надпись:

«Да будетъ счастливъ тотъ, кто любитъ, несчастливъ тотъ, кто не умѣетъ любить, и да дважды погибнетъ тотъ, кто препятствуетъ любить.»

И со свѣтлой улыбкой она — та, которую я тогда любилъ, — сказала мнѣ:

— Посмотри, милый, какъ трогателенъ видъ этихъ бабочекъ на древней колоннѣ: красота и любовь на смерти и разрушеніи. . . И, въ сущности, гдѣ разница между этими бабочками и тѣмъ народомъ, который когда-то создалъ эту колонну? Завтра бабочки умрутъ, отъ нихъ не останется и слѣда, какъ не осталось и слѣда отъ тѣхъ людей, какъ не останется ничего и отъ насъ. А пока — будемъ, какъ бабочки, милый!.. Будемъ съ радостной душой наслаждаться солнцемъ и цвѣтами, сказками моря и нашей любовью. . .

И она обняла меня. . .

И я, — я тогда былъ совсѣмъ язычникомъ, — опустился, полный смятенія, къ ея ногамъ и говорилъ ей о моей любви. . .

А кругомъ лежали озаренныя розовымъ свѣтомъ зари мертвыя развалины и духъ Cecilius'a Jucundus'a съ грустной и немножко насмѣшливой улыбкой внималъ словамъ любви, тихо таявшимъ въ вечерней тишинѣ. . .

На могилкѣ.

Необыкновенная тишина. . . Затихъ вѣтеръ, затихло море, люди, птицы, все. . . И я чувствую, что весь этотъ тихій, золотисто-розовый міръ — Я. Вотъ я усталъ за день, и это вечерѣетъ не отъ захода солнца, а усталость моя есть такое міровое явленіе, которое проявляется тѣмъ, что солнце заходитъ, горитъ заря, зажигаются звѣзды. Мой сонъ совсѣмъ не то, что я лежу вотъ на кровати и сплю, а мой сонъ — это звѣздные хороводы, и чертящіе небо метеоры, и крикъ совы въ заросляхъ, и вздохи ночного вѣтра. . .

И мой день это не работа въ моемъ саду, не эти вотъ мимолетныя записи, не болтовня съ дѣтишками, а все, что совершается въ мірѣ, какъ будто для себя, но на самомъ дѣлѣ для меня, — не на землѣ только, а въ мірѣ, — готовое проявиться каждое мгновеніе въ моемъ сознаніи, какъ только оно оторвется отъ дѣтей, отъ этой бумаги, отъ этой тихой могилки и направится туда.

Я не говорю, что это истина, — я не знаю, что такое истина, — я говорю лишь, что все это прошло моей душой этимъ тихимъ вечеромъ и растаяло, какъ въ лучахъ заката таютъ вонъ тѣ легкія облака надъ моремъ. . .

Т а й н а.

Изъ-за горъ поднялась полная луна, на которую, на всѣ эти горы и мертвыя долины, я недавно смотрѣлъ въ телескопъ. Мертвая, ничего нѣтъ. . . И пройдутъ тысячелѣтїя и такъ же съ какой-нибудь звѣзды будутъ смотрѣть на мертвую землю и будутъ такъ же спрашивать: была ли на ней жизнь когда-нибудь? Какая? Или ничего не было, какъ нѣтъ и въ настоящее время?

А вѣдь на землѣ былъ Христосъ, наше искусство, наша удивительная музыка, вся эта огромная удивительная исторїя! . . . Наконецъ, былъ, вѣдь, я, эта вотъ моя дорогая могилка, эта вотъ моя тоска. *Какъ могутъ они спрашивать, былъ ли я?*

А я, я гдѣ буду въ то время со всѣми своими радостями, страданїями, надеждами?

На всѣхъ путяхъ мысли тайна и тайна! . . .

Въ забытой усадьбѣ.

Тихая, свѣтлая августовская ночь. . . Облитые луннымъ сіяніемъ, тихо грезять о быломъ вѣковые дубы липы, сосны, стараго, запущеннаго парка. Гдѣ-то въ глубинѣ его жалобно плачетъ сова. На высокой липѣ, надъ старымъ домикомъ стоитъ въ своемъ огромномъ гнѣздѣ аистъ. . . Все тихо, прекрасно и грустно. . .

Я лежу въ небольшой комнаткѣ на убогой постели, сооруженной кое-какъ сторожемъ, и смотрю на залитый луннымъ свѣтомъ дивный паркъ, и мысли плывутъ въ моей головѣ одна за другой, какъ эти легкія облачка въ глубинѣ ночного неба. . .

Я думаю о прошломъ, о которомъ говорить тутъ все, и, странное дѣло, все, что въ немъ было тяжелаго, мрачнаго, все какъ-то исчезло, а осталась только красота его, его какая-то наивная прелесть, его величавое значеніе, — значеніе всякой могилы величаво. Мы воспитали въ своемъ сердцѣ дикую ненависть къ этому прошлому, но

Злобою сердце питаться устало,
Правды въ ней много, да радости мало. . . —

сказалъ Некрасовъ и сказалъ невѣрно. Я сказалъ бы иначе:

Злобою сердце питаться устало, —
Правды въ ней нѣтъ, да и радости мало. . .

Когда римляне послѣ жестокихъ боевъ взяли, наконецъ, разрушенный Іерусалимъ, они не могли придумать ничего лучшаго, какъ пройти плугомъ по тому мѣсту, гдѣ стоялъ нѣкогда храмъ Соломона. Я не сдѣлалъ бы этого. Я обнесъ бы это мѣсто высокой оградой и написалъ бы на ней: «путьникъ, здѣсь стоялъ нѣкогда храмъ враговъ моихъ, — обнажи твою голову. . .»

Прошлое: крѣпостное право, Салтычиха, мертвыя души, Ноздревы, Собакевичи, Сквозники! . . . Да, вѣдь, это же уродство представлять его себѣ только въ этихъ тонахъ! Такъ же люди любили тогда красоту, такъ же стремились къ правдѣ, такъ же страдали, такъ же сіяла тогда луна, обливая своимъ свѣтомъ величавыя липы стараго парка, подъ сводами которыхъ милая Татьяна переживала первыя свѣтлыя волненїя любви. . .

Мертвыя души, Ревизоръ — это самыя оболганныя, самыя непонятныя книги. «Что смѣтеть? Надъ собой смѣтеть. . .» — крикнулъ намъ Гоголь, смѣющимъ и злобствующимъ, и мы до странности не замѣтили этихъ словъ. Если бы мы поняли

ихъ во всей ихъ глубинѣ и значеніи, то не было бы у насъ злобы къ его монстрамъ и не проклинали бы мы нашего прошлаго. Тутъ, если проклинать, то надо проклинать и себя, а не проклинаешь себя, пожалѣй и ихъ. . . Они совсѣмъ не были такъ плохи, какъ это намъ кажется, и мы совсѣмъ не такъ ужъ хороши, какъ это намъ хотѣлось бы представлять себѣ. . . «Пониманіе значитъ прощенье и примиреніе разомъ», сказалъ большой человѣкъ, А. И. Герценъ.

Тихо шелестѣли вѣковыя липы, бродилъ въ темныхъ аллеяхъ лунный свѣтъ, высоко среди звѣздъ стоялъ на одной ногѣ аистъ и думалъ свою думу, а въ моей душѣ былъ миръ, грусть и любовь къ тѣмъ, которыхъ уже нѣтъ. . .

На волю.

Дождь, метель, морозъ, все вмѣстѣ и ничего. Чувствуешь, что распускаться тутъ нельзя. И не только ничего: ночью, когда подѣвжали къ Перевалу, изъ придорожнаго лѣса выскочили и бросились на нашихъ собакъ волки. И не только не было никакого страха, — напротивъ, чувство какой-то моральной подобранности, какая-то веселящая жуть. Еще давно, на медвѣжьей охотѣ, я замѣтилъ въ себѣ одну черточку: пока звѣря нѣтъ, пока онъ гдѣ-то вотъ тутъ, а гдѣ, неизвѣстно, я испытывалъ большой страхъ, но какъ только онъ показывался, какъ только вся опасность сосредоточивалась въ одномъ опредѣленномъ мѣстѣ, такъ сразу весь страхъ проходилъ, и я становился какъ желѣзный. Такъ было и теперь: никакого страха, а полная и веселая готовность дать отпоръ. Но собаки сами мужественно справились и разогнали волковъ. . .

И какъ иногда хочется вырваться на эту вольную жизнь! . . . Меньше писать, меньше думать, меньше вариться въ собственномъ соку и больше жить, широко, дико, съ морозами, съ вьюгами, съ волками, съ усталостью физической, съ голодомъ. . .

Я часто втихомолку тоскую и плачу по этой жизни, какъ дикій звѣрь въ клеткѣ. . .

При ликованіи утреннихъ звѣздъ.

Прошло четыре года со дня ея ухода отъ меня, четыре года! . . . Тѣ же слезы, та же боль души, тѣ же безотвѣтные вопросы въ Безконечность и — то же молчаніе отъ вѣка. Куда она такъ ушла, зачѣмъ оторвали ее такъ отъ меня, зачѣмъ все это было, эта милая солнечная жизнь ея, эти ужасныя страданія, эта ни на что ненужная смерть? . . . Четыре года думалъ, четыре года читалъ, но ничего, рѣшительно ничего новаго не вычиталъ и стою на мертвой точкѣ и буду стоять, знаю, до смерти, какъ стоитъ на ней все человѣчество уже тысячелѣтія. «Кто умножаетъ познанія, умножаетъ только скорбь», — вотъ умныя слова, которыя записаны тысячи лѣтъ тому назадъ. Весь нашъ умственный трудъ сводится въ концѣ концовъ только къ тому, что мы все яснѣе и яснѣе узнаемъ, что ничего мы не знаемъ и ничего никогда узнать не можемъ. . . Вотъ на-дняхъ читалъ въ одной многотомной книгѣ сожалѣнія о томъ, что вотъ варвары сожгли Александрійскую библіотеку. Нѣтъ, это горе не-большое и, право, если бы я былъ тамъ въ такія вотъ минуты, я не пожалѣлъ бы для нея лишней головешки. Бумага, бумага, только бумага. . .

Я взялъ Библію, книгу Іова. . . Нѣтъ, слишкомъ много словъ и въ ней! . . . И что за странный конецъ: и Богъ утѣшилъ Іова, далъ ему вмѣсто 1000 овецъ — 2000,

вмѣсто 100 воловъ — 200 воловъ, вмѣсто трехъ сыновей — семерыхъ и вмѣсто одной дочери — трехъ. Да развѣ это утѣшеніе? Да развѣ есть сокровище, которое могло бы покрыть потери прошлаго? Прежде всего онѣ и не поддаются оцѣнкѣ, всякая попытка оцѣнить ихъ есть святотатство.

И, перелистывая Библию, я вдругъ наткнулся на такую строчку:

«Кто (какъ не Богъ) положилъ краеугольный камень земли при общемъ ликованіи утреннихъ звѣздъ, когда всѣ сыны Божіи восклицали отъ радости?»

И вотъ слезы, вотъ скорбь, и не знаешь, куда итти во мракъ, а все же понимаешь это ликование утреннихъ звѣздъ при появленіи на свѣтъ нашей печальной земли съ ея могилами, и самъ невольно ликуешь, видя, какія слова можетъ сказать человѣкъ, какіе образы рождаются въ его мозгу, какая красота живетъ въ его душѣ. И это гдѣ-то въ полудикой странѣ, тысячи лѣтъ тому назадъ и написано такимъ же, какъ и я, человѣкомъ, у котораго тоже, можетъ быть, была дорогая могилка. Онъ плакалъ надъ нею, какъ и я, и, какъ и я, чувствовалъ ликование утреннихъ звѣздъ. . .

Остановись, мгновенье!

Если бы я былъ злой волшебникъ и захотѣлъ бы уничтожить родъ людской, я подарилъ бы людямъ волшебные часы: стоитъ перевести ихъ стрѣлки на тотъ моментъ, котораго ты ждешь, и тотъ желанный моментъ наступаетъ, избавляя человѣка отъ промежуточнаго, столь томительнаго времени ожиданія желаннаго. Я задумалъ блестящую поэму, которая дастъ мнѣ и славу, и богатство, и любовь прекрасныхъ женщинъ, и вотъ я переставляю свои волшебные часы на годъ впередъ, — моя поэма уже написана, навстрѣчу мнѣ любовно сіяютъ со всѣхъ сторонъ прекрасные глаза, я богатъ и славенъ. Но во мнѣ уже родилось другое желаніе, я уже не удовлетворенъ тѣмъ, что есть, я не хочу сказать: «остановись, мгновенье, — ты прекрасно. . .» Самую любимую я хочу увезти далеко, далеко, на лазурное море, на этотъ одинокій зеленый островъ, гдѣ среди кружева пальмъ я воздвигну волшебный дворецъ для нея. И я перевожу мои часы на два года впередъ, и вотъ я съ ней, самой любимой; на зеленомъ островѣ среди кружева пальмъ, въ бѣлоснѣжномъ кружевномъ дворцѣ. Мгновенье прекрасно, но недостаточно прекрасно, — меня гнететъ тоска, и я хочу узнать, что говоритъ тотъ мудрецъ о счастья человѣческомъ, слава котораго наполняетъ теперь міръ наравнѣ съ моей славой. Но для чего читать, для чего трудиться, для чего напряженно ждать — стоитъ перевести стрѣлки часовъ, и я въ обладаніи мудростью мудреца. А тамъ опять и опять. . .

И думаю, при страстной натурѣ своей человѣкъ всю свою жизнь съ помощью этихъ волшебныхъ часовъ укоротилъ бы до нѣсколькихъ дней — не успѣлъ получить желанное, какъ является уже новое желанное, и земелькали годы, какъ минуты. . . до тѣхъ поръ, пока часы, затрепавъ, не остановились бы: человѣкъ повертѣлся до могилы. . .

Такъ поступило бы огромное большинство людей, всѣ эти безчисленные жадные Фаусты, большіе и маленькіе. Но немногіе, истинно мудрые, тѣ не только не переводили бы ни на минуту впередъ стрѣлокъ волшебныхъ часовъ, но вѣроятно, просто въ первый же день забыли бы даже и завести ихъ.

Только тотъ мудръ, кто каждому безъ исключенія моменту можетъ искренно и серьезно сказать: остановись, мгновенье, — ты прекрасно. . .

И еще мудрѣ тотъ, кто даже этого не говоритъ и предоставляетъ мгновению идти или останавливаться, потому что ни то, ни другое ему не мѣшаетъ, и въ томъ, и въ другомъ мгновеніи онъ видитъ Вѣчность, полную несказанной красоты. . .

„Устраивайтесь!“

Въ зеленыхъ одеждахъ, въ сверкающемъ вѣнцѣ вѣчныхъ ледниковъ, подъ голубымъ, усѣяннымъ звѣздами, балдахиномъ, сидитъ на вѣчномъ тронѣ Праматерь-Природа и неустанно творитъ. И вотъ она беретъ горсть праха, одѣваетъ его пестрыми перьями, влагаетъ въ него душу живу и говоритъ:

— Ты будешь курицей. Ты будешь жить въ тѣсномъ общеніи съ человѣкомъ, который дастъ тебѣ кровь и пищу, а ты, взаменъ, дашь ему часть яицъ твоихъ. Вотъ я влагаю въ грудь тебѣ неодолимый инстинктъ продолженія рода, вотъ я влагаю въ душу твою неугасимую любовь къ потомству, за которое ты, когда оно миленькими желтенькими комочками будетъ копошиться вокругъ тебя, ты, въ минуту опасности, будешь безъ всякаго колебанія полагать душу твою. Иди, живи. . .

И взяла Праматерь еще горсть праха и, одѣвъ его сѣрой шкурой, опять вдунула въ него дыханіе жизни и сказала:

— Ты будешь шакаломъ. Ты промышляй о себѣ самъ. Тебѣ будетъ трудно, но знай, что трудъ этотъ не напрасенъ, ибо въ немъ ты изощришь дары мои, зрѣніе, слухъ и другіе, и доведешь ихъ до невѣроятной степени совершенства. Ты, какъ и курица, будешь весь во власти могучаго инстинкта продолженія рода, и въ душѣ твоей, какъ и въ ея душѣ, будетъ горѣть яркимъ пламенемъ любовь къ потомству, которое ты произведешь на свѣтъ, такая любовь, что ты пойдешь на какую угодно смерть, только бы не видѣть, какъ скулятъ съ голоду твои малыши. Иди, живи и помни, что я сказала тебѣ: страданія будутъ, но результатомъ ихъ будетъ твое совершенствованіе.

И взяла Праматерь еще горсть праха и, не одѣвъ ее ничѣмъ, вдунула въ нее душу живу и сказала:

— Ты будешь человѣкомъ. Живи и трудись. Какъ курица и шакалъ, ты будешь покоренъ великому инстинкту продолженія рода твоего и полонъ любви къ дѣтямъ твоимъ, любви даже до страданія непереносимаго, до смерти. Но въ отличіе отъ другихъ созданій моихъ вотъ я дарую тебѣ даръ необыкновенный: горячее широкое сердце, которое можетъ любить не только своихъ, но чувствовать всякое страданіе на землѣ. Иди, живи. . .

И, посмотрѣвъ на созданія свои, Праматерь улыбнулась загадочной и немножко горькой улыбкой и сказала:

— Устраивайтесь. . .

И вотъ у шакала родились дѣти и подросли, и материнскаго молока стало имъ мало, и родители то и дѣло бѣгали по зарослямъ и по сосѣднимъ хуторамъ, чтобы хоть какъ-нибудь добыть имъ пищи. Въ нихъ стрѣляли, имъ ставили капканы, для нихъ клали отраву, но какимъ-то прямо чудеснымъ образомъ день проходилъ за днемъ, и они жили и растили свое потомство и радовались на него. И вотъ разъ, когда щенята были особенно голодны, — шакалы всегда голодны, — особенно скулили и надрывали сердце старыхъ шакаловъ, мать отправилась къ человѣку. Тамъ на солнышкѣ мирно рылась въ пыли со своимъ выводкомъ насѣдка. Шакалка выждала подходящий моментъ и, вырвавшись изъ-за кустовъ, быстро схватила одного цыпленка и прыгнула въ заросли. Человѣкъ, давно уже караулившій ее, — не мало

перетаскала она у него куръ уже, — схватилъ ружье, и грянулъ выстрѣлъ, и вся окровавленная шакалка ткнулась носомъ въ горячую пыль дороги.

Человѣкъ подошелъ къ ней, уже дрожавшей послѣднею дрожью, и по отвисшимъ сосцамъ ея понялъ, что у нея гдѣ-то тутъ въ горахъ дѣти, которыя ждутъ ея. И то большое сердце, что вложила въ грудь его Праматерь, заняло болью нестерпимой: ему было жаль погибшей за дѣтей матери, жаль осиротѣвшихъ дѣтей. У него и самого были дѣти, онъ зналъ, что такое страданіе ребенка для родившихъ его.

И заговорили въ немъ два вѣковѣчныхъ голоса:

— Это говорить только слабость твоя. Жизнь есть борьба неустанная, и только вооруженной рукой, только хитрой, изощренной мыслью можешь ты удержать свое мѣсто на солнышкѣ. Переживаетъ наиболѣе приспособленный, а менѣе приспособленный обреченъ на гибель. Результатъ этого величественнаго закона — совершенствованіе всего живущаго.

И другой голосъ сказалъ:

— Жизнь есть любовь, и то, что ты сдѣлалъ, преступленіе. Кровь эта ляжетъ на душу твою и дѣтей твоихъ. Если въ грудь твою вложено болѣе широкое и болѣе горячее сердце, то не для того, чтобы ты попиралъ его, а для того, чтобы разжегъ его пламя въ огонь необъятный. Ты говоришь, что эти куры кормили дѣтей твоихъ? Ну, такъ что же? Жертвуй дѣтьми твоими, ибо какова же любовь безъ жертвы?

И человѣкъ стоялъ и не зналъ, что ему дѣлать. Было жаль убитую шакалку, было жаль задавленнаго ею цыпленка, было жаль бьющуюся въ душевной агонии насѣдку, было жаль своихъ дѣтей. Пожалѣть всѣхъ въ равной степени было никакъ нельзя, такъ какъ интересы всѣхъ этихъ существъ были противоположны, и для того, чтобы жили одни, надо было неизбѣжно, чтобы умерли другія. Пожалѣть же кого-нибудь одного значило принести въ жертву другихъ, т. е. раздавить свое живое сердце, посмѣяться надъ всѣмъ, что въ немъ было самаго свѣтлаго и дорогаго.

И онъ мучился.

А Праматерь въ зеленыхъ одеждахъ, въ сверкающемъ вѣнцѣ вѣчныхъ ледниковъ, подъ голубымъ сверкающимъ балдахиномъ сидѣла на вѣковѣчномъ тронѣ своемъ и глубокими очами своими смотрѣла на задушеннаго цыпленка, на окровавленнаго шакала, на бьющуюся насѣдку, на истекающее кровью сердце человѣческое и съ улыбкой, въ которой была скрыта горечь глубокая, говорила:

— Ну, ну, что же дѣлать?.. Устраивайтесь какъ-нибудь...

Молчаніе.

Какой вечеръ!.. Какая тишина, какая красота!..

Предо мной спиной къ морю — они всегда садятся почему-то спиной къ морю — сидитъ пожилой человѣкъ въ сильныхъ очкахъ и говоритъ, говоритъ, говоритъ...

Я, полузакрывъ глаза, смотрю мимо него въ голубую даль и, грѣшнень, только дѣлаю видъ, что слушаю.

— Люби Бога и ближняго — это было еще до Моисея... — бубнить онъ, и мнѣ кажется, что изо рта его падаютъ съ глухимъ стукомъ какіе-то уродливые обрубки, какія-то полѣнья. — Это все моисеевщина. Но со Христа настало другое время, новый законъ: люби врага своего...

И я всѣмъ существомъ своимъ чувствую, что онъ лжетъ, что для него это только слова, только слова, — какъ можетъ онъ любить врага своего, когда онъ не любитъ этого вечера, этой затанувшей въ сіяніи глади морской, этихъ опаловыхъ облаковъ,

строющихъ за моремъ свои волшебные замки? А тишина эта необыкновенная, а эта тихая, безбрежная радость и любовь, заливающаяъ душу? А-а, какое это счастье: жить и дышать! . . .

— Новый законъ . . . — бубнить равнодушный голосъ. — И скоро человѣчество, все человѣчество приметъ его и наступитъ новая жизнь на землѣ, полная любви ко всему. . . И время это близко, оно придетъ . . . — говорить мой собесѣдникъ, сидя спиной къ морю. — Оно придетъ. . .

Я тихо разсмѣялся въ душѣ: оно давнымъ-давно пришло, — захотѣлось мнѣ крикнуть ему, — пришло въ тотъ день, когда надъ первой зеленой травкой земли, надъ молодыми голубыми волнами ея засіялъ первый золотой тихій вечеръ, но вы проспали все это, вы ко всему этому сѣли спиной!

Онъ что-то все бубнилъ, а я молчалъ и вмѣстѣ со всей этой зеленой чаровницей землей, одѣвшейся въ золото и пурпуръ вечера, плакалъ невидимыми слезами предъ престоломъ Непостижимаго, слезами любви безконечной и невыразимой радости и блаженства. . .

Изъ окна вагона.

На зазеленѣвшей насыпи стоитъ молоденькая казачка. Стройное тѣло ея скрыто подъ пестрымъ и простымъ деревенскимъ нарядомъ; черные волосы обрамляютъ прелестный овалъ лица; алая губы ея, ея прекрасные черные глаза смѣются. Не видя никого изъ насъ въ отдѣльности — курьерскій поѣздъ несется съ бѣшеной быстротой, — она машетъ намъ, смѣясь, зеленой вѣткой и — въ одно мгновение исчезаетъ изъ глазъ навсегда, навсегда. . .

И не я заставлю горячо забиться это молодое, полное свѣтлой, весенней жизни, сердце, не для меня засіяютъ любовью звѣзды этихъ прекрасныхъ глазъ, не для меня вся эта молодость, и красота, и жажда счастья, не для меня, не для меня, не для меня!

Ну, что же, пусть для другого. . . Развѣ отъ этого жизнь будетъ менѣе прекрасна? Развѣ не такъ же радостно будетъ весной зеленая земля? Да, конечно, но все же въ сердцѣ моемъ вдругъ, какъ осенній вѣтеръ, запыла грусть. . .

Ver Sacrum.

У древнихъ римлянъ существовалъ обычай: въ случаѣ какого-нибудь тяжелаго общественнаго бѣдствія народъ давалъ торжественное обѣщаніе посвятить всехъ родившихся въ этомъ году дѣтей богамъ. Они росли, какъ и все дѣти, но какъ только достигали они двадцатилѣтняго возраста, ранней весной, 1 Марта, все они собирались вмѣстѣ и, поднявъ знамена съ изображеніемъ волка и дятла, порвавъ разъ навсегда всякія связи съ остающимися, уходили въ даль, куда глаза глядятъ. Веселое, блистающее солнце весны, священной весны, — Ver Sacrum, — первая маргаритки на чуть зазеленѣвшихъ поляхъ, манящія, какъ и теперь, больше, чѣмъ теперь, дали и по солнечнымъ, едва замѣтнымъ дорогамъ идетъ эта молодая толпа, идетъ недѣлю, идетъ мѣсяцъ, идетъ годъ, идетъ до тѣхъ поръ, пока не придетъ на мѣсто, которое понравится ей для постоянного поселенія. И пѣсни, и опасности, и любовь въ сіяніи звѣздъ, и смерть среди цвѣтовъ, и горы, и рѣки, и глушь, и восторгъ. . .

Такъ пришли изъ древней, полумифической Бактрии, колыбели арийцевъ, затерявшейся въ отрогахъ Гималаевъ, сами римляне, такъ вышли оттуда родоначальники всѣхъ остальныхъ европейскихъ народовъ, такъ потомъ стали отравляться въ сѣяніи Ver Sacrum эти молодые рои отъ самого Рима. . .

Мы забыли этотъ милый обычай, намъ кажется, что идти уже некуда, что всѣ дали уже наши, что, словомъ, свѣтъ уже клиномъ сошелся. Мы безсознательно пытаемся замѣнить эти священные походы молодежи тѣми сѣрыми, утомленными толпами эмигрантовъ, которые подъ предводительствомъ какого-нибудь бойкаго еврейчика-агента, въ поискахъ куска хлѣба и долларовъ, устремляются на загаженные плевками всего міра улицы Чикаго или Нью-Йорка. И будутъ тамъ торговать они ваксой, шить по шаблону скверные штаны, изнывать на душныхъ фабрикахъ и, если что имъ и прибавится, то развѣ только въ случаѣ удачи крахмальная манишка да лишняя сотня долларовъ въ карманѣ. . . Иногда нашу тѣсноту, нашу бѣдность, нашу тоску по иной долѣ пытаемся мы разрѣдить слѣпыми, яркими вспышками, которыя мы называемъ революціями. По горяче-кровавымъ морямъ, среди вѣтровъ безумія, ревущихъ со всѣхъ румбовъ сразу, люди отплываютъ къ таинственнымъ берегамъ какой-то сказочной Бѣловодіи, которыхъ еще никто никогда не достигалъ, но которыхъ мы, конечно, непременно достигнемъ. И купаются люди въ кровавыхъ буряхъ, и гибнутъ въ погонѣ за несбыточнымъ и вотъ вмѣсто медовыхъ рѣкъ въ кисельныхъ берегахъ снова передъ ними старая землянка, а передъ ней еще болѣе разбитое въ этихъ трепкахъ корыто. Это тоже, если хотите, походъ въ дали, но тамъ, въ древнемъ Ver Sacrum, — голубыя моря, тутъ — моря крови, тамъ чистое, бодрящее дыханье ледниковъ, тутъ — жаркое, зловонное дыханье озлобленныхъ толпъ, тамъ — улыбки цвѣтовъ, здѣсь — исковерканные трупы, тамъ въ конечномъ результатѣ новая колыбель новой культуры, тутъ — старая, беззубая, тошная сказка про бѣлаго бычка, хотя и поданная подъ новымъ названіемъ. . .

Я не изъ тѣхъ, которые выступаютъ со своимъ рецептомъ спасенія рода человѣческаго, я совсѣмъ не желаю хлопотать о возроженіи Ver Sacrum, какъ средства разрѣдить сгущающуюся атмосферу въ Европѣ, я отлично понимаю, что «условія политическія, экономическія . . .» и пр., и пр., и пр., не дадутъ людямъ осуществить эти фантазіи, но отчего бы хотя нѣкоторымъ фантазерамъ не попробовать «въ порядкѣ частной инициативы» устроить хоть разъ въ жизни, подъ знаменемъ волка и дятла, этотъ священный исходъ въ пустыни? Идти некуда? Да, Боже мой, міръ совсѣмъ не такъ еще тѣсенъ! . . . Далеко ли отъ насъ, напримѣръ, прекрасно-пустынный печорскій край, а что мы о немъ знаемъ? А духъ захватывающіе просторы Азии, неужели ужъ и тамъ такая тѣснота, что некуда человѣку податься? А Скалистыя горы Америки? А первобытная глушь Амазонки? А пустыни центральной Африки? . . . И распахнуть дали свои синія крылья предъ новыми засапані, и увлекутъ, и зачаруютъ. . . «Ничего не выйдетъ?» А развѣ тутъ выходитъ что-нибудь особенное? Побродить хотя бы весну своими ногами въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ еще человѣка, гдѣ нѣтъ газетъ, трамваевъ, крахмальныхъ воротничковъ, политическихъ ораторовъ, гдѣ живетъ своей тихой жизнью лишь волкъ да дятель, развѣ этого мало? Идти солнечными путями и находить на нихъ новыя слова, новыя пѣсни, иногда любовь въ сѣяніи звѣздъ, иногда и смерть среди цвѣтовъ, и горы, и рѣки, и глушь, и восторгъ, — развѣ этого мало? Вѣдь, это радость, которою можно жить до конца дней. . .

Да будетъ у cadaго человѣка хоть одинъ разъ въ жизни эта вольная, дикая священная весна! . . .

Мгновеніе.

Какая бездна, какая безконечность въ каждомъ мгновеніи, въ каждой секундѣ! . .

Статистика говоритъ, что каждую минуту на землѣ умираетъ что-то шестьдесятъ человѣкъ, а рождается нѣсколько болѣе, и это только однихъ людей, а если взять всѣхъ живыхъ существъ, слоновъ, обезьянъ, треску, птицъ, инфузорій, мухъ, то можно сказать, что каждое мгновеніе въ крошечные предѣлы Земли врывается какая-то Ніагара, какой-то страшный океанъ живыхъ существъ, и каждое мгновеніе гибнуть они миллиардами, и въ каждой секундѣ заключено въ одно и то же время и рожденіе, и смерть, и начало, и конецъ, и любовный огонь, и страданіе, и дума, и желаніе, все это слитое вмѣстѣ, свѣтлое и темное, горестное и радостное, прекрасное и безобразное, противорѣчивое и единое, Одно. . .

Мы горестно говоримъ иногда, что жизнь наша — мигъ, но, углубившись думой въ себя, мы въ священномъ ужасѣ и восторгѣ постигаемъ, что мгновеніе это цѣлая жизнь, безпредѣльность, «вѣки вѣковъ». Въ одно мгновеніе можемъ мы объять звѣздное небо и включить въ душу свою всю горящую безбрежность міровъ, въ одно мгновеніе можемъ мы пронестись мыслью чрезъ Платона, фараоновъ, ведическіе гимны до шитекантропоса, до ихтіозавра, до той темной бездны, надъ которой въ началѣ время носился свѣтлый Духъ Божій, тоскуя о твореніи, предвкушая въ упоеніи всю его радость и красоту. Мгновеніе это колоссальная жизнь, а наша жизнь это безконечныя бусы изъ этихъ безбрежныхъ мгновеній-міровъ, это свѣтлый рой колоссальныхъ секундъ, это Млечный Путь, Великій Океанъ, въ которомъ каждая капля включаетъ въ себя всѣ океаны, всѣ звѣзды, всѣ міры. . .

О покоѣ.

«Придите ко Мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные и Азь упокою васъ», — сказалъ Смутный и Изумительный и я не знаю ни одного человѣка, котораго не волновали бы эти общающія слова, у кого не вызвали бы онѣ въ душѣ торжественнаго и немножко грустнаго чувства. Несомнѣнно, Онъ хотѣлъ упокоить, хотѣлъ искренно, какъ все, что Онъ дѣлалъ за Свою короткую, удивительную жизнь на землѣ, но Онъ обманулся и Самъ, и обманулъ миллионы труждающихся и обремененныхъ, которыхъ Онъ такъ жалѣлъ. Правда, иногда, въ особенно удачныя минуты человѣкъ и находитъ на короткое время у ногъ Его покой, но вообще, въ массѣ, человѣчество, пойдя за миражемъ имени Его, нашло не покой, но костры инквизиціи, окровавленныя арены, крестовыя походы, безконечныя войны за вѣру, безконечныя преслѣдованія и никакъ, никакъ не покой! . . И потому болѣе правъ Онъ, когда говоритъ, что не миръ принесъ Онъ на землю, но мечъ, принесъ раздѣленіе, принесъ вражду страшную, принесъ человѣкоистребленіе — Онъ, который весь любовь, который весь мягкость, весь свѣтъ! И слова Его объ упокоеніи всѣхъ труждающихся и обремененныхъ и слова Его о мечѣ, принесенномъ на землю, конечно, явно противорѣчатъ однѣ другимъ, но въ то же время человѣкъ не чувствуетъ отъ этого никакого ущерба Его свѣтлой, изумительной, хотя и смутной, фигурѣ. Въ Немъ все какъ-то примиряется и никакія противорѣчія не страшны въ Немъ, какъ, впрочемъ, не страшны онѣ и вообще въ жизни, мало считающейся съ законами разума и логики и ничего отъ этого не теряющей.

Идущіе за Нимъ не найдутъ покоя — можетъ быть, лишь короткій мигъ сладкаго забвенія найдутъ они у ногъ Его. И вообще, чѣмъ больше живешь, тѣмъ болѣе и болѣе убѣждаешься, какъ мудро сказалъ кто-то неизвѣстный: «не ищите себѣ покоя на землѣ, ибо въ поискахъ этихъ много безпокойства», ибо убиваютъ эти поиски и послѣднія крохи покоя, которыя остаются у бѣднаго, запутавшагося во всякой чепухѣ человѣчества. Можетъ быть, единственное вѣрное приближеніе человѣка, гдѣ онъ навѣрное уже найдетъ покой, это только Смерть, и какъ глупъ былъ тотъ наивный, опьяненный жизнью человѣкъ, который впервые представилъ ее себѣ въ видѣ безобразнаго скелета со страшной косою. Смерть это блѣдная, чернокудрая красавица въ вѣникѣ изъ красныхъ маковъ, дающихъ забвеніе, съ загадочной улыбкой бродящая по спящимъ лугамъ асфоделей, среди черныхъ кипарисовъ и развалинъ, заплетенныхъ плющемъ, на берегахъ стеклянно-неподвижныхъ океановъ. И сладко человѣку уйти на тѣ берега, которыя не знаютъ мятежныхъ волнъ, побродить среди блѣдныхъ цвѣтовъ, не знающихъ солнца, и утонуть въ тоскѣ бездонныхъ глазъ прекрасной царевны, не знающей ни любви, ни ненависти, а только одну безмѣрную грусть-тоску о несбыточномъ и огромномъ . . . можетъ быть, о жизни, не знающей покоя, пестрой и шумной! . .

Душа человѣческая.

Я вошелъ въ маленькую, пахнущую сухимъ деревомъ, нагрѣтую солнцемъ кабинку морской купальни и сталъ медленно раздѣваться, лѣниво разглядывая тѣ надписи, что оставили купальщики по сѣрымъ, обвѣтреннымъ стѣнамъ. Это занятіе было и противно немного, и въ то же время было въ немъ что-то привлекательное: хотѣлось подглядѣть въ этихъ надписяхъ обнаженную душу человѣческую, сбросившую съ себя тутъ, если не всѣ, то очень многіе покровы.

Прежде всего и рѣзче всего бросается въ глаза, среди этихъ безчисленныхъ автографовъ, безмѣрная жажда женщины: тутъ и ея имена, и ругательства по ея адресу, и смутныя контуры ея тѣла, и безконечныя повторенія изображенія половыхъ органовъ. И видно, что художники эти даже и не догадываются о томъ величій, которымъ исполнены были эти органы въ представленіи древнихъ, поклонявшихся имъ, какъ источнику безбрежной жизни, обоготворявшихъ ихъ съ восторгомъ безпредѣльнымъ. Тутъ во всемъ этомъ сказывается что-то невѣроятно французское, польдекоковское, сальное до отвращенія и пошлое до нестерпимости, развратно-обезьянье, но стоящее, однако, какъ видится, на первомъ мѣстѣ въ душѣ современнаго человѣка, занимающее самую огромную часть ея. И чувствуется темное желаніе кого-то оскорбить, на что-то плюнуть, внести въ жизнь и свою, пусть небольшую, долю грязи, глупости, преступленія. . .

На заказъ нельзя было бы придумать всего того безобразія, которое такъ вольно, такъ свободно льется тутъ на стѣнки кабинки изъ души человѣческой въ то время, какъ сверху ласково смотритъ всевидящее голубое око жаркаго неба на эти невинныя игры своихъ дѣтей. . .

И спрашиваешь себя: бывалъ ли когда въ такихъ кабинкахъ и милый, славный Тертуллианъ, увѣрявшій насъ, что душа человѣческая въ сущности своей христіанка, и пророкъ Исаія съ его золотыми мечтами, и тотъ же нашъ удивительный въ своемъ гени и въ своей наивности Толстой? Если они бывали, если они все это видали, то какъ же повернулся у нихъ языкъ сказать то, что они говорили намъ, авторамъ этихъ стѣнныхъ надписей, которыя вѣдь совершенно одинаковы и на стѣнахъ этой

кабинки, и на развалинах Помпей, и среди мшистых камней Вавилона. Тысячи лѣтъ повторяютъ одно и то же Исаи и Толстые, и тысячи лѣтъ повторяютъ одно и то же стѣны публичныхъ зданій по лицу земли, и у насъ пока нѣтъ никакихъ основаній предполагать, что сесі tuera sela, — напротивъ, все, что можно сказать тутъ, это: такъ было и такъ будетъ...

Сфинксъ.

... И ангель Господень явился во снѣ Иосифу и сказалъ: встань, возьми Младенца и Матерь его и бѣги въ Египеть...

Мѣ. 1, 13.

Подъ темнымъ пологомъ ночи, среди мертвой тишины великой пустыни лежить огромный, непонятный сфинксъ, поднявъ къ небу свой холодный каменный взглядъ... Сквозь тьму кротко мерцаютъ далекія звѣзды, и блестящіе метеоры разсыпаются золотою пылью въ безднѣ вселенной. Спать, полное тайны, великое небо, спать, полная тайны, темная, грустная земля...

И вдругъ среди этой тишины слышитъ сфинксъ чьи-то усталые шаги. Онъ опускаетъ свой безстрастный взоръ къ землѣ и видитъ старца, сопровождающаго молодую женщину съ малюткой на рукахъ... Свершивъ краткую молитву, путники раздѣлили скромную трапезу и подъ защитой великана пустыни провели ночь. А на утро, чуть забрезжила надъ песками красноватая заря, вновь медленно пустились они въ путь, и вновь сфинксъ остался одинъ среди безмолвія и тайны, но въ каменномъ сердцѣ его запечатлѣлся трогательный образъ беззащитнаго малютки.

Прошли года... Жгучее солнце палило великана, вѣтры заносили его песками пустыни, приходили, неизвѣстно откуда, люди и уходили неизвѣстно куда, а онъ все смотрѣлъ въ небо, таинственный и безмолвный... А тѣмъ временемъ, среди цвѣтущихъ холмовъ Галилеи, на берегахъ смѣющагося солнцу озера раздалась удивительныя слова о любви къ Богу и людямъ, любви безпредѣльной, любви все покрывающей; яростнымъ крикомъ отвѣтили люди на этотъ призывъ, и — крестъ на Голгоѣ засверкалъ, какъ гигантскій маякъ...

Еще прошли года, столѣтія... Галилеянина уже не было среди людей. Онъ ушелъ, но слово Его осталось. И подъ страннымъ обаяніемъ этого слова склонились, побѣжденные, боги веселой и шумной Эллады и суроваго Рима, и, грустные, оставили міръ. Сотни, тысячи людей отрекались во имя Его отъ всѣхъ утѣхъ жизни и съ улыбкой счастья шли на арены и на кресты. А потомъ во имя Его же, великаго Непонятаго, запылали костры и раздалась стоны въ страшныхъ казематахъ, и поднялись дыбы... И, умирая среди невѣроятныхъ мученій, люди шептали имя свѣтлаго Галилеянина.

Но угасли костры, опустѣли арены и въ развалинахъ лежать страшныя темницы инквизиціи, и по лицу всей земли раскинулись тысячи и тысячи храмовъ, въ которыхъ миллионы людей съ трепетомъ души шепчутъ имя великаго Непонятаго... И въ музыкѣ, и въ краскахъ, и въ мраморѣ, и въ дивныхъ пѣсняхъ возносятъ люди хвалу Ему и въ изумленномъ восторгѣ, сквозь дымъ столѣтій, созерцаютъ безконечную красоту Его.

А среди пустыни, подъ темнымъ пологомъ ночи, въ глубокой тишинѣ небытія, лежить темный таинственный сфинксъ, устремивъ невидящіе глаза въ глубину вѣчнаго неба, и въ его каменномъ сердцѣ все еще хранится трогательный образъ беззащитнаго малютки...

Я не нахожу границь себѣ —

и потому, что я, какъ и всякій человѣкъ, безбреженъ, и потому, что я слишкомъ долго вѣрилъ уже ушедшимъ, которые, даже совсѣмъ не зная меня, говорили мнѣ: ты вотъ то-то и вотъ то-то, ты долженъ дѣлать вотъ то-то и вотъ то-то. А я совсѣмъ и не то, и не это, я — я и только я и дѣлать я долженъ совсѣмъ не то, что мнѣ указываетъ другой человѣкъ, кто бы онъ ни былъ, а то, что долженъ дѣлать я, какъ мнѣ самому это открывается. Я жилъ по чужому паспорту, съ чужимъ лицомъ, по чужой указкѣ и это было мучительно. И какъ только я понялъ, что главное въ моей жизни это я, такъ мнѣ стало легко и радостно.

Я родился, какъ я, но меня стерли понемногу, замѣнивъ какою-то трафареткой. Теперь, когда у меня уже засеребрилась на вискахъ сѣдина, вотъ я снова рождаюсь въ жизнь свободнымъ и все никакъ не могу найти границь своихъ. И меня заливаешь чувство радости отъ сознанія этой воли, этой шири. . .

Разбитый сатиръ.

Потемнѣлъ старый запущенный паркъ. Солнце скрылось за далекими холмами. Нѣжный сѣдой туманъ поднялся отъ земли и поползъ между старыми великанами, цѣпляясь за ихъ могучіе стволы, за вѣтви. . . Все затихло. . . Поднялась полная луна надъ заснувшей землею, и изъ серебристаго полусумрака блѣдными пятнами выступили развалины стариннаго дворца на широкой полянѣ въ глубинѣ стараго парка. Темный бархатный мохъ окутывалъ беспорядочно наваленные среди высокихъ травъ камни и — улыбка на мертвомъ лицѣ — цвѣты поднимали свои вѣнчики къ темному небу, въ которомъ зажигались уже далекія звѣзды; большое озеро тихо дремало среди густыхъ камышей и пышныхъ кувшинокъ. Бѣлая статуя богини, въ полуразрушенной ротондѣ на островкѣ, слегка наклонилась впередъ, словно желая посмотрѣть свое отраженіе въ водѣ: такъ же ли еще хороша она, какъ въ былые годы? Но не видно ей себя — большой кустъ черемухи, издающій головокружительный аромат, мѣшаетъ ей заглянуть въ зеркало. И богиня грустно склонила свою изящную головку да такъ и застыла, грустная среди грустныхъ развалинъ, въ глубинѣ стараго, заброшеннаго парка. . .

И вдругъ запѣлъ соловей. . . И звуки его пѣсни точно разбудили мертвыя развалины. Точно что-то неясное колыхнулось между камней, и тамъ, и тамъ, — точно какія-то блѣдныя тѣни нѣжной гирляндой пронеслись надъ поляной. А пѣснь все крѣпла и крѣпла. Бурными волнами рвалась страсть изъ груди царя-музыканта. . .

И мнѣ было такъ томительно ждать, такъ томительно. . .

Но она пришла. . . И съ первымъ поцѣлуемъ ея еще страстнѣе залился соловей, жарче задышала вѣшняя ночь, ярче заблестали звѣзды. . . Медленными шагами, обнявшись, бродили мы по берегамъ спящаго озера и слушали тихія сказки старыхъ великановъ о быломъ, и въ блескѣ звѣздъ видѣли благословеніе нашей любви, и точно слышали музыку ихъ въ безконечныхъ безднахъ вселенной. И эта ночь — послѣдняя ночь — пьянила меня. Весь охваченный сладкой мукой, я говорилъ ей о своей любви и никакъ не могъ сказать всего, что было во мнѣ. . . О, если бы я былъ богомъ, изъ опаловыхъ облаковъ заката я построилъ бы храмъ для нея, я одѣлъ бы ее багрянцей зари, я заставилъ бы звѣзды пѣть гимны ей и, среди громовъ и блеска молній, я говорилъ бы ей о моей любви. . . Я положилъ бы весь мѣръ къ ея

ногамъ, а если бы и этого было мало, я создалъ бы для нея другой міръ, еще болѣе роскошный и великій. . . Для нея я забылъ бы лазурныя бездны моихъ небесъ и, преклонивъ предъ ней колѣна, я отдалъ бы ей всю свою мощь, всю славу, всю свободу, все безсмертіе. . .

Въ развалинахъ вдругъ дико захохоталъ филинъ. Я вздрогнулъ и поднялъ глаза. Прямо на меня смотрѣлъ изъ-за густого куста сатиръ и на каменномъ лицѣ его играла язвительная улыбка. . .

— Пройдемся . . . — сказала я.

Сатиръ проводилъ насъ своей улыбкой.

А соловей все пѣлъ; серебряная ночь вся пылала страстью. И — зеленая бесѣдка скрыла насъ подъ своимъ сводомъ и отъ звѣздъ, и отъ старыхъ великановъ, и отъ нѣжныхъ тѣней въ развалинахъ — можетъ быть, то были феи, русалки, не знаю. . . Лишь луна, пробившись сквозь зеленую чашу, остановила свой лучъ на золотистой головкѣ и, играя въ волосахъ, окружила ее свѣтлымъ ореоломъ, — то луна вѣнчала любовь.

Мы вышли изъ бесѣдки, — прямо мнѣ въ лицо, ярко освѣщенный луной, дико и беззвучно хохоталъ сатиръ. Еще мгновение — и голова его, разможенная камнемъ, лежала въ осколкахъ у моихъ ногъ. . .

И, наконецъ, она сказала то, чего я такъ боялся:

— Теперь мнѣ пора, милый. Простимся и. . .

И на глазахъ ея засверкали слезы.

Стоя надъ осколками разбитого сатира, мы сжимали одинъ другого въ объятіяхъ страданія, шептали безсвязныя клятвы, обѣщанія, полныя горечи и огня. . . И — разстались. . .

Луна усталая и томная спускалась за далекіе холмы. Робко, какъ стыдливый румянецъ на щекахъ дѣвушки, почувшавшей впервые горячее дыханіе любви, загоралась на востокѣ заря. Все затихло, набираясь силъ для зарождающагося дня, только старый паркъ все шепталъ и шепталъ такъ же тихо и торжественно. Богиня такъ же грустила на своемъ островкѣ, точно ее не радовало рожденіе новаго дня, — много она видѣла ихъ, этихъ новыхъ дней! Въ серебристомъ полусумракѣ тамъ, у зеленой бесѣдки, на заросшей дорожкѣ бѣлѣли осколки разбитого сатира.

Я тихо вышелъ изъ стараго, забытаго парка. . .

Быстро пронеслось надъ землей веселое лѣто, осенью повисло надъ ней низкое сѣрое небо и лилъ дождь, потомъ окутали ее пушистые снѣга и — вновь зацвѣла весна.

Быстро пронеслись для меня дни солнечнаго счастья; ихъ смѣнили дни одиночества, тоски, камнемъ лежащей на сердцѣ, потомъ холодъ мертваго равнодушія ко всему сковалъ мою душу, но счастье не похоже на весну, — оно не вернулось. . . Я потерялъ ее и вмѣстѣ съ ней потерялъ и свою мечту найти когда-либо женщину, которая смѣялась бы моимъ смѣхомъ и плакала бы моими слезами.

Я вспомнилъ стариковъ-великановъ, и мнѣ захотѣлось вновь побывать тамъ. Я вернулся въ старый, запущенный паркъ.

Боже, какъ хорошо тутъ! . . Задумчивый, притихшій, я тихо шелъ заросшими дорожками по берегу озера. Вотъ та каменная скамейка, вотъ бесѣдка, — она разрослась еще гуще, — вотъ. . .

— Что это? . .

Прямо предо мной въ травѣ валялись осколки разбитого мной сатира. Что-то кольнуло меня въ сердце, и я быстро нагнулся и бережно подобралъ безобразные куски, словно это были останки дорогого друга. . . И вотъ съ обломками въ рукахъ

я иду къ дремлющему озеру. Затхлый запахъ тины дохнулъ мнѣ въ лицо. Въ камышахъ шумятъ лягушки. А гдѣ же таинственныя тѣни русалокъ, фей въ развалинахъ? Почему старые великаны не рассказываютъ больше сказокъ о быломъ? Почему здѣсь такъ непривѣтно, такъ грустно? Въ развалинахъ закуковала кукушка. Зачѣмъ? И безъ нея я зналъ уже, что жизнь печальна. . .

Мнѣ удалось возстановить лицо сатира. Онъ стоитъ теперь надъ моимъ письменнымъ столомъ. Въ сумерки я часто сажусь противъ него и на его ядовитую улыбку отвѣчаю тихой дружеской улыбкой. Мы съ нимъ любимъ этотъ сумеречный покой и не рвемся уже къ яркому свѣту торжествующаго дня; мы не вѣримъ лукавому лепету весны, ни звѣздамъ, ни соловьямъ. Мы знаемъ, что ночь бываетъ темнѣе и холоднѣе послѣ яркаго дня, что за весною идетъ осень, что счастье . . . а впрочемъ, что такое счастье?

Храмы.

«Богу храмы не нужны» . . . — говорятъ рационалисты.

Разумѣется, они Ему не нужны, но человѣку-то нужны, потому что, если бы они ему были не нужны, то онъ и не строилъ бы ихъ.

Да и къ чему въ концѣ-концовъ эта война рационалистовъ противъ храмовъ? Что дурного въ томъ, что человѣкъ украсилъ землю Кельнскимъ соборомъ, Василиемъ Блаженнымъ или какою-нибудь маленькой деревянной церковкой надъ серебряной ширью рѣки, въ зеленой пустынѣ сѣверныхъ лѣсовъ?

Аскетизмъ.

Радостная улыбка дѣвушки навстрѣчу своему избраннику, кубокъ огненнаго вина за дружеской бесѣдой, вѣнокъ розъ, гирлянда свѣтлаго смѣха — все это отъ дьявола?!

Но если, по Евангелію, Богъ есть сама Любовь, то какъ же Онъ, этотъ любящій Отецъ, будетъ ненавидѣть людей, своихъ дѣтей, за ихъ маленькія радости? Совершенно правильно и глубоко сказалъ Достоевскій: «кто людей любитъ, тотъ и радость ихъ любитъ, — сотворите радость людей». . . Путь человѣка достаточно увить терновникомъ, чтобы можно было сердиться на него за его маленькія радости.

Аскеты подобны дѣтямъ, которымъ любящій отецъ радостно привезъ издалека дорогихъ игрушекъ и которыя презрительно на глазахъ отца отбросили эти игрушки въ сторону. Это — неуваженіе и нелюбовь къ Отцу.

Богъ долженъ быть и въ ясной улыбкѣ дѣвушки, почувшей первое тепло любви въ своемъ сердцѣ, и въ свѣтломъ, незлобномъ смѣхѣ, и въ веселой бесѣдѣ пирующихъ друзей. Все отъ Него и за все — хвала и радостная благодарность Ему. . .

Обычай.

Успокоительно-ровно, успокоительно-мягко катятся колеса по безконечной дорогѣ. Справа — высокія лѣсистыя горы, слѣва — пустынное море, въ чистомъ вѣшнемъ небѣ — яркое солнышко, а въ свѣжемъ воздухѣ — неуловимый, нѣжный запахъ фіалокъ. . . И думается такъ хорошо и легко.

Я думаю объ обычаяхъ.

Есть много прекрасныхъ обычаевъ, которыми, какъ дорогой, изящной инкрустацией, изукрашена вся наша жизнь. Но въ концѣ-концовъ, что такое обычай? Обычай это извѣстный символическій актъ, которымъ мы хотимъ выразить то наше чувство, то наше внутреннее состояніе, которое мы въ извѣстной обстановкѣ, въ извѣстныхъ обстоятельствахъ испытываемъ или предполагается, что испытываемъ. Начало всякаго обычая — индивидуальныя переживанія того или другого лица, большею частью совершенно неизвѣстнаго, безслѣдно потонувшаго въ темной пучинѣ прошедшаго, такъ что, выполняя тотъ или другой обычай, мы, въ сущности, выражаемъ то, что чувствовали другой. Конечно, радостно, прекрасно видѣть, какъ молодая, вся трепещущая внешней радостью, дѣвушка цѣлуется — какъ Катюша Маслова — на паперти съ безносимъ нищимъ, но не она тутъ главное дѣйствующее лицо, она тутъ творить только волю пославшаго ее неизвѣстнаго поэта и мыслителя, установившаго этотъ обычай гдѣ-то и когда-то, это его чувства братской любви, счастья воскресенія выражаетъ она, неволью и сама заражаясь таинственно сохранившимся чувствомъ давно ушедшаго человѣка. Конечно, прекрасенъ унывный великопостный звонъ надъ грустной, еще мертвой землей, эти скорбные напѣвы, эти удивительныя молитвы, и глубокую печаль навѣваютъ они даже на насъ, плохо вѣрующихъ, но эта тоска, это смиреніе, это покаяніе — не наши. . . Конечно, прекрасенъ этотъ полыхающій на лѣсной полянѣ яркій огонь и съ веселымъ смѣхомъ прыгающія черезъ него дѣвушки, но . . . онѣ уже не знаютъ даже, зачѣмъ онѣ это дѣлаютъ, — это знали лишь ихъ сестры-язычницы, которыя давнымъ-давно истлѣли уже въ землѣ. . .

Красиваго много, но — все чужое. . .

Отбросить прекрасный обычай, не замѣнивъ его ничѣмъ, печально — жизнь потускнѣетъ, но почему на мѣсто прекраснаго обычая, символа чьей-то прекрасной думы, чьего-то прекраснаго чувства, чьего-то прекраснаго хотѣнія, не поставитъ прекраснаго индивидуальнаго акта, выражающаго мое личное переживаніе, всегда новое, всегда неожиданное? Прелестно христосованіе молодой дѣвушки съ безносимъ нищимъ на паперти, когда колдуетъ въ темнотѣ вешняя ночь и все вокругъ горитъ радостными огнями воскресенія, но еще прекраснѣе было бы, если бы эта дѣвушка, не дожидаясь, пока попы ударятъ въ колоколъ, подошла бы на улицѣ къ этому нищему и поцѣловала бы его — такъ, вдругъ, «зря», безъ всякаго повода, только потому, что много у нея въ душѣ радости жизни, желанія всѣхъ и все любить, всѣхъ и все обрадовать. Прекрасны огненные пляски на лѣсной полянѣ, но для чего ждать непременно Ивана Купалы, почему не сразу, не тотчасъ же, какъ этого захотѣлось? Почему мы такъ боимся быть вольными, почему мы такъ опасаемся быть прекрасными? Почему мы выражаемъ чувства тѣхъ, которыхъ уже нѣтъ, а не свои? . . . Но все же трижды да будутъ благословенны тѣ, — въ особенности женщины — которые изъ вѣка въ вѣкъ передаютъ старый обычай, которыя блюдутъ живописную красоту быта, которые изъ вѣка въ вѣкъ пронесли тихіе огоньки Вербнаго Воскресенья, и алыя, веселыя яйца Пасхи, и красный звонъ ея, и березки на Троицу, и огни Ивана Купалы, и круглые, какъ солнце, блины Масленицы, перваго весенняго языческаго праздника Возвращающагося Солнца, и рождественскихъ ряженыхъ, и тихія, весеннія слезы на родныхъ могилкахъ въ Радуницу, и да будутъ прокляты тѣ въ шинжакахъ, которые съ кондачка отвергли эту наивную радость и красоту, эти вѣчно прекрасныя игры и замѣнили ихъ сѣрой, безразличной пустыней. . .

. . . Въ свѣжемъ воздухѣ стоялъ неуловимый запахъ фіалокъ, мѣрно вздыхало море, ласково грѣло солнышко, а въ моей душѣ росло желаніе видѣть жизнь пре-

красною и увѣренность, что въ концѣ-концовъ это вполнѣ во власти людей. Хорошо говорить Эдв. Карпентеръ, что придетъ время, когда всѣ искусства претворятся въ одно великое искусство — искусство жить прекрасной жизнью. . .

Надъ моремъ.

Вечеръ, закатъ. . . Море совершенно покойно и до самаго горизонта гладко, какъ зеркало. И въ этой зеркальной глади, среди отраженныхъ нѣжныхъ облаковъ и нѣжной лазури, горитъ огненный столпъ солнца. И нельзя отличить, гдѣ начинается небо и гдѣ кончается море. . .

Такъ и духовное, вѣчное начало должно бы горѣть неугасаемымъ пожаромъ въ успокоившемся морѣ нашей жизни, настолько успокоившемся, чтобы нельзя было отличить, гдѣ кончается земное, временное, и гдѣ начинается потустороннее, вѣчное, гдѣ кончается человѣкъ и гдѣ начинается Онъ, Невѣдомый. . .

Въ развалинахъ.

Надъ маленькимъ, зеленымъ, спрятавшимся среди пальмъ, Нуёгес, на высокомъ холмѣ печально стоятъ развалины средне-вѣкового замка. Старыя стѣны его, его башни съ бойницами, темные коридоры съ потайными лѣстницами поросли кустарникомъ, плющемъ, и лиловые цвѣты нѣжнаго барвинка улыбаются среди мертвыхъ камней весеннему солнышку. И темные, сосредоточенно-печальные кипарисы тихо рассказываютъ путнику грустныя сказки о томъ далекомъ времени, когда замокъ этотъ былъ полонъ жизни, любви и ненависти, надеждъ, злобы, улыбокъ и разочарованій. . . И вотъ съ моря набѣгаетъ вѣтерокъ и вздыхаютъ печальныя кипарисы: *sic transit gloria mundi*. . .

На углу замка, на отвѣсной скалѣ стоитъ крошечная часовенка, довольно хорошо сохранившаяся. Для того, чтобы добраться къ ней, нужно перелѣзть черезъ высокую крѣпостную стѣну. У часовенки — разбитая надгробная плита, на которой можно прочесть:

D'amour et de fidélité
Elle était un rare modèle.
Peu de gens repandent comme elle
Les bienfaits de l'humanité!

(S. à d. sans pretention, ni ostentation.)

Внизу неразборчиво имя и годъ, относящійся къ концу XVIII вѣка.

Стѣна часовенки пробита кѣмъ-то. Осторожно поднявшись къ этой темной дырѣ, лежа на узкой стѣнкѣ, надъ пропастью, я заглянулъ въ сумракъ склепа, и сердце сжалось: предо мной разбитый гробъ и развалившійся скелетъ человѣка, — очевидно, той дамы, которая нѣкогда «*d'amour et de fidélité était un rare modèle*».

И кто-то накидалъ въ могилу камней и палокъ — должно быть, туристы забавлялись. . .

Ребенокъ.

Мы зашли въ недорогой ресторанаъ закусить. И на террасу вошелъ оборванный, голоднаго вида мальчишка и сталъ просить милостыни. Но лакеи не дали ему и рта раскрыть, злобно накинулись на него и прогнали вонъ, — развѣ можно безпокоить такъ кушающихъ? . . . И видно было, что они совершенно искренно и глубоко возмущены дерзостью мальчишки.

И всѣ сдѣлали видъ, что не видятъ того, что на ихъ глазахъ дѣлають лакеи, и ѣли на глазахъ у голоднаго ребенка, и смѣялись, и никто ему ничего не далъ, и никто — не подавился. . .

Не подавился и я — только душа заболѣла: что, если бы мой ребенокъ, оборванный и голодный, просилъ бы такъ, ради Христа, поѣсть и лакеи выгнали бы его вонъ?

Поразительно, какъ выносимъ мы нашу жизнь, какъ не сходимъ съ ума, какъ не стрѣляемся, какъ . . . не перемѣнимъ все до самаго дна!

Прилетѣли ласточки.

Прилетѣли ласточки. . . Какъ это граціозно и трогательно — крошечная птичка, скитаясь гдѣ-то тамъ, въ Африкѣ, помнить о покинутомъ ею у насъ на хуторѣ гнѣздышкѣ! Возвратилась, и щебечетъ, и радуется. . .

О, если бы и мы помнили о томъ домѣ, въ который рано или поздно придется намъ возвратиться, — вѣдь, есть же за нами какой-нибудь домъ, прилетѣли же мы въ міръ откуда-нибудь! . . . Неужели же, въ самомъ дѣлѣ, тамъ ничего нѣтъ?! Если есть, такъ пока, въ «Африкѣ», надо жить такъ, чтобы по возвращеніи домой можно было радоваться и пѣть, а нѣтъ «дома», — что же, все равно, мы только выиграемъ, если проживемъ чисто, глубоко, красиво. . .

Иевры.

Темная, темная ночь. . . Пустыня. . . Въ двухъ шагахъ — ея могила. Семья гдѣ-то далеко въ этой темнотѣ. . . На душѣ чувство безконечнаго сиротства, безпомощности, грусти. . . Просятся слезы. . .

Гдѣ же прибѣжище?

Сумракъ, молчанье отъ вѣка, печаль. . .

Очень мало людей въ жизни ищутъ правды, а огромное большинство ищетъ только *самооправданія*. Оттого-то и подвигаемся мы впередъ такъ медленно и неуклюже.

Подумалось *во снѣ*: день для дѣлъ земли, а ночь, когда предъ нами открывается безконечная вселенная, — для міра, для вселенной, для вѣчности. . .

Когда явится вдругъ въ душѣ твоей тихая радость, — береги, береги это чувство: это не только твое, но и *общественное достояніе*. . .

Вѣры истинной и неистинной нѣтъ, такъ какъ при условіи искренности всякая вѣра истинна: глазъ можетъ видѣть только то, что онъ можетъ видѣть, — такъ и сердце можетъ понять и принять только то, что въ немъ вмѣщается. . .

Отсюда — самая широкая терпимость, какъ необходимое условіе человѣчности. . .

«Нѣтъ въ мірѣ виноватыхъ» — если бы Толстой написалъ только эти вотъ золотыя слова, онъ былъ бы мнѣ такъ же дорогъ, какъ и теперь. Это — вершина, на которую подняться удѣлъ очень немногихъ и надъ которою уже только — небо. . .

Говорятъ, душу человѣка мутитъ въ его земной жизни тѣло съ его страстями. Хорошо, но почему же лицо человѣка пріобрѣтаетъ тотчасъ послѣ смерти выраженіе такого безмятежнаго покоя? Глядя на этотъ покой умершихъ, кажется, что это душа мучаетъ тѣло, а не тѣло — душу. . .

Буря.

. . . Душа — это божественная сущность, заключенная во временную оболочку міръ — это только аллегорія; мысль реальнаго факта; волшебныя сказки, легенды такъ же истинны, какъ и естественная исторія, даже болѣе, такъ какъ онѣ — болѣе прозрачныя символы. Что же все остальное? Тѣнь, предлогъ, образъ, символъ и сновидѣніе. Одно сознаніе только бессмертно, положительно и совершенно реально. Міръ — это фейерверкъ, величественная фантазмагорія, цѣль котораго — образование и усиленіе души. Сознаніе — это вселенная, солнце которой — любовь. . .» (Амиель).

Читаю, а вокругъ меня ночь, надъ безбрежнымъ просторомъ моря реветъ буря, и въ душѣ моей поэтому какая-то глухая, непонятная тревога. Фантазмагорія оказывается сильнѣе сознанія, создающаго ее или — это, можетъ быть, будетъ точнѣе, — проявляющаго ее, дѣлающаго ее такой, какая она есть. До того въ такіе моменты кажется мнѣ наша земля негостепріимной, что я удивляюсь, какъ еще ухитрится человѣкъ жить на ней. И до того кажусь я себѣ ничтожнымъ предъ этой ревущей черной бездной неба и моря, что даже страшно дѣлается. Мысль — мыслью, а жизнь идетъ какимъ-то своимъ темнымъ путемъ. . .

Симфонія Шуберта Н-мол.

Я разбираю старыя, пожелтѣвшія письма. . . Знакомый почеркъ. . . Что онъ пишетъ?

«. . . Всю жизнь мечталъ я о томъ, чтобы бросить службу и пріобрѣсти себѣ маленькій клочокъ земли гдѣ-нибудь у моря, на югѣ, гдѣ много солнца и цвѣтовъ. . .»

Знаете ли вы изумительную симфонію Шуберта, которую онъ писалъ, умирая, которая такъ и осталась неоконченной?

Тяжело, душно, бѣдному маленькому человѣческому сердцу — оно плачетъ и просится на волю, на югъ, гдѣ много солнца и цвѣтовъ, гдѣ радостно блещетъ воль-

ное море. И, тоскуя, оно плететь въ неволѣ нѣжную паутину грезъ, и утѣшается, и радуется, и убаюкиваетъ себя — вѣдь, счастье такъ близко, такъ возможно!.. И вдругъ пробужденіе, стѣны тюрьмы и взрывъ отчаянія: нѣтъ, все это только мечты — далеко лазурное море, далека вольная жизнь, и радость, и цвѣты!.. Почему? Почему вся радость отдана другимъ, а ему выпала на долю только эта тоска, эти слезы сердца въ тишинѣ безсонныхъ ночей? Почему, за что? И нѣтъ отвѣта изъ сумрака жизни, и покорно и робко склоняется сердце предъ волей суроваго рока и замолкаетъ...

Но опять и опять сквозь печальный сумракъ въ лазурной дали встаетъ цвѣтущая земля, и плещутъ волны, и любимая зоветъ, обѣщая безоблачное счастье. И растутъ крылья у сердца, и свѣтлѣетъ вокругъ, и такъ хочется жить... Но вдали уже слышится тяжелая поступь неизбежнаго, которое, сѣя мракъ, надвигается все ближе и ближе. Робко и нѣжно звенить среди темныхъ надвигающихся тучъ маленькая пѣсня сердца человѣческаго, но черные величавые звуки затопляютъ ее со всѣхъ сторонъ, и замолкаетъ она, и гаснутъ грезы о волшебномъ далекомъ краѣ — котораго, можетъ быть, и нѣтъ нигдѣ! — и черная пѣсня реквиема, полная рыданій, покрываетъ собой все, и...

... Унылыя равнины Восточной Пруссіи. Сѣрое, печальное небо плачетъ надъ обезображенной окровавленными окопами землей. Вдали, въ сумрачномъ туманѣ, подъ дождемъ чернѣетъ грубый, одинокій крестъ надъ могилой, въ которой лежитъ тотъ, кто такъ рвался къ морю и солнцу, чье письмо, уже пожелтѣвшее, я держу теперь въ рукахъ...

Осень.

Осень, осень... Ласточки уже отлетѣли, — только изрѣдка какая-нибудь запоздавшая торопливо и безпокойно пронесется надъ нашимъ хуторомъ. А вчера цѣлый день летѣли какіе-то ястреба... И въ лѣсу, который покрываетъ эти обступившія насъ со всѣхъ сторонъ горы, проступаетъ мѣстами, точно ржавчина, осенняя окраска... Осень...

Осень и въ жизни моей... Уже отлетѣли многія и многія ласточки прежнихъ радостей, отлетаютъ понемногу ястреба страстей и проступаетъ во всей жизни усталость, и грусть, и желаніе отдохнуть... И передъ сномъ, предъ тѣмъ невѣдомымъ, что мы зовемъ смертью, внутренняя жизнь моя, какъ и эти горы, принимаетъ все болѣе и болѣе пышную окраску...

А тамъ что — конецъ всему и навсегда или новая весна съ нѣжными подснежниками и веселымъ шумомъ молодой листвы?

Никто не знаетъ и никто никогда не узнаетъ...

Всюду жизнь...

Двадцать пять лѣтъ сидѣлъ онъ въ какой-то казенной палатѣ и, наконецъ, вырвался на волю. Семья обезпечена небольшою пенсіей, а онъ погруженъ весь въ устройство своего крошечнаго хуторка, мечтаетъ о новой жизни среди природы, о трудѣ, о воспитаніи дѣтей... Долгіе годы сидѣлъ онъ въ этихъ темныхъ, насквозь прокуренныхъ комнатахъ, писалъ какія-то пошлыя бумаги, а въ душѣ его теплилась эта

мечта о новой жизни, мечта, которую онъ, вѣроятно, тайлъ про себя: ее не поняли бы тамъ, осмѣяли бы, пожалуй. . .

И вотъ мечта стала дѣйствительностью и какъ весело смотрѣть на него!

Даже въ закуренныхъ комнатахъ казенныхъ палатъ цвѣтутъ никому до поры до времени невидимые цвѣты. . .

Что всего страшнѣе?

Иногда на меня вдругъ находить какой-то непонятный страхъ передъ жизнью. И я спросилъ себя: да чего же ты боишься? Что страшнаго въ жизни? И хотя отвѣтъ былъ уже сразу готовъ, какъ только я поставилъ вопросъ, я, какъ-то избѣгая этого отвѣта, сталъ перебирать: страшное, какъ въ Лиссабонѣ, землетрясеніе, холера, чума, чахотка, наводненіе, пожаръ . . . Но — ничего не нашель я на землѣ страшнѣе того, что первое пришло мнѣ въ голову: человѣка. . .

Что онъ только способенъ надѣлать!

Я сталъ думать дальше и понялъ, что нѣтъ на землѣ ничего страшнаго, — ничего, кромѣ своей слабости. . .

Враги.

Самое обычное, вульгарное, «газетное» отношеніе къ врагу: онъ врагъ мой — слѣдовательно, онъ глупъ, золь, гадокъ.

Вторая ступень: онъ совершенно такой же человѣкъ, какъ и я, но онъ ошибается.

Третья ступень: онъ совершенно такой же человѣкъ, какъ и я, но онъ смотритъ на вещи съ другой точки зрѣнія.

Четвертая ступень: я не знаю, ошибается онъ или не ошибается, но я вижу, что, ненавидя меня, онъ самъ страдаетъ и мнѣ жаль его.

Пятая ступень: всматриваться въ него до тѣхъ поръ, пока найдешь точку, съ которой можно до дна понять его, простить и воскликнуть: Боже, какъ онъ прекрасенъ!

Человѣкъ начинается только со второй ступени.

Я больше всего нахожусь на ступени третьей, но иногда спускаюсь и до второй и даже изрѣдка, въ раздраженіи, и до первой; иногда удается мнѣ подняться и до четвертой и предчувствовать возможность и для меня ступени пятой.

Привычка.

Я смотрѣлъ сегодня утромъ, какъ по изумрудной лужайкѣ, въ яркомъ блескѣ солнца, гуляютъ куры. Разсматривая ихъ, я въ первый разъ замѣтилъ, какъ замѣчательно красиво ихъ опереніе. Водись эти птицы гдѣ-нибудь въ неприступныхъ лѣсахъ, мы при рѣдкихъ встрѣчахъ съ ними восторгались бы ихъ красотой, но мы видимъ ихъ каждый день, и привычка не даетъ намъ замѣтить ихъ красоты, этотъ изящный узоръ, вытканый изъ мелкихъ перышекъ, этотъ замѣчательный подборъ цвѣтовъ. . .

Привычка разрушает красоту. Если бы драгоценные камни были разсыпаны по дорогамъ, мы цѣнили бы ихъ не выше снѣга или росы, которая не только не уступаетъ имъ въ красотѣ, но даже превосходить: что можетъ быть прекраснѣе холодной капельки ея въ чистомъ, свѣжемъ, душистомъ вѣнчикѣ цвѣтка? Если мы живемъ въ тѣсномъ, душномъ городѣ, простой сѣренькій домикъ, спрятавшійся въ глубинѣ цвѣтушаго сада, кажется намъ очаровательнымъ, а я почти уже не замѣчаю красоты горъ, моря и всего, что насъ здѣсь окружаетъ, какъ сторожъ Национальнаго музея въ Неаполѣ не замѣчаетъ красоты окружающихъ его постоянно античныхъ статуй. Не то, что мы дѣлаемся совершенно не способны замѣчать окружающую насъ красоту, — нѣтъ, но надо особенное вниманіе, усиліе, чтобы вызвать ее изъ тумана привычки въ ея первоначальной свѣжести. . . Красота въ мірѣ во всемъ. Сегодня я долго любовался простымъ ярко-краснымъ одѣяльцемъ Оли, которое, повѣшенное на веревку, какъ огонь, горѣло среди моря зелени, въ лучахъ яркаго солнца. . . Красота во всемъ, и самый простой сѣрый булыжникъ можетъ живому воображенію рассказать о своемъ рожденіи, о своей жизни вещи, предъ которыми поблѣднѣютъ всѣ волшебныя сказки. . .

Отсюда выводъ: не стремись никуда, не ищи ничего, — все въ тебѣ. Стоитъ только широко раскрыть глаза и сердце, чтобы «вѣчная поэма творенія» наполнила тебя своей вѣчно-прекрасной музыкой и сдѣлала для тебя ненужными всякія другія поэмы. Учись, учись быть довольнымъ тѣмъ, что есть вокругъ тебя, во всякомъ положеніи, потому что то, что тебѣ дано — Голконда. . .

Жизнь.

Тихая ночь. Чуть дышитъ въ заросляхъ вѣтеръ. Въ небѣ горятъ и переливаются звѣзды, а въ темномъ морѣ, вдали, на самомъ горизонтѣ, медленно и величаво плывутъ какія-то новыя, странныя созвѣздія — то идетъ флотъ. Очертаній страшныхъ броненосцевъ не видно, не видно ни пушекъ, ни башенъ, а только эти удивительно красивыя, стройныя созвѣздія. . . И вдругъ чистый, чистый звукъ родился вдали моря и еще, и еще, и еще, и плывутъ, и таютъ. . . То «бьютъ склянки». . .

Чужая, совсѣмъ чужая жизнь. . . Но какая она стройная и грозно-красивая!..

И пришло утро. Солнышко еще не вставало, — только ласточки да я встали. Даже вороватыя сойки сонно переговариваются еще въ дубовой рощѣ и не рѣшаются еще отправиться въ набѣгъ на мои груши, персики и кукурузу. Я посидѣлъ уже немного на могилкѣ, глядя, какъ въ голубой дали моря тихо, тихо идутъ подъ парусами стройныя турецкія фелюги. . . И иду на баштанъ. Среди густой путаницы плетей сочно золотятся спѣлыя дыни, а чуть дальше зеленѣютъ арбузы, на которыхъ уже разгорѣлись зубы ребятишекъ. И какія все названія: «бакшевий царь», «король раннихъ», «красавица Востока. . .» И дѣйствительно, въ своей величавой неподвижности они, эти могучіе красавцы, напоминаютъ чѣмъ-то восточныхъ царей. . .

И я собираю пахучія дыни и несу домой, но всѣхъ не унесешь, и я прихожу еще разъ. И до сихъ поръ ноютъ руки отъ тяжелыхъ круглыхъ дынь, и по всему дому стоитъ ихъ густой, пряный ароматъ. . .

И это другая жизнь, не только не имѣющая ничего общаго съ той, которая прошла вчера мимо нашего хутора въ своемъ грозномъ величии, но боящаяся ее, этой

злой, огромной, ненужной разрушительной силы. А все вмѣстѣ, и та, и другая все-таки въ концѣ-концовъ сливаются въ одно, въ одну жизнь, — пеструю, величественную, глубокую и благословенную. . .

Они ждутъ.

Сѣрое небо тяжело повисло надъ огромнымъ печально нахмурившимся городомъ; въ сыромъ холодномъ воздухѣ крутится запоздалая мартовская вьюга; бѣлый снѣгъ ложится на мостовую и затоптанные тротуары и тотчасъ же таетъ, превращаясь въ грязь. Черненькія, безпокойныя фигурки людей суетливо мечутся по улицамъ туда и сюда, туда и сюда, точно, въ самомъ дѣлѣ, заняты какимъ важнымъ дѣломъ. Въ рукахъ у нихъ куличи и пасхи въ бѣлыхъ картонкахъ и кульки, изъ которыхъ то выглядываютъ мертвыя головы куръ и индѣекъ, то страшно смѣется, точно издѣваясь надъ чѣмъ-то, маленький мертвый поросенокъ. Грязные, оборванные нищѣ, какъ язвы страшной гангрены, стоятъ всюду по угламъ и безмолвно грозятъ кому-то. Тысячи искалѣченныхъ солдатъ, съ оторванными руками, съ оторванными ногами, съ густо забинтованными разбитыми головами, тоскливо ходятъ по улицамъ въ убогихъ шинелишкахъ, и безконечнымъ ужасомъ и скорбью вѣетъ отъ этихъ молчаливыхъ сѣрыхъ фигуръ. . .

И надвинулись тяжелыя тучи, и потеплѣло, и пошелъ унылый дождь, точно кто-то огромный плакалъ въ сумеркахъ надъ тупой и жестокой землей. . . И траурныя ткани ночи потихоньку затаили всю эту нашу страшную, бессмысленную, невозможную жизнь. . .

И часъ шелъ за часомъ, и въ призатихшемъ огромномъ городѣ все яснѣе и яснѣе чувствовалось какое-то томительное ожиданіе — вотъ-вотъ случится что-то такое, что разрѣшитъ проклятіе, тяготящее надъ землей. . .

И вдругъ на огромной башнѣ Ивана Великаго властно и густо прогудѣлъ колоколь-великанъ, и тотчасъ же въ отвѣтъ ему сотни церквей вспыхнули вдругъ во мракѣ безчисленными радостными огнями, и заревѣли торжественно колокола, и безчисленныя тысячи людей съ золотыми хоругвями, съ яркими огнями, ликуя, устремились изъ огнемъ горящихъ храмовъ во мракъ черной ночи. Все горѣло, все пѣло, все ликовало и, казалось, вотъ разсѣется ночная тьма и встанетъ въ сіяніи солнца новая, совѣтъ новая, прекрасная и радостная земля съ новыми, прекрасными и радостными людьми. . .

И отгорѣли огни, и замолкъ торжествующій ревъ колоколовъ и радостныя напѣвы людей, и разсѣялся мракъ, и снова въ тускломъ свѣтѣ низкаго печальнаго неба выступилъ огромный, утопающій въ холодной слякоти городъ, и толпы суетливыхъ, глупо разряженныхъ людей; и язвы бессмысленной жизни, нищѣ въ вонючихъ, вшивыхъ лохмотьяхъ, стоя по угламъ улицъ, убивали послѣднія, бѣдныя, маленькія радости людей, и уныло тянулись безконечныя вереницы искалѣченныхъ людей, съ ужасъ и тоску невѣроятную. . . Напрасны были громы колоколовъ, гимны, огни, эти мишурные, лживыя радости — все осталось по прежнему. . .

И вдругъ въ сурово нахмурившейся душѣ вешней буйной бурей взвилась ярая тоска — о, если бы, какъ и ночью, подобно колоколу-великану, загудѣлъ вдругъ надъ нами властно и могуче колоколь новой жизни! . . О, съ какой радостью отозвались бы ему по всей землѣ колокола миллионовъ истомившихся сердець, и зажглись

бы радостные огни, и обнялись бы, и заплакали отъ счастья, и съ радостными гимнами встрѣтили бы новую, совсѣмъ новую жизнь изстрадавшіеся люди!..

Что же, что молчить колоколь? Господи, мы изнемогаемъ!..

„Святая Русь“.

Чѣмъ больше читаешь по русской исторіи, тѣмъ все труднѣе и труднѣе становится найти, нащупать ту «святую Русь», которую мы такъ охотно рисуемъ себѣ въ прошломъ. Не простая ли это легенда? Представленіе о ней у насъ составляется не столько изъ фактовъ дѣйствительной жизни, сколько изъ разныхъ литературныхъ документовъ, гдѣ, весьма возможно, описывалось не столько то, что было въ дѣйствительности, сколько то, что было бы желательно. Достаточно прочесть въ Костомаровской «Исторіи раскола у раскольниковъ» многочисленныя цитаты автора изъ «Стоглава» и другихъ литературныхъ памятниковъ жизни древней Руси, чтобы составить себѣ очень печальное представленіе о той жизни. Удѣльные князья и духовенство, народъ и монахи, все это живетъ жизнью не только не «святой», но даже просто совершенно не человѣческой. Убійство, пьянство, блудъ, объядѣніе, клятвенное преступленіе, всяческое вѣроломство, полный религіозный индифферентизмъ, — только объ этомъ и говорится на этихъ истлѣвшихъ страницахъ древнихъ памятниковъ. Стало быть, гдѣ же она, эта святая Русь? Видимо, мы слишкомъ охотно распространяемъ на всю Русь свѣтъ, исходящій отъ отдѣльныхъ ея представителей, даже меньше, то чувство, которымъ проникнуты нѣкоторые изъ страницъ древней письменности, страницъ, полныхъ глубокаго религіознаго вдохновенія и тоски по лучшей жизни. . .

Если плохо вокругъ насъ теперь, — пусть будетъ хорошо хоть въ прошломъ. Только и всего. . .

Во мракѣ.

Я — взрослый человѣкъ — мальчикъ — младенецъ — яйцо въ матери и капелька сѣменной жидкости въ отцѣ, продуктъ ихъ организма, а ихъ организмъ — это тоже капелька сѣменной жидкости его отца + частицы поглощенной имъ пищи, влаги, воздуха. Я — капелька сѣменной жидкости + весь необъятный міръ матеріи, который течетъ въ меня въ видѣ пищи и выходитъ изъ меня въ видѣ отбросовъ, т.-е. я какой-то центрикъ, чрезъ который течетъ весь видимый міръ, воздухъ, цвѣты, деревья, облака, люди, все. И то, что выходитъ изъ меня, течетъ куда-то чрезъ огородъ и пашню въ Ивана, Петра, кошку, Шарика, пѣтуха, а Иванъ, Шарикъ, кошка, куры опять текутъ чрезъ меня. . . Все физическое слито въ одно — какой-то огромный океанъ матеріи, въ который вкраплены искорки отдѣльныхъ сознаний, обмѣнивающаяся этой матеріей.

Но и эти сознанія общностью мыслей и чувствъ слиты въ одно сознаніе, вѣчное, безбрежное, недѣлимое. Гдѣ кончается Сократъ и начинаюсь я? Гдѣ кончаюсь я и начинается этотъ веселый, довольный жизнью воробей?

Одно безграничное, недѣлимое, слитое въ одно тѣло, одна безграничная, недѣлимая, вѣчная душа. Откуда же это сознаніе отдѣльности?

Все находится въ покоѣ, отдѣльное въ движеніи. Что такое это движеніе? Это — поиски блага. Что такое благо? Благо это благо, то, что я чувствую, что это

благо. И благо — что бы ни говорили моралисты и мистики — совѣмъ не одно для всѣхъ, а для всѣхъ разное. Отсюда и борьба, и движеніе, и пестрота, и — жизнь...

На все это я не смотрю, какъ на истину, — это такъ я думаю сегодня только, это поиски истины . . . вѣроятно, напрасные. . .

Путаница.

Предо мной лампа, — она существуетъ; какъ существуетъ, какая она въ дѣйствительности, я не знаю, а знаю только, что вотъ она есть. Лѣтъ пятнадцать тому назадъ — Боже, какъ давно это было! . . — я провелъ дивную лунную ночь въ Акрополѣ и я знаю, что онъ тоже существуетъ. Объ Австраліи я знаю только по наслышкѣ, что она существуетъ. Моя Оля не только ничего не знаетъ объ Акрополѣ, но и самаго слова этого она еще никогда не слыхала и, поэтому онъ для нея вполне не существуетъ, какъ не существуетъ Индія, Африка, миллионы людей съ ихъ волнующейся, какъ море, жизнью, — *совсѣмъ не существуетъ*. Она живетъ, но ничего этого для нея нѣтъ. Почему же не думать, что дѣйствительный міръ мнѣ такъ же мало извѣстенъ, какъ и Олѣ? Я знаю больше ея, но я знаю далеко не все. Можетъ быть, рядомъ со мной существуетъ что-то еще болѣе грандіозное и прекрасное, чѣмъ Акрополь, а для меня его нѣтъ, какъ нѣтъ для Оли аѳинскаго акрополя.

Значить, все есть, поскольку я его такъ или иначе воспринимаю: одно есть болѣе, какъ лампа, другое менѣе, какъ Акрополь, третье еще менѣе, какъ Австралія, а четвертаго совѣмъ нѣтъ. Степени бытія міра — для меня и, что совѣмъ ужъ «чудно», меня — *для міра* . . .

Міръ есть только мое представленіе. И только?

Вотъ, глубоко думая обо всемъ этомъ, я иду по рельсамъ въ темнотѣ и не слышу, какъ меня настигаетъ поѣздъ. Его нѣтъ въ моемъ представленіи, значить, для меня его нѣтъ вообще, а онъ вотъ настигаетъ меня и превращаетъ въ клочки мяса и, несуществующій, уносится въ несуществующее для него — потому что пространство есть только форма нашего мышленія, а онъ не мыслить, — пространство, не замѣтивъ даже, что онъ погубилъ цѣлый пестрый и, такъ какъ ему нельзя указать начала, вѣчный міръ!

Все путаница, неясность, тьма. . .

День рожденія.

День рожденія. . . Обычный рабочій день — свѣтитъ солнышко, въ саду моемъ наливаются душистыя яблоки, золотятся гроздья винограда, ласточки собираются въ стаи. . . И надо вывозить навозъ, надо напоить корову, надо подвязать упавшіе отъ вѣтра кусты виноградника, — все, какъ всегда, а все нѣтъ-нѣтъ, да и вспомнишь, что еще годъ прошелъ, что все ближе и ближе старость, страданія и смерть.

И — ничего. . .

Мало того: несмотря на то, что такъ близко отъ меня ея могилка, несмотря на то, что иногда страхъ предъ зломъ жизни сжимаетъ сердце, несмотря на сознаніе, что и ты виноватъ во многомъ, несмотря на все это, я въ это тихое утро, въ тишинѣ моей рабочей комнатки, одинъ, съ переполненнымъ сердцемъ поднимаю чашу радости и пью изъ нея съ восторгомъ — за жизнь, за жизнь во всей ея полнотѣ, за всѣ ея страданія, за всѣ радости, за все, что въ ней. . .

За Жизнь! . .

Люся.

Она, несмотря на свои пять лѣтъ, начинаетъ задавать большіе вопросы. То настойчиво спрашиваетъ, гдѣ конецъ неба и никакъ не можетъ понять, что у него конца нѣтъ — такихъ вещей, у которыхъ нѣтъ конца, по ея мнѣнію, не можетъ быть. А то все такъ же настойчиво добивается, откуда взялось первое дерево.

— Изъ сѣмячка.

— А сѣмячко откуда?

— Отъ дерева.

И, наконецъ, доходимъ до *перваго* дерева: откуда оно взялось, какъ?

— Не знаю, — говорить мать.

— Можетъ быть, папа знаетъ?

— Нѣтъ, и папа не знаетъ.

— Можетъ, у него въ книжкахъ есть про это? Сколько у него всякихъ книгъ...

— Нѣтъ, и въ книжкахъ этого нѣтъ.

— Такъ зачѣмъ же тогда столько книгъ?

— Не ... не знаю...

Цвѣты съ забытыхъ могилъ.

(Изъ „Légende Dorée“.)

I.

Однажды, когда св. Іоаннъ былъ въ Эфесѣ, философъ Кратонъ, собравъ на площади народъ, училъ его, какъ надо презирать міръ сей. Онъ приказалъ двумъ своимъ ученикамъ, молодымъ людямъ, пойти и, продавъ всѣ свои богатства и имѣнія, купить и принести два драгоценныхъ камня, цѣны необычайной. Когда юноши принесли эти камни, Кратонъ приказалъ имъ разбить ихъ и обратить въ пыль, что они и сдѣлали. Св. Іоаннъ, проходя площадью, видѣлъ все это и, подойдя къ философу, доказалъ ему, что такое презрѣніе къ богатству неразумно, что только тогда оно заслуживаетъ уваженія, когда богатства отдаются на пользу бѣднымъ, а не уничтожаются безъ всякой пользы. Тогда Кратонъ сказалъ: «если твой Господь есть дѣйствительно Богъ и если онъ хочетъ, чтобы камни эти пошли на пользу бѣднымъ, возстанови эти камни и послужи славѣ Божеской, какъ я послужилъ славѣ человѣческой.» Тогда Іоаннъ собралъ въ руки остатки камней и помолился, и тотчасъ камни стали такими же, какъ и прежде, и философъ Кратонъ и оба юноши, ученики его, увѣровали въ Іисуса, а деньги, вырученныя отъ продажи, были розданы бѣднымъ.

И вотъ случилось, что нѣкоторое время спустя эти оба юноши встрѣтили своихъ бывшихъ слугъ, которые были теперь богаты, между тѣмъ, какъ сами они были нищи и убоги. И стало имъ жаль потеряннаго богатства и стали они раскаиваться въ своемъ поступкѣ. Іоаннъ, услышавъ объ этомъ, приказалъ юношамъ принести съ моря нѣсколько камышей и камней, и когда они исполнили это, онъ силою молитвы обратилъ все это въ золото и драгоценные камни. И цѣлые семь дней всѣ городскіе золотыхъ дѣлъ мастера разсматривали это золото и камни и, наконецъ, объявили, что никогда они не видали золота и камней болѣе чистыхъ. И сказалъ тогда Іоаннъ юношамъ: вотъ, возьмите это и выкупите обратно ваши имѣнія, — будьте богатыми здѣсь, чтобы стать нищими въ царствіи Божіемъ. И, вставъ, началъ онъ говорить къ собравшемуся народу, выставляя предъ нимъ весь вредъ для чело-

вѣка богатствъ земныхъ: голымъ человѣкъ рождается и голымъ идетъ въ землю, — говорилъ онъ, — на что же ему копить богатства на короткій срокъ жизни сей, на что налагать на себя столько заботъ, столько тревогъ только для того, чтобы собрать нѣсколько горстей праха? И, — говорилъ онъ, — если бы люди были разумны, они никогда не дѣлали бы этого, ибо какъ солнце, луна, звѣзды и воздухъ принадлежать всѣмъ, такъ точно и все остальное должно быть общимъ для всѣхъ. . .

И такъ хорошо говорилъ онъ объ этомъ, что оба юноши снова раскаялись и, бросившись къ ногамъ апостола, умоляли его о прощеніи. И апостоль сказалъ юношамъ: «кайтесь въ теченіе тридцати дней и молитесь, чтобы камни и камыши снова приняли свою прежнюю форму». И они стали молиться, и камыши и камни снова приняли прежнюю форму, и богатые молодые люди получили отъ Господа прощеніе, и слава о семь чудѣхъ распространилась по всей странѣ, и многіе увѣровали въ Господа.

II.

Однажды св. Макарій убилъ блоху и такъ огорчился этимъ, что сталъ каяться и плакать, говоря, что Господь не приказывалъ платить зломъ за зло, а вотъ онъ не исполнилъ Его повелѣнія. И пошелъ онъ въ пустыню и, раздѣвшись до нага, простоялъ тамъ, кормя собою комаровъ и всякихъ другихъ насѣкомыхъ тридцать дней и тридцать ночей, такъ что все тѣло его обратилось въ одну сплошную рану. И, искупивъ, такимъ образомъ, грѣхъ свой, онъ снова вернулся въ свою келію и вскорѣ опочилъ въ Господѣ, оставивъ міру благоуханіе своихъ добродѣтелей.

III.

Однажды къ св. Иоанну явился нищій и попросилъ милостыни. Иоаннъ сказалъ своему казначею: пойди и дай ему шесть серебряныхъ монетъ. Нищій ушелъ, а затѣмъ, надѣвъ другую одежду, пришелъ за милостыней снова. Иоаннъ приказалъ своему казначею выдать ему шесть золотыхъ монетъ. Казначей далъ, но когда нищій ушелъ, онъ сказалъ Иоанну, что человѣкъ этотъ уже дважды приходилъ сегодня за милостыней и дважды получилъ ее. Иоаннъ сдѣлалъ видъ, что не замѣтилъ этого. А нищій, переодѣвшись еще разъ, снова пришелъ и попросилъ о милостыни. Казначей сдѣлалъ апостолу знакъ, что это все тотъ же человѣкъ, но Иоаннъ приказалъ ему пойти и дать просящему двѣнадцать золотыхъ монетъ, ибо «кто знаетъ, — сказалъ онъ, — можетъ быть, это самъ Господь Иисусъ Христосъ искушаетъ меня, чтобы видѣть, кто устанетъ первымъ, Онъ — просить или я — давать». . .

Востокъ и Западъ.

Въ извѣстныхъ кругахъ — теософы, ведантисты, толстовцы . . . — очень любятъ рѣзко противопоставлять Востокъ Западу. Отчасти это, пожалуй, можно объяснить тѣмъ, что надо же человѣку отдохнуть душой надъ чѣмъ-нибудь, надо же куда-нибудь преклонить голову. Востокъ дальше всего и временно и пространственно — такъ и давайте помѣстимъ нашу страну обѣтованную тамъ. . . Большую роль въ этомъ возвеличеніи Востока сыграли тѣ проповѣдники-ведантисты и другіе, которые стали все чаще и чаще набѣжать изъ Индіи на Западъ, какъ Вивекананда, Баба Барати и др., чтобы познакомить насъ съ мыслью Востока. И вотъ они излагаютъ намъ самую прекрасную сущность ученій Востока, они дѣлаютъ самый строгій

отборъ изъ того, что создано въ области религіозно-философской мысли Востокомъ, и прибавляютъ: *такъ говоритъ Востокъ*. Между тѣмъ, Востокъ говоритъ не только это: онъ говоритъ и о кастахъ, и о колесницѣ Джагернаута, и объ идолахъ Будды, предъ которыми особыя мельнички читаютъ молитвы за вѣрующаго, которому самому некогда заняться этимъ. Это все равно, какъ если бы мы поѣхали на Востокъ и стали бы тамъ проповѣдывать, что говоритъ Францискъ Ассизскій, Рескинъ, Толстой, Паскаль. И прибавили бы: *вотъ что говоритъ міру Западъ*. На это намъ люди Востока совершенно справедливо возразили бы: а пушки, а водка, а умирающіе съ голоду въ вашихъ миллионныхъ городахъ? А костры мучениковъ за вѣру? А аэропланы, бросающіе бомбы въ осажденные города, въ дѣтишекъ? . .

«Свѣтъ съ Востока». . . Не съ Востока свѣтъ и не съ Запада, а отовсюду, и это вотъ оспариваніе свѣта — отъ меня онъ или отъ тебя — есть уже затемненіе его.

Въ саду.

Уже пахнетъ осенью. . . На нѣкоторыхъ деревьяхъ появился уже желтый листъ, и дозрѣваютъ въ моемъ саду послѣдніе плоды. И легкая нотка грусти слышится во всемъ. . .

И подумалось: и мы тоже старья деревья, на которыхъ среди желтыхъ листьевъ ихъ висятъ, созрѣвая, плоды, дѣти. И созрѣютъ, и бросятъ сѣмена, и сѣмена тѣ прорастутъ, и зацвѣтутъ, и обвѣшаются въ свою очередь плодами въ то время, какъ мы всей нашей жизнью будемъ лежать у ихъ корней, давая имъ соки для работы. И дерево жизни людской будетъ цвѣсти, все цвѣсти, безъ конца. . .

И только объ одномъ надо намъ заботиться: чтобы дать имъ, грядущимъ, дѣйствительно питательные соки для продолженія ихъ дѣла. . .

Осень. . . Все хорошо, все прекрасно, — даже эта легкая нѣжная грусть предъ разлукой. . .

О свободномъ воспитаніи.

Они неправильно понимаютъ свободу. Свобода совсѣмъ не въ томъ, чтобы человекъ дѣлалъ все, что ему взбредетъ въ голову, а въ томъ, чтобы онъ былъ способенъ *оставаться самимъ собой при всякихъ внѣшнихъ обстоятельствахъ, несмотря ни на что*. Если мы воспитываемъ ребенка, придерживаясь перваго пониманія свободы, мы рискуемъ сдѣлать изъ него хулигана; при второмъ пониманіи, можетъ быть, изъ него и выйдетъ человекъ. Говорю «можетъ быть» потому, что я не твердо вѣрю въ возможность сдѣлать изъ ребенка все, что намъ хочется: есть что-то въ немъ, что его дѣлаетъ тѣмъ или другимъ, несмотря на всѣ усилія воспитателя, и часто въ публичномъ домѣ вырастаютъ святые, а въ монастырѣ — разбойники. Можетъ быть, это наше безсиліе объясняется лучше всего широко понятымъ закономъ Кармы, въ величавой мощи котораго убѣждаешься тѣмъ больше, чѣмъ старше становишься.

Жизнь.

Въ жизни, какъ въ развалинахъ Помпей: какая судорога, какой ужасъ, — да, но вотъ, посмотри, на развалинахъ гнуснаго лунанарія цвѣтутъ нѣжныя, прелестныя маргаритки.

— Такъ. Но по берегамъ Темзы, Сены, Невы, гдѣ иѣкогда цвѣли иѣжныя маргаритки, стоятъ гнусные лупанаріи. . .

— Да. Но придетъ время, когда на развалинахъ этихъ гнусныхъ лупанаріевъ, по берегамъ Темзы, Невы, Сены, будутъ цвѣсти иѣжныя маргаритки. . .

И въ этой смѣнѣ свѣта и тѣней вся жизнь и никакъ изъ этого не выйдешь. . .

Равенство предъ страданіемъ.

Страданіе на всѣхъ путяхъ человѣческихъ. Царь можетъ страдать такъ же, какъ и бездомный бродяга, и бродяга — какъ самый могущественный царь. По отношенію къ страданію въ ихъ положеніи нѣтъ никакой разницы, даже больше: площадь уязвимости царя больше, чѣмъ у нищаго, — онъ слишкомъ открытъ со всѣхъ сторонъ для нападенія страданія, слишкомъ сильна надъ нимъ владычица міра, Майя.

Одинъ, озябнувъ на паперти, гдѣ ждалъ онъ милостыни, хочетъ миску горячаго борща въ грязной харчевнѣ, другой — женщины, третій — завоевать большую область, которая ему совершенно ни на что не нужна, четвертый — чтобы ему всѣ хлопали въ театрѣ. Нѣтъ этого — ему больно. И подойди тихо, и поговори, и заставь, чтобы онъ засмѣялся надъ тѣмъ, надъ чѣмъ теперь плачетъ. . .

Трудъ.

Горожане и приблизительнаго понятія не имѣютъ о той массѣ мелкаго, незамѣтнаго труда, который нуженъ для поддержанія жизни человѣка. «Вотъ сдѣлаю то-то и то-то, — говоришь себѣ, — и тогда можно будетъ передохнуть. . .» Напрасная надежда! . . У коровы не хватаетъ подстилки, — надо привезти. Смотришь: поломался заборъ, — надо скорѣе починить, а то чужой скотъ заберется въ садъ и на огородъ и все попортитъ. Только починили заборъ, — смотришь, течетъ крыша на сараѣ, надо чинить. Починили крышу — подошло время опрыскивать садъ, а тамъ надо подвезти навозъ къ парнику, а тамъ подвязать виноградникъ, а тамъ отелилась корова, а тамъ не хватаетъ дровъ, а тамъ нуженъ ремонтъ штукатурки въ домѣ. И такъ изо дня въ день, безъ конца, почти безъ передышки. . .

И въ результатѣ всего этого — зеленый холмикъ твоей могилки!

Но, — говорятъ, — какъ для тебя потрудились люди предшествующихъ поколѣній, такъ и ты потрудишься для тѣхъ, что идутъ за тобой. Да вѣдь это неправда, что они трудились для меня, — они обо мнѣ и не думали даже, такъ какъ нельзя думать о томъ, чего еще и нѣтъ. Они жили для себя. Все равно: ты пользуешься ихъ трудомъ, — значитъ, простая порядочность заставляетъ тебя заплатить за это. Такъ, безспорно. Но опять-таки бѣда въ томъ, что они, трудясь для себя, оставили мнѣ не только много добраго, но еще больше бесполезнаго и массу вреднаго: башни Эйфеля, вѣковыя привычки къ алкоголю, табаку, миллионныя арміи, безчисленныя утонченныя привычки, которыя являются въ концѣ-концовъ только обузой для всѣхъ. . . Такъ что, если и хочешь потрудиться и отплатить грядущимъ за тотъ трудъ, что сдѣланъ стариками, то смотри, трудись такъ, чтобы отъ труда твоего не трещалъ затылокъ у потомковъ. И во всякомъ случаѣ не придавай своему труду слишкомъ большого значенія: зеленый холмикъ впереди не у одного тебя вѣдь. . .

Жить надо легче. Въ концѣ-концовъ, Онъ со своими лиліями полей и птицами небесными все-таки правъ, что бы объ этомъ ни думали дѣловые люди.

Да, да: и надъ зелеными могилками будутъ тихо качаться тонкія вѣтви плакучихъ березъ, опушившіяся молодой листвою, и въ лѣсной чащѣ будетъ все такъ же звучать призывъ кукушки. . .

Отдыхъ.

Люди ушли, и я остался одинъ. Надъ тихимъ моремъ догораетъ заря, и въ бездонной глубинѣ вселенной зажигаются звѣзды. Сонно вздыхаетъ море, а за стѣнной темныхъ дубовъ прекрасный, бархатный, какъ это потемнѣвшее небо, голосъ поетъ о любви и счастіи. . .

А, какъ хороши эти звуки въ тиши звѣздной ночи, когда вверху горитъ Большая Медвѣдица и серебряный серпикъ луны уходитъ за черныя лѣсистыя горы! А, какъ хороша въ эти минуты жизнь! . .

И вдругъ въ душѣ пронеслась темной тучкой боль: да, а тѣ, что страдаютъ?

И я сказалъ: и я страдалъ, и я буду страдать, какъ и всѣ. Если же на мою долю выпалъ этотъ короткій мигъ счастья въ тишинѣ звѣздной ночи, то не судьба ли послала его мнѣ, какъ маленькій отдыхъ, какъ передышку на трудномъ пути жизни, трудномъ для меня такъ же, какъ и для всѣхъ?

И я съ теплымъ сердцемъ возблагодарилъ судьбу за этотъ короткій мигъ счастья. . .

Каракуль.

Каракуль, въ который любятъ наряжаться женщины, платя за него бѣшенныя деньги, это шкурки недоношенныхъ барашковъ. Раньше для того, чтобы добыть его, просто рѣзали котную овцу въ извѣстный срокъ; теперь же придумали средство болѣе усовершенствованное: котную овцу привязываютъ и до тѣхъ поръ бьютъ ее палками, пока она не выкинетъ барашка. Этотъ способъ много выгоднѣе прежняго, такъ какъ прежде, подъ ножомъ, гибли, понятно, всѣ овцы, а теперь, подъ палками, гибнетъ только третья часть ихъ, а остальные поправляются, чтобы на будущій годъ подвергнуться той же операци.

И сомнѣваться послѣ этого въ томъ, что мы культурные люди!

Противорѣчія.

Я часто противорѣчу самому себя, и я не боюсь этого. Я не стою на одной точкѣ, упершись лбомъ въ стѣну, я обхожу всю землю, всю жизнь, смотрю, радуюсь, печалюсь. Вотъ вчера вокругъ меня былъ зеленый оазисъ, въ которомъ плелъ свое кружево холодный ключъ и пѣли птицы, а сегодня — вокругъ меня пустыня, покрытая мертвыми костями; вчера вокругъ меня была буря и ночь, а сегодня я вмѣстѣ съ этимъ веселымъ утромъ смѣюсь и радуюсь. И я дрожу, и благословляю, и радуюсь, и плачу, и вижу вокругъ себя все разное, все пестрое, все богатое. И такія

же пестрыя думы рождаются во мнѣ, и такія же пестрыя слова просятся наружу, и я — противорѣчу себѣ. . .

Жизнь есть прежде всего измѣненіе и для себя я не зналъ бы большаго наказанія, какъ эта прославленная «вѣрность убѣжденіямъ».

Три сосны.

«Земля ничья, Божья», лѣсъ Божій, — какая эта красивая, милая мечта!

Но только мечта.

Я никогда не забуду тѣхъ трехъ вѣковыхъ сосенъ, которыя стояли на высокой горѣ около Малахова. Бывало, ѣдешь на родину, и еще издали, версть за двадцать пять, видишь на горизонтѣ этотъ маякъ высоко, высоко въ небѣ. И сразу на сердцѣ потеплѣетъ какъ-то. . . И вотъ эти великаны, которые видѣли у своихъ корней не одно поколѣніе, которые тысячамъ и тысячамъ блудныхъ сыновъ первые посылали привѣтъ родной земли, когда тѣ возвращались на родину, — погублены, бессмысленно, нелѣпо, истинно по-русски: кто-то у основанія ихъ стесалъ топоромъ ихъ кору кольцомъ, и послѣдній разъ я видѣлъ великановъ уже засохшими. И какъ краснорѣчива была ихъ жалоба, которая чувствовалась въ этихъ оголенныхъ вѣтвяхъ, печально поднимающихся въ небо! . .

Какъ ждать отъ этого человѣка, чтобы онъ понялъ, что земля — Божья, что великаны эти — святыня? . .

Я.

Я — это пирамида, у основанія которой тяжело лежитъ всемірная (не всечеловѣческая только, а въ буквальномъ смыслѣ всемірная) исторія, основаніе теряется въ безконечности прошлаго, а вершина медленно движется въ безконечность будущаго. И вся эта гигантская пирамида, я, въ то же время только крошечный кирпичикъ въ пирамидѣ, въ вершинѣ которой будетъ стоять, на примѣръ, «годъ 4381», какъ Александръ Македонскій, Египетъ, римскіе легіоны, Сократъ — только крошечные кирпичики въ пирамидѣ, которая называется Я.

Въ канадской глуши.

. . . Онъ живетъ въ католическомъ монастырѣ, въ глуши Канады, и собирается остаться въ немъ навсегда. Ему предстоитъ годъ послушничества, во время котораго новичка испытываютъ во всѣхъ отношеніяхъ.

«Развѣ не прекрасно, — пишетъ онъ, — то, что, если не удержишься, скажешь рѣзкое слово кому-нибудь, и тебя заставятъ цѣловать ноги того, кого ты огорчилъ? Много занимаешься собой, своей наружностью? Иди съ половиной головы, остриженной подъ машинку, въ капеллу. Лѣнивъ? Работай не въ очередь. Цѣлое утро работаешь, возишь навозъ, къ обѣду проголодаешься, придешь — обѣда нѣтъ, жди до вечера. И смотреть: разозлился или нѣтъ? Объявлена на послѣ обѣда прогулка,

что-либо приятное и веселое, и вдруг внезапно это замѣняется... чистой отхожихъ мѣсть! И такъ ежедневно, безъ передышки, цѣлый годъ...

Хорошо, можетъ быть, но развѣ въ міру-то не то же самое дѣлается, но не годъ, а всю жизнь, безъ передышки, только болѣе скрыто, болѣе тонко?..

Въ лѣсу.

Здравствуй, старый, милый лѣсъ!.. Узнаешь ли ты во мнѣ, въ этомъ усталомъ человѣкѣ съ сѣдѣющей головой, того живого босоногого мальчугана въ красной рубашонкѣ, который, бывало, собиралъ подъ темными навѣсами твоихъ вѣтвей грибы и ягоды?.. Да, опять, опять пришелъ я къ тебѣ, старый лѣсъ! Хорошо вздохнуть тутъ у тебя немножко, въ тишинѣ, въ одиночествѣ...

Совсѣмъ одинъ я здѣсь, въ этомъ зеленомъ, душистомъ, солнечномъ царствѣ — и какъ легко дышится тутъ, какъ хорошо и легко думается! Никто и ничто не давить здѣсь твою мысль, не искажаетъ, не гушитъ и, совсѣмъ независимая, она растетъ буйно и вольно. Вотъ мысль темная и строгая, какъ эта старая, угрюмая ель, вотъ мысль вся радостная, вся трепещущая жизнью, нарядная, какъ молоденькая рябинка на солнечной опушкѣ, вотъ мысль сѣрая и мертвая, какъ столѣтняя, вывороченная съ корнемъ и уже засохшая сосна, вотъ свѣжая и душистая, какъ ландышъ, вотъ смѣшная и гупая, какъ важный боровикъ, вотъ нарядная и ядовитая, какъ рдѣющий мухоморъ, вотъ легкая, солнечная, какъ мотыльки, пляшущіе надъ зеленой лужайкой...

И онѣ растутъ, цвѣтутъ, благоухаютъ, вольныя, независимыя ни отъ кого, ни отъ чего. Независимость, безбоязненность мысли для меня теперь дороже всего. Правда, бывають иногда искушенія: хочется немножко покривить душой, понравиться, хочется, чтобы тебя похвалили — все это вѣдь такъ легко: стоитъ только стереть свое лицо! — но искушеніе проходитъ и снова я возвращаюсь въ завоеванную съ такимъ трудомъ Землю обѣтованную мысли независимой ни отъ враговъ, ни — это много, много страшнѣе, — отъ друзей...

Есть одна великая истина въ жизни, которую люди еще недостаточно замѣтили: совершенно невозможно предвидѣть послѣдствій своихъ поступковъ, словъ, думъ. Не успѣють эти дѣти наши родиться, какъ сразу же начинаютъ они творить волю не насъ, пославшихъ ихъ, а свою, для насъ непонятную и неуловимую.

Возьмемъ, на примѣръ, Христа: казалось бы, что изъ такой жизни можетъ еще вырасти, какъ не всеобщая солнечная радость, которой Онъ ждалъ, томясь, когда огонь этотъ возгорится? А между тѣмъ прямымъ слѣдствіемъ Его Нагорной проповѣди и Его дѣтски-наивныхъ и дѣтски-мудрыхъ притчъ, Его кровавой жертвы было — безпримѣрное кровопролитіе, тысячи тысячъ окровавленныхъ человѣческихъ тѣлъ на римскихъ аренахъ, на кострахъ и дыбахъ инквизиціи, въ бояхъ крестовыхъ походовъ, во мракѣ Вареломеевой ночи, въ казематахъ Суздальской крѣпости, прямымъ слѣдствіемъ Его слова и дѣла было раззолоченное папство, горластые дьякона, тысяченудовые колокола, «Gott mit uns» на поясныхъ бляхахъ германскихъ солдатъ, хоры кастратовъ... Будда прошелъ и засѣялъ землю словами свѣтлой мудрости и глубокаго состраданія, но прошли вѣка, и люди устроили эдакія деревянныя мельнички, которыя вмѣсто вѣрующихъ буддистовъ «читаютъ» установленныя, будто бы, Буддой молитвы. Французскіе революціонеры на весь міръ провозгласили великіе принципы свободы, равенства и братства, а слѣдствіемъ этого

явились ужасы переполненных тюремъ и лишкія, вонючія, окровавленные гильотины. Мало этого: гдѣ то въ глубинѣ азіатскихъ степей, на берегу лѣсистаго озера, околдованная любовью дикая дѣвушка торжественной лунной ночью отдалась своему возлюбленному, а чрезъ тридцать-сорокъ лѣтъ ея ребенокъ, назвавшись Атилой, Тамерланомъ или Чингизъ-Ханомъ, пропиталъ человѣческой кровью землю чуть не до самаго центра, — думала ли когда дикая дѣвушка, что ея любовь породитъ такихъ чудовищъ?

Я могу выйти въ міръ къ людямъ съ самими искренними, самыми свѣтлыми намѣреніями, но что изъ нихъ выйдетъ, ни я, ни кто другой сказать не можетъ. «Человѣкъ судится по намѣреніямъ» — это, можетъ быть, и такъ, но тутъ дѣло совсѣмъ не въ томъ, какъ я буду судиться, а въ томъ, какъ отзовется на людяхъ моя дѣятельность. А разъ предвидѣть этого нельзя, то всякая наша дѣятельность должна, казалось бы, замирать при самомъ своемъ зарожденіи. Какъ что-нибудь дѣлать, когда ты никакъ не знаешь, что изъ твоихъ дѣлъ можетъ вырасти? Ты засѣиваешь землю цвѣтами, а изъ нея вырастаютъ окровавленные мечи. . . Ты чуть прикоснулся къ ветхому зданію жизни человѣческой, и вдругъ посыпались кирпичи, рухнули мшистые своды и предъ тобой, вмѣсто свѣтлаго, полного радостныхъ гимновъ храма, котораго ты ожидалъ, только мертвыя развалины и тысячи труповъ, и проклятія женщинъ, и плачь дѣтишекъ. . .

Что же дѣлать? Выводъ какъ будто напрашивается самъ собой: твори хотя бы и маленькіе, но несомнѣнные плюсики въ жизни другихъ, которые дадутъ во всѣхъ этихъ мизерныхъ существованіяхъ перевѣсъ многимъ маленькимъ радостямъ, плюсикамъ, надъ огромнымъ тяжелымъ минусомъ жить. Накорми голоднаго, чтобы онъ сейчасъ же съ несомнѣнностью почувствовалъ радость насыщенія и твоей ласки, одѣнь холоднаго, чтобы онъ разомъ несомнѣнно почувствовалъ радость быть въ теплѣ и свѣтѣ, дай, если можешь, больному радость здоровья, съ тѣмъ поплачь, тому улыбнись, тому подари игрушку. . . Казалось бы, что все это хоть и маленькіе, но несомнѣнные плюсики, — да, но опять послѣдствія твоей дѣятельности могутъ быть самыми неожиданными: спасенный тобою отъ голодной смерти ребенокъ можетъ быть и Львомъ Толстымъ, который удивитъ міръ, и Францискомъ Ассизскимъ, который засыплетъ всю землю своими «Цвѣточками», но онъ можетъ быть и Емелькой Пугачемъ, и даже просто самымъ обыкновеннымъ разбойникомъ, который поидетъ — какъ бы на твоихъ ногахъ поидетъ, — и за два рубля вырѣжетъ цѣлую семью, и ты надъ изуродованными трупиками дѣтей, загубленныхъ этимъ негодяемъ, будешь спрашивать себя, зачѣмъ же ты далъ ему жизнь, не лучше ли было бы тогда бросить его въ колодець. . .

Толстой страшно боялся всякой «общественной» дѣятельности, которая обрушила на людей столько кровавыхъ бѣдствій, и онъ думалъ, что онъ нашелъ средство дать сердцу необходимую ему пищу для жизни и въ то же время избавиться отъ этихъ ужасающихъ общественныхъ катаклизмовъ. Но онъ только перенесъ эти катаклизмы съ площадей въ душу человѣческую, изъ общественныхъ сдѣлалъ ихъ индивидуальными; послѣдователи его совсѣмъ не знаютъ жизни-радости, а живутъ съ надорваннымъ сердцемъ, съ постоянной тревогой въ душѣ — то ли я дѣлаю, что надо? — живутъ жизнью мучениковъ, похожей на одинъ сплошной покаянный псаломъ. Да развѣ жизнь дана намъ на это? Развѣ, если жизнь не радость, стоитъ ее жить? Внутренніе катаклизмы эти такъ же страшны, какъ и внѣшніе, потому что въ нихъ гибнетъ то, что въ жизни есть самаго драгоценнаго, — ея радость. . .

Что же дѣлать? Что дѣлать?

И весенній вѣтерокъ, и звенящія вершины лѣса, и бѣлая пухлая облака, и ароматъ цвѣтовъ, и пѣніе птицъ, казалось, со всѣхъ сторонъ говорили только одно: не думай, будь радостенъ, будь прекрасенъ, какъ вонъ эта маленькая, невидимо благоухающая въ чащѣ обвѣшаннаго золотыми сережками орѣшника фіалка. . .

Она прекрасна, она благоухаетъ, и я вотъ, наконецъ, нахожу ее и стою надъ ней долго, и люблюсь, и упиваюсь ея ароматомъ, и въ душѣ у меня, сѣдого человѣка, свѣтлыя волны вешней радости, цѣлый океанъ радости. И она не спрашиваетъ себя среди звенящаго весенними пѣснями лѣса, подъ этимъ теплымъ небомъ: стоитъ ли жить, для чего жить? Она знаетъ, что жить стоитъ, знаетъ, для чего: для красоты, для радости, для упоенія, — для жизни. И ее совершенно не занимаютъ и не беспокоятъ вопросы, могутъ ли эти вешніе отвѣты ея на вѣковѣчные вопросы «лечь въ основу общественной программы», «стать категорическимъ императивомъ, равно обязательнымъ для всѣхъ». Она живетъ и радуется, и этого довольно тому высокому, теплому и ясному небу, которое такъ близко къ ней, которое благословляетъ — я чувствую это — и эту радость ея, и всю ея жизнь. . .

И что всего важнѣе, такъ это то, что благоухаетъ и радится въ свой скромный и прелестный нарядъ она не для меня — можетъ быть, нарочно даже она спряталась отъ меня въ эту чащу, — а для себя; я могъ притти и могъ не притти, могъ остановиться и порадоваться, и могъ равнодушно пройти мимо, а она все цвѣла бы, все бы курила свой еиміамъ молодой веснѣ, принесшей на землю свѣтъ, тепло, любовь, радость. Ей совершенно безразлично, что есть на свѣтѣ страшные нищія съ провалившимися носами и этимъ радостнымъ утромъ гдѣ-то, полные безмысленной злобы, рѣжутся миллионы одурѣвшихъ людей, — она вѣдь не просила ихъ объ этомъ! . .

Такъ. Но — душа болитъ. . .

Подъ сводами церкви.

Испанскій король Карль XI не могъ исполнять супружескихъ обязанностей. Приближенные рѣшили, что онъ околдованъ и что необходимо прибѣгнуть къ помощи церкви, чтобы освободить его отъ проклятыхъ чаръ. Церковь, которая въ это время закоптила всю Испанію дымомъ костровъ инквизиціи, охотно пришла на помощь бѣдному коронованному выродку и предписала подвергнуть и короля и королеву церемоніи очищенія отъ чаръ, во время которой и король и королева должны были стоять предъ монахами совершенно голыми, а затѣмъ, по окончаніи церемоніи, должны были тутъ же дать монахамъ наглядное доказательство, что средство церкви подѣйствовало.

Объ этомъ рассказывается въ донесеніяхъ французскаго посла графа де-Ребенакъ Людовику XIV.

Вотъ изъ какой тьмы надо вылѣзать бѣдному человѣку! . . Что же удивительнаго, что мы лѣземъ такъ медленно? . .

Саркофаги.

Величайшее зло современной литературы — это такъ называемыя полныя собранія сочиненій. Большинство писателей почтительно придавлены этой ужасной могильной плитой. Не будь этого варварства, писатель, можетъ быть, игралъ бы

еще всеми цвѣтами красоты и жизни, а накрыли его этимъ камнемъ, — это мертвецъ, къ которому большею частью нельзя и подойти.

Если мы изъ всего Гаршина выберемъ два-три наиболѣе характерныхъ для него и наиболѣе талантливыхъ рассказика и хорошо издадимъ ихъ, получится милый, грустный, живой цвѣтокъ, ароматъ котораго радуеть. Марксъ собралъ и напечаталъ все, что было написано Гаршинымъ, до какихъ-то глупенькихъ записочекъ какимъ-то пріятелямъ включительно, — получилась сѣрая, скучная, нудная тѣнь, отъ которой хочется убѣжать и спрятаться. Дай издатель одинъ маленькій, маленький томикъ рассказовъ Станюковича, — получится скромное, милое ожерелье изъ скромныхъ, недорогихъ, но милыхъ камушковъ; Марксъ закатилъ «Станюковича въ сорока томахъ», до писемъ о какой-то дурацкой нижегородской выставкѣ включительно, — и бѣдный Станюковичъ отяжелѣлъ, расплылся безформенной массой и умеръ...

Тяжести этихъ монументовъ не выдерживаютъ не только писатели маленькіе, какъ Станюковичъ или Гаршинъ, не только писатели средніе, какъ Чеховъ, но даже звѣзды первой величины, писатели-помазанники. У Пушкина есть стрѣфы такой чеканки, которыя выдержать восхищеніе вѣковъ, но зачѣмъ же долженъ я отягчать свой книжный шкафъ его «Исторіей пугачевского бунта», этимъ протоколомъ неглаголиваго и ловкаго, себѣ на умѣ, чиновника, главная задача котораго это — понравиться пославшему? Съ одной стороны, заволжская сволочь, съ другой — доблестные петербургскіе генералы, *die erste Kolonne marschirt... die zweite Kolonne marschirt...*; Развѣ это исторія? Пусть Татьяна, опрысканная живой водой чародѣемъ Чайковскимъ, поетъ мнѣ о своей любви на утренней зарѣ, когда «пастухъ играетъ», но я рѣшительно возмущаюсь, когда при мнѣ начинаютъ рубить такіа поэтическіа котлеты, какъ

Играй, Адель,
Не знай печали!
Хариты, Лель
Тебя вѣнчали... и т. д.

Пусть еще вѣка трубитъ Русланъ въ свой боевой рогъ чудныя мелодіи Глинки¹⁾, но «повѣсти Бѣлкина», всѣ эти «Выстрѣлы», «Дубровскіе», «Барышни-крестьянки» для меня безвозвратно устарѣли и развѣ только въ минуты меланхоліи можно съ грустью осторожно перелистывать эти пожелтѣвшія страницы, вспоминая то, чего уже нѣтъ, какъ въ пустынныхъ аллеяхъ покинутой усадьбы, въ которой никто уже не живетъ...

Я готовъ еще и еще перечитывать изумительныя страницы Достоевскаго въ его романахъ-откровеніяхъ, но для чего мнѣ нуженъ его «Дневникъ писателя», который если и говорить о чемъ, то только о томъ, что и великіе таланты могутъ говорить вещи обыкновенныя?

И именно потому, что я безгранично люблю, безгранично наслаждаюсь Толстымъ, именно поэтому-то я никогда и не напечаталъ бы рядомъ съ «Хаджи-Муратомъ» — «Фальшиваго купона» и рядомъ съ «О. Сергіемъ» — «Свѣтъ и во тьмѣ свѣтитъ»...

Художественное творчество — радость, счастье, а мы сдѣлали изъ него тяжкіа цѣпи полныхъ собраній сочиненій, мы изъ какого-то ложнаго и немножко даже притворнаго благоговѣнія предъ любимымъ писателемъ — мертвымъ, онъ уже ни-

¹⁾ Мы должны ясно отдавать себѣ отчетъ, что тотъ Онѣгинъ или Русланъ, которыхъ мы теперь любимъ, созданъ столько же Пушкинымъ, сколько Чайковскимъ и Глинкой, артистами и даже отчасти режиссерами нашихъ театровъ. Это уже трудъ коллективный...

сколько въ этихъ знакахъ подданничества и не нуждается, вѣдь . . . — строимъ ему изъ его же писаній какой-то высокаторжественный саркофагъ въ сорока томахъ. Будемъ изъ уваженія къ нимъ искренни предъ ними и предъ самими собой: то, что умерло въ нихъ, зароемъ съ уваженіемъ на страницахъ исторіи, а то, что живеть, — да живеть, освобожденное отъ дорожной пыли и могильнаго праха. Какъ фениксъ, писатель, стора въ огнѣ время, долженъ вновь и вновь возрождаться изъ пламени очищеннымъ, просвѣтленнымъ и вѣчно юнымъ. . .

Но кто же займется этимъ отборомъ жемчуга изъ — извините за прямое слово! — навозной кучи исписанной писателемъ бумаги?

Разумѣтся, не невѣжественный и жадный издатель, которому пріятны эти саркофаги въ сорокъ томовъ: чѣмъ саркофагъ помпезнѣе и тяжелѣе, тѣмъ выгоднѣе.

Разумѣтся, не академіи. Именно академіи-то и занимаются, главнымъ образомъ, этимъ балъзамированіемъ писательскихъ труповъ — посмотрите, какія могилы соорудила наша академія тому же Кольцову, вольному жаворонку степей, или Никитину, просто и мило, точно на пастушеской жилейкѣ, воспѣвшему родную природу! . . . Именно академики-то и оставляютъ свои не всегда чистые слѣды на вдохновенныхъ страницахъ, въ родѣ того «примѣчателя», который осквернилъ своими примѣчаніями чистыя воды вольнаго и бурнаго, какъ горный потокъ, Лермонтова.

И Терекъ, прыгая, какъ львица
Съ косматой гривой на хребтѣ . . .

— бурлить, опьяненный красотой Кавказа и своего стиха, Лермонтовъ. «Постойте, постойте, виновать . . . — вмѣшивается примѣчатель. — *Это обмолвка поэта: извѣстно, что львицы гривы не имѣютъ . . .*»

И обданный этимъ ушатомъ холодныхъ примѣчаній, бѣдный читатель невольно съ грустью думаетъ: «пусть ужъ львицы Лермонтова имѣютъ не только гривы, но даже по два хвоста, — только бы не высывались на этихъ страницахъ такъ некстати эти длинныя уши. . .»

Разумѣтся, невозможно для этого отбора созвать какой-нибудь вселенскій читательскій соборъ, хотя бы потому, что вкусы мѣняются каждый день. . .

Можетъ быть, лучше всего было бы разрѣшить этотъ вопросъ чисто-технически: надо издать всѣ вещи, даже самыя маленькія, до «играющей Адели» включительно, Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевскаго и другихъ Божьей милостью поэтовъ и художниковъ отдѣльными маленькими выпусками одинаковаго формата, — пусть библиофилы и академики сооружаютъ изъ нихъ пирамиды полныхъ собраній сочиненій, въ которыхъ и упокоютъ мертваго для нихъ писателя, а мы любовно отберемъ себѣ то, что намъ дѣйствительно дорого, составимъ каждый себѣ своего живого Пушкина, своего живого Гоголя, своего живого Толстого, каждый для себя создадимъ a thing of Beauty, которая, по словамъ Рэскина, и будетъ для насъ a joy for ever. . .

А писатели маленькіе и средніе пусть сами, еще при жизни, отберутъ для будущаго свое лучшее, никогда не забывая великую истину: чѣмъ меньше отъ нихъ останется, тѣмъ лучше для людей и *прежде всего для нихъ самихъ*. Право, потомство будетъ намъ очень благодарно, если мы не будемъ рассказывать ему въ сорока томахъ, какъ мы видѣли на нижегородской выставкѣ «ученаго» тюленя и какъ мы записочками ласково звали нашихъ знакомыхъ попить чайку или разсуждали съ ними о XII или XX передвижной выставкѣ. . .

Боюсь только, что не найдется писателей ни маленькихъ, ни среднихъ и всѣ, сопричисливъ себя къ лику безсмертныхъ, скромно предоставятъ дѣлать этотъ отборъ благодарному и изумленному потомству. . .

Venus Victrix.

Я не помню имени того европейскаго — кажется, нѣмецкаго — скульптора, который создалъ чудную группу: предъ обнаженной женщиной стоитъ на колѣняхъ, въ повѣ безконечнаго обожанія, мужчина. Точно въ отвѣтъ на это прелестное произведение Роденъ далъ свою группу «l'Eternelle Idole»; въ ней идолъ — мужчина, а поклоняется ему, полная восторга, женщина. Намъ, мужчинамъ, кажется, что нѣмецкій художникъ болѣе правъ, что вѣчный идолъ міра это не мужчина, а женщина, — можетъ быть, потому, что трудно намъ, слишкомъ хорошо знающимъ себя, представить себя въ положеніи идола. Правда, конечно, лежитъ въ совокупности обѣихъ этихъ концепцій: это лишь двѣ точки зрѣнія на то громадное, таинственное, прелестное и страшное явленіе въ жизни, которое называется половымъ чувствомъ или — какъ ни мало это нравится милому дѣдушкѣ Толстому — любовью. . .

Все человѣчество, съ самыхъ раннихъ временъ до насъ, въ отношеніи любви-побѣдительницы рѣзко раздѣлилось на двѣ неравныхъ части: одна, огромная, вмѣстѣ съ поющими птицами, благоухающими цвѣтами, безъ борьбы покорными страсти животными, словомъ, со всѣмъ міромъ живыхъ, радостно, восторженно склоняетъ колѣни предъ изукрашеннымъ всей роскошью поэзіи и искусства престоломъ; другая, ничтожное меньшинство, одѣвшее на душу власяницу и питающая ее акридами старыхъ писаній, взбунтовалась, не желая покоряться капризной власти могучей богини, и прокляло и вотъ уже тысячелѣтія проклинаетъ ее на всѣхъ перекресткахъ. Они, бунтовщики эти, ставятъ ни во что погибельныя утѣхи тѣла, не желая понять, что погибельность не есть необходимое условіе утѣхи; имъ не нужны пестрые свадебные хороводы бабочекъ надъ цвѣтущимъ лугомъ, не нужны весеннія зори, какъ жемчугами перевитыя соловьиною пѣсню, не нужны страстныя черныя ночи, — они хотятъ полнаго торжества свѣтлага, какъ имъ кажется, духа человѣческаго надъ сумрачнымъ, какъ имъ кажется, полнымъ всякаго зла, царствомъ праха.

Эти неумирающіе евангелскіе старцы возстали, но на протяженіи вѣковъ, тысячелѣтій человѣческой исторіи мы нигдѣ и ни въ чемъ не видимъ ясныхъ и несомнѣнныхъ слѣдовъ ихъ побѣды — напротивъ, попрежнему цвѣтутъ цвѣты и сіяютъ звѣзды, и звенитъ солнечная зеленая земля милымъ дѣтскимъ смѣхомъ и веселыми голосами. А если случайно мы отдернемъ ту темную, сумрачную завѣсу, которою отгородились они отъ цвѣтущаго жизнью солнечнаго міра, — въ житіяхъ святыхъ, во флореровскомъ «Искушеніи св. Антонія», въ изуродованныхъ г. Чертковымъ дневникахъ Толстого, — мы видимъ — увы! — не побѣдителей съ сіяющимъ челомъ, а самоистязателей, мучениковъ, превратившихъ свою жизнь въ одну сплошную, неизбывную муку борьбы . . . безъ всякой надежды на побѣду! Они могутъ побѣдить на мигъ, но только для того, чтобы потомъ снова и снова «пасть».

И какъ они противорѣчатъ себѣ! Они прокляли вѣчную богиню, властвующую надъ вселенной и даровавшую жизнь и имъ, но всѣ они, отъ Христа до Толстого, съ нѣжностью необыкновенной благословили дѣтей. Они, радуясь, вознесли плодъ, проклиная въ то же время дерево, принесшее этотъ плодъ, женщину, вѣчную Праматерь. . . И когда поближе заглянешь въ эти бунтующія души, то видишь, что на бунтъ подняло ихъ чувство какой-то личной обиды, затаенной ими въ своемъ, большей частью, хорошемъ, свѣтломъ, очень нѣжномъ сердцѣ. Женщина хороша уже потому одному, что отъ нея рождаются милыя дѣти, — казалось, должны были бы сказать они, но они видятъ, что женщина не такъ хороша, какъ бы имъ того хотѣлось въ ихъ тяжкомъ, тайномъ обожаніи ея; имъ хотѣлось бы, чтобы она была дѣйствительно лучезарной богиней, предъ которой они могли бы съ восторгомъ пасть

ницъ — этого восторга въ нихъ, большихъ художникахъ, океанъ, — но она не богиня, а только женщина: у нея иногда даже «изъ рта пахнетъ», жалуется Толстой, у нея просвѣчивающее джерси, она говоритъ глупости; она сама снимаетъ съ себя тотъ звѣздный вѣнецъ, которымъ они въ тайнѣ сердца своего вѣнчаютъ ее, и они, эти жадные до красоты, до безмѣрнаго поклоненія люди, бѣгутъ прочь, зарываются кто въ свои пещеры, кто въ дневники, бичуютъ свое тѣло непрерывными постами и молитвами, и вотъ, когда побѣда кажется имъ уже близкой, черной жаркой ночью, когда надъ тихой пустыней горять-переливаются яркія звѣзды, вотъ встаетъ предъ ними во всемъ блескѣ молодости и красоты прекрасная, какъ ничто на свѣтѣ, царица Савская — у каждаго изъ насъ есть своя царица Савская — и призывно раскрываетъ имъ свои объятія. Это — уже пораженіе и, чтобы утѣшить насъ, благочестивый біографъ, тоже святой, — св. Аванасій, — прибавляетъ, что подъ парчевыми одѣянными прекрасной царицы скрывались мохнатая нога съ козлиными копытцами, нога дьявола. . .

Но это былъ не дьяволъ, — это была женщина, даже только тѣнь женщины, дочери великой богини, отъ которой убѣжать некуда, ибо она властвуетъ и въ пещерахъ пустыни — тамъ, можетъ быть, сильнѣе всего, потому что въ пустынѣ ей помогаетъ еще и воображеніе, — и въ морскихъ глубинахъ, и въ надзвѣздныхъ мірахъ, всюду. И борьба съ ней напрасна уже потому одному, что побѣдить ее значило бы побѣдить вѣчную жизнь.

Старцы предполагаютъ, что побѣда надъ богиней будетъ какою-то новою, свѣтлою, надмірною жизнью, но — увь! — все это свидѣтельствуется только о томъ, что и старцы, сами того не подозревая часто большіе поэты. Эта ихъ новая жизнь, какъ и лубочныя картинки, изображающія адъ и горящихъ въ немъ грѣшниковъ, и нирвана Будды, и Елисейскія Поля съ ихъ лугами асфоделей и миртовыми рощами — только красивая поэма, прекрасная фантазія, чарующій миражъ, не больше.

Жизнь едина — и потому другой и нѣтъ — и побѣдить ее можетъ только смерть. Да и то едва ли: до сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, и смерть ее не побѣдила. . .

Вѣдь, если есть для чего-то въ жизни чума, холера, проказа, сыпной тифъ, зубная боль, боли родовыя, разрывныя пули, и шрапнель, и удушливые газы, то не въ правѣ ли человекъ для того, чтобы имѣть силы жить, уравнивать всѣ эти страданія, всѣ эти ужасы цвѣтами нашихъ маленькихъ, пусть даже, какъ говорятъ мудрецы, преходящихъ, радостей? Не можетъ быть, чтобы эта коротенькая жизнь наша была дана намъ для того, чтобы мы всячески ломали и коверкали ее въ ожиданіи себѣ за эту глупость награды въ какой-то иной жизни! Несомнѣнно, она дана намъ для радости, для радованія, для свѣтлаго блаженства. Пусть даже Авторъ жизни, — не настоящій, не Великій Невѣдомый, а тотъ, котораго придумали старцы, — дѣйствительно, далъ намъ нелѣпую задачу оплевать и цвѣты, и звѣзды, и улыбки женщинъ, опозорить красоту, измучить себя, пусть, это его дѣло, а мое дѣло — возстать противъ бессмысленныхъ распоряженій этого тупого и злого идола, выдуманнаго старцами, испортить его проклятый замыселъ въ самомъ корнѣ, помѣшать ему, возрадовавшись *этою* жизнью до конца, до дна, до опьяненія, до восторга. . . Для чего буду я созерцать разложившійся трупъ или обглоданный временемъ гладкій черепъ, когда вокругъ меня росистый лугъ, въ голубомъ нѣжномъ небѣ воздушныя замки облаковъ, а рядомъ со мною та, милая, безцѣнная, которая для меня краше и дороже всего? Для чего буду я вдыхать тяжелый запахъ склепа, когда вокругъ меня цвѣтутъ ландыши и такъ вольно и легко льется въ душу свѣжій ароматъ сосны? Пусть уши мои ласкаетъ ея нѣжный смѣхъ, пусть руки мои наслаждаются шелкомъ тяжелыхъ косъ ея, пусть свѣжій, пахучій вѣтеръ ласкаетъ и нѣжитъ мое живое, радую-

щеся тѣло!.. Пусть иногда прозвучитъ для меня и надгробное рыданіе, пусть иногда и тѣло мое, и душа корчатся отъ боли, пусть непогоды жизни больно хлещутъ мнѣ въ лицо, — я принимаю и это, такъ какъ... безъ тѣней нѣтъ картины! Я принимаю, но и принимая, я все же знаю, что жизнь — въ радованіи...

Одинъ изъ еивандцевъ, старенькій Карлейль, говоритъ гдѣ-то, что всѣ эти любовныя дѣла — такой пустой вздоръ, что въ героическія эпохи никто не даетъ себѣ труда и думать объ этомъ. «Это звучитъ гордо», конечно, но это — только красивыя слова. Что-то никто изъ насъ, и въ томъ числѣ и самъ Карлейль, никакъ не можетъ вспомнить, когда же были такія героическія эпохи. Какъ будто онѣ никогда и не существовали... Болѣе тонкій и правдивый Анатолий Франсъ, отвѣчая старенькому Карлейлю, говоритъ, что, напротивъ, ему кажется, что вся природа и не имѣетъ никакой иной цѣли, какъ бросать живыя существа въ объятія одно къ другому, чтобы дать имъ испытать между двумя безднами небытія мимолетную сладость поцѣлуя.

И изъ мимолетной сладости этой рождается жизнь, эта прелестная, пестрая, вѣчная сказка. Пусть иногда намъ даже кажется, что это — только сказка про бѣлаго бычка, но... все же какая красивая это сказка!..

Снѣжные шары.

Я сижу за своимъ рабочимъ столомъ и пишу. И вижу въ окно, какъ ребяташки, возясь на свѣже-выпавшемъ, такомъ ослѣпительномъ и пахучемъ снѣгу, катаютъ огромные шары изъ этого влажнаго снѣга, шары огромные, безобразные и — бесполезные. И сколько озабоченности на этихъ покраснѣвшихъ, вспотѣвшихъ личикахъ, сколько тутъ труда, сколько соревнованія самолюбій!.. А завтра отъ всѣхъ этихъ шаровъ не останется и слѣда...

Пирамиды Египта, средневѣковые замки на неприступныхъ скалахъ, раззолоченное, окровленное и закопченное дымомъ костровъ панство, башня Эйфеля, московскій кремль, сложнѣйшія тысячелѣтнія философскія системы, культы, революціи, гигантскій и страшный, какъ Вавилонъ, Лондонъ или Чикаго — все это — увы! — тоже только снѣжные шары. Много труда, много заботъ, много бессонныхъ ночей, много, конечно, крови вложили во все это ребяташки-люди, но завтра отъ этого не останется и слѣда...

Намъ кажется понятнымъ, что вотъ прошелъ и Вавилонъ, и Египетъ, и желѣзный Римъ со своими легионами, и рассыпались божественно-прекрасные храмы Греціи, и развалился Колизей, но намъ почти невозможно представить себѣ, прочувствовать до конца, до полной осязаемости мысль, что то, что есть, также пройдетъ, какъ и то, что было, что торопливымъ шагомъ мы идемъ уже, чтобы присоединиться «въ сѣни смертной» къ Ниневіи и инкамъ, идемъ со всѣми нашими пирамидами, аэропланами, богами, безумствами и надеждами. Могъ ли чувствовать ничтожество Рима римлянинъ времянь Августа или грекъ времянь Перикла, на глазахъ котораго расцвѣталь на безплодной скалѣ несравненный, золотой цвѣтокъ Акрополя? Такъ же трудно это и намъ — помилуйте: Парижъ, палата депутатовъ, цепелины, беспроволочный телефонъ на тысячи верстъ, Анри Бергсонъ, Толстой, дредноуты!.. А понять до конца, почувствовать ярко, до содроганія, вѣяніе великаго Ничто надъ нашими головами, ярко вызвать въ своемъ воображеніи мшистыя развалины Нью-Йорка, Лондона и Парижа, развалины, въ которыхъ на солнышкѣ грѣются только ящерицы, совер-

шенно необходимо — только тогда отлететь поселившіеся въ нашихъ душахъ вампиры излишнихъ заботъ, только тогда, можетъ быть, зацвѣтетъ наша жизнь, какъ лугъ, покрытый лиліями полей и полный пѣсенъ птицъ небесныхъ. . .

Когда міръ былъ молодъ. . .

Съ одной стороны, мы — или, по крайней мѣрѣ, тѣ изъ насъ, что поумнѣе, — знаемъ, въ концѣ-концовъ только то, что мы ничего не знаемъ и никогда не узнаемъ, но, съ другой стороны, мы знаемъ черезчуръ много. Куда, въ какую даль я ни поѣхалъ бы, отправляясь, я знаю уже почти все, что я тамъ увижу. Я знаю, что, выѣхавъ изъ Одессы на югъ, я проѣду узкимъ Босфоромъ въ Константинополь, гдѣ живутъ турки, я знаю о Магометѣ, и о младо-туркахъ, и о положеніи турецкой женщины, и о томъ, какъ и когда и откуда появились тутъ турки, и о Византіи, и о планахъ германцевъ на Ближнемъ Востока. Я знаю, что дальше будетъ темно-голубое Эгейское море и, когда вдали на сѣрой скалѣ я увижу очертанія аеинскаго Акрополя, мнѣ не нужно будетъ говорить, что это. Я знаю о Сократѣ, Платонѣ, Аристотелѣ, о персахъ, о Праксителѣ, о трагикахъ, о нравахъ спартанцевъ, о Венизелосѣ, о Сафо, объ элевзинскихъ мистеріяхъ. . . Я ѣду дальше и знаю навѣрное, что встрѣчу я въ Палестинѣ, въ Египтѣ, въ Индіи, на крошечныхъ островкахъ, затерявшихся среди безбрежнаго простора Тихаго океана, о рисѣ, слонахъ, пальмахъ, индусахъ, кастахъ, тиграхъ, Буддѣ, Ведахъ, летучей рыбѣ, Шри-Шанкарѣ, циклонахъ, Конфуціи, о роли англійскаго капитала въ Индіи, о чайныхъ плантаціяхъ, о колесницѣ Джагернаута, объ экспедиціи къ южному полюсу, о политическомъ и социальномъ устройствѣ Новой Зеландіи, о глубинѣ Великаго океана, о краснокожихъ, о трестахъ, о Маркѣ Твенѣ и Бичеръ-Стоу, о Вандербильтѣ, о Ніагарѣ, о духоборахъ. Я знаю миллионы такихъ разнообразныхъ вещей, которыхъ даже и перечислить невозможно. . . И потому, куда бы я ни поѣхалъ, я заранѣе знаю, что ничто уже не въ состояніи поразить меня тамъ, за этой голубой полоской «волшебницы дали», которая раньше, въ дѣтствѣ, такъ манила, такъ звала, общала такъ страшно много. . .

Ахъ, какъ завидую я человѣку, который жилъ въ тѣ времена, когда міръ былъ еще молодъ! . . . Какъ завидую я какому-нибудь Язону, который со своими аргонавтами ѣхалъ за золотымъ руномъ въ далекую, и страшную, и манящую Колхиду. . . Что ни ударъ весель, то новый міръ, что ни шагъ впередъ, то новое очарованіе! . . . И мало еще того, что онъ видѣлъ, — надо принять во вниманіе и то, что ему казалось, что онъ видѣлъ. Я вотъ знаю, что вонъ то просто лунный свѣтъ играетъ на успокоившихся волнахъ, что это вечерній бризъ поетъ въ снастяхъ, а онъ знаетъ, что это играютъ вдали свѣтлые хороводы наяды, что это поютъ сирены; я знаю, что пригвожденный къ скалѣ Прометей существовалъ только въ мозгу даровитаго грека, создавшаго его, а грекъ, причаливъ къ берегамъ Колхиды, жадно искалъ глазами ту скалу, на которой страдалъ этотъ титанъ-благодѣтель. Среди голубыхъ горъ, увѣнчанныхъ коронами изъ литого серебра, онъ съ трепещущей душой искалъ золотого руна, а я знаю, что нѣтъ уже тамъ никакого золотого руна, если, впрочемъ, подъ красивымъ именованіемъ этимъ не разумѣть акціи бакинскихъ нефтепромышленниковъ. . .

Для него міръ былъ безконечно великъ, для насъ земля только большая квартира, пусть хотя бы съ выходомъ въ безконечность. Для насъ земля уменьшилась до смѣшного и страшно опошлѣла: намъ надо уже дѣлать большое усиліе, чтобы,

любуюсь вершинами, надъ которыми когда-то изгнанникъ рая пролеталъ, гдѣ когда-то искалъ золотого руна Язонъ со своими дикими товарищами, не вспомнить о бакинскихъ аргонавтахъ, о положеніи рабочихъ на ихъ промыслахъ, чтобы забыть, какъ усмиряли наивные бунты индусовъ англійскіе капиталисты, что дѣлаютъ среди слоновъ и пальмъ въ своихъ африканскихъ владѣніяхъ германцы. Нужно забыть очень и очень многое, чтобы не сквернить міра постыдными воспоминаніями, чтобы имѣть возможность хоть немного отдохнуть предъ лицомъ красоты его. . . Пестрая, наивно-шумная жизнь земли много теряетъ въ своей красотѣ и прелести, когда знаешь, что дѣлается за кулисами.

Да и не только Язону радостно и свѣжо жилось въ безконечно-огромномъ, такъ ярко окрашенномъ, такомъ новомъ мірѣ, — даже Колумбъ засталъ еще эту молодость земли, даже наши безграмотные старообрядцы, искавшіе по огромному для нихъ свѣту таинственную Бѣловодію. А мы, мы черезчуръ много знаемъ. . .

Да, впрочемъ, что же это я? Я совсѣмъ забылъ — а вѣдь это было такъ недавно! . . — о томъ времени, когда я, босоногій мальчуганка въ красной рубашонкѣ, подъ сводами стараго темнаго лѣса слушалъ съ замирающимъ сердцемъ дикое раскатистое уханье лѣшаго, видѣлъ, какъ дрожить и серебрится вода, разбуженная плеснувшей въ омутѣ русалкой, когда я видѣлъ, какъ серебрястые ангелы каждый вечеръ зажигаютъ въ темномъ небѣ золотыя лампы предъ престоломъ добраго Боженьки. . . А міръ — Господи, какъ былъ онъ тогда свѣтелъ, какъ упоителенъ, какъ огроменъ! . . Когда я, карапузъ, ѣхалъ, бывало, изъ своей деревни въ городъ за двадцать верстъ, я испытывалъ не меньше впечатлѣній, чѣмъ Колумбъ, ѣхавшій въ Америку, Язонъ въ Колхиду, и таинственная Бѣловодія была для меня за каждымъ перелѣскомъ. . .

Міръ былъ прекрасенъ и молодъ не только при Язонѣ, тысячи лѣтъ тому назадъ — онъ вѣчно юнъ, вѣчно огроменъ, вѣчно новъ. Старѣетъ не міръ, а мы. Удивительный древній мифъ о сатанѣ-искусителѣ повторяется на землѣ миллионы, миллиарды разъ, повторяется ежедневно, и все никакъ не можетъ бѣдный человѣкъ понять, что лжетъ змѣй-искуситель, вкрадчиво шепчущій ему въ уши: «съѣшь вотъ только это яблоко съ древа познанія, и ты, подобно Богу, будешь знать все. . .» Человѣкъ беретъ запретный плодъ, вкушаетъ и — вдругъ исчезаетъ вся пестрая райская сказка жизни, улетаютъ ангелы со своими фонариками, прячется за непроходимыя тучи въ бездонной глубинѣ неба добрый Боженька, весь міръ вянетъ, какъ сорванный цвѣтокъ, и вмѣсто жизни-очарованія, жизни-сказки вотъ предъ человѣкомъ безбрежная сѣрая пустыня, въ которой, треща сухими костями, пляшутъ страшныя черти и безобразныя вѣдьмы: Законъ борьбы за существованіе, акціи Нобеля, Капитализмъ, Атеизмъ, Пауперизмъ, Имперіализмъ, Жадность, Чванство, борьба классовъ, темнота обездоленныхъ, тысячелѣтнія безплодныя усилія рабовъ, тысячелѣтнія и безплодныя усилія разума, — безъ конца, безъ конца. . .

— А гдѣ же всезнаніе, что обѣщаль ты?

— Это вотъ оно и есть . . . — съ язвительной усмѣшкой отвѣчаетъ обманщикъ.
— Это все.

Контрасты.

Разрѣшеніе проблемы теодицеи — оправданія зла — возможно только съ эстетической точки зрѣнія на жизнь. Картина жизни сплетена изъ контрастовъ и безъ контрастовъ — нѣтъ картины. Свѣтъ оправдываетъ тѣни, а тѣни выдѣляютъ свѣтъ.

И какъ ни протестуетъ противъ этого сердце — ему не хотѣлось бы тѣней, — изъ этого не выйдешь. Безъ бабы-яги нѣтъ сказки, какъ обмолвился Горькій.

И чтобы не очень бунтовать, надо выучиться подходить къ жизни со стороны ея художественнаго цѣлага, — но не только ко всей жизни, но и къ отдѣльному явленію ея, къ каждому человѣку. Возьмемъ, на примѣръ, Плюшкина, — что это за ужасъ, что за нестерпимое безобразіе, если смотрѣть на него съ простой, скажемъ, сосѣдской точки зрѣнія, но въ художественной обработкѣ тотъ же Плюшкинъ — перлъ. Художникъ переработалъ его, раскрылъ тѣ скобки, за которыми прячется всякій человѣкъ, объяснилъ — и негодование улеглось, и намъ уже только жаль его. А что такое жалость, какъ не особая форма любви?

Представьте себѣ землю, ровную, ровную и всю обдѣланную въ одинъ сплошной зелененькій, аккуратненькій, чистенькій, подстриженный англійскій паркъ, въ которомъ разбросаны миленькіе, чистенькіе, аккуратненькіе коттеджи, а въ нихъ живутъ, на примѣръ, преподобные толстовцы, которые не кушаютъ телятины, или, на примѣръ, эти масляные баптисты, которые все читаютъ библію и всячески стараются скрыть подъ своимъ усиленнымъ благообразіемъ отъ людей да и отъ себя, что они тоже живые люди. Для меня пріятнѣе каторга, потому что въ каторгѣ жизнь, а тутъ только зелененькое, чистенькое, подстриженное подобіе ея, фальсификація. И какъ радостно, что земля наша не англійскій садикъ, что за шумной, похожей на огромную мастерскую, Европой идетъ покрытое печальными и прекрасными развалинами Средиземноморье, а тамъ — бесплодная, унылая, усѣянная мертвыми костями Сахара, все же, однако, расцвѣченная зелеными оазисами, изъ которыхъ можно видѣть, какъ миражъ плететъ вдали свои причудливыя грезы, а тамъ, дальше — плодоносная, пышная долина стараго Нила, а за ней могучій, буйный океанъ и сказочная Индія, гдѣ цвѣтутъ въ тишинѣ священныхъ прудовъ таинственные лотосы; еще дальше — ворвались дерзко въ небо Гималаи съ серебряными коронами на головахъ и кельями отшельниковъ-аскетовъ по склонамъ, покрытымъ кедровыми лѣсами; за горами — пустынная, угрюмая Сибирь и холодное царство полярныхъ льдовъ, надъ которыми дрожить и зыблется сѣверное сіяніе, и могучій ушкой смотреть на него равнодушными глазами и, повернувшись къ нему спиной, алеутъ поетъ унылую, унылую пѣсню. . . Бѣшеная роскошь красокъ, богатство сверхъестественное, разнообразіе непостижимое, контрасты ужасающіе, а въ цѣломъ — чудная поэма, наша земля, а надъ землею еще сверхъ того — дивное небо. . .

Такъ и въ жизни и человѣчества, и человѣка: за печальными, бесплодными пустынями идутъ цвѣтуція долины, полныя веселаго шума труда, и пѣсень, и любви, и таинственные, темно-бездонные океаны смѣняются дерзкими взлетами въ небо, за которыми идутъ сумрачныя, какъ тайга, мертвыя, какъ полярныя льды, печали. . .

Остановись на Плюшкинѣ, на Собакевичѣ, на клочкѣ мертвой сѣрой пустыни, усѣянной побѣлѣвшими трухлявыми костяками павшихъ животныхъ, — и жить какъ будто и не зачѣмъ; облети все въ цѣломъ, — въ душѣ свѣтлая радость и благодарственные гимны.

Ну, а какъ чувствуютъ себя тѣ, что служатъ въ картинѣ мертвыми контрастами? Боже мой, да что же мнѣ дѣлать? Я вѣдь не Богъ, я только слабый мотылекъ, котораго завтра не будетъ, и мотылекъ притомъ знающій исторію, знающій, что тысячелѣтнія усилія людей въ борьбѣ съ «контрастами» не уничтожили ихъ. Только вчера на нашихъ глазахъ произошла, на примѣръ, страшная катастрофа: не вѣка, а тысячелѣтія нужны были, чтобы образовалась европейская демократія, отъ которой все мы ждали столько, на которую такъ надѣялись. И что же, по мановенію руки

какой-то безымянной шайки демократія эта однимъ махомъ разбила свои скрижали Новаго Завѣта и съ воинственными пѣснями бросилась на рѣзню!.. И все надо начинать сначала, всю эту упорную египетскую работу, и выбиваться изъ силъ, пока не явится какой-нибудь новый воинственный анонимъ и не сломаютъ однимъ дуновеніемъ всей нашей работы, какъ какой-нибудь карточный домикъ. . .

И помню я, шелъ я разъ Кампаньей, пустынной и грустной. Была ранняя весна и нѣжныя маргаритки уже улыбались солнышку среди мертвыхъ тысячелѣтныхъ камней. У подножія одного изъ гигантскихъ столповъ, поддерживавшихъ акведукъ, среди маргаритокъ, на солнышкѣ, на тысячелѣтныхъ камняхъ я увидѣлъ двухъ мальчиковъ, красивыхъ, милыхъ, но въ страшныхъ лохмотьяхъ, — они пасли тутъ стадо козъ. Одинъ изъ нихъ спалъ на землѣ, и грѣло его солнышко, и обдувалъ вѣтерокъ, и носились въ душѣ его древніе-древніе сны, которые снились здѣсь людямъ еще во времена Ромула; а другой, потерявшій глазами въ голубой дали Сабинскихъ горъ, игралъ на рожкѣ какую-то прелестную пѣсенку, такую задумчивую, грустную. . . Конечно, жаль, что на нихъ нѣтъ чистаго платья отъ хорошаго портного, что они не ходятъ въ университетъ, да, но за то тѣ, кто ходятъ въ хорошемъ платьѣ въ университетъ, не спали такъ вотъ на теплой землѣ, на солнышкѣ, среди маргаритокъ, и не пѣли грустныхъ пѣсень среди грустныхъ развалинъ Кампаньи. . . Конечно, у Плюшкина есть имѣніе въ тысячу десятинъ, и души живыя есть, и души мертвыя, — да, но въ то время, какъ его живыя души пляшутъ въ веселомъ хоро-водѣ весеннимъ вечеромъ, когда въ цвѣтушихъ садахъ поютъ соловьи, а надъ черной землей зажигаются тихія звѣзды, Плюшкинъ въ это время вытаскиваетъ изъ своего ликера козявокъ, не замѣчая, что козявками этими полна не только эта бутылка дрянного питья, но и вся его червивая жизнь. . . Конечно, Собакевичъ жретъ жирныхъ осетровъ — вещь очень вкусная, — а мальчишки-пастухи и поленты достаточно не имѣютъ, но мальчишки умѣютъ играть на дудкѣ, а Собакевичъ — только Собакевичъ и, кромѣ того, у него очень часто болитъ животъ отъ обжорства. . .

Чѣмъ провинился бѣдный Собакевичъ предъ Хозяиномъ жизни, — если Онъ занимается людскими дѣлами, — чѣмъ виноватъ несчастный Плюшкинъ, за что страдаютъ люди въ окопахъ и бѣдныя голодающія дѣтки по трущобамъ, — я не знаю, какъ не знаю и то, что сдѣлать, чтобы ничего этого не было: всѣ средства, которыя предлагались для этого въ теченіе тысячелѣтій, оказались не дѣйствительными, ибо если бы хоть одно изъ нихъ было дѣйствительно, то ничего бы этого и не было. . . И приходится заключить, что выхода и нѣтъ. Повторяю: не то, что улучшить нашу жизнь совсѣмъ нельзя — я думаю, что немножко можно, если постараться, — но изъ контрастовъ-то, кажется, намъ выйти не удастся, ибо мы не «сыны Божіи», какъ увѣрялъ насъ Толстой, не «сыны погибели», какъ увѣряютъ разные «ревнителі вѣры», а только — сыны человѣческіе, люди, а не боги. . .

И не знаю, какъ кто, но я на Олимпъ и амврозію нашей бѣдной земли не промѣ- нялъ бы! . .

Книги.

И зачѣмъ, зачѣмъ мы столько пишемъ? Зачѣмъ мы вообще пишемъ?

Деньги? Нѣтъ, для меня это не главное. «Полезно»? Не вѣрю. Слава? У меня уже сѣдая голова. Славой пользовался и Толстой, и генераль Скобелевъ, и Варя Панина, и Иванъ Кронштадскій, и Златовратскій, и Распутинъ — компанія слиш- комъ пестрая, чтобы можно было находить въ ней удовольствіе. И что мнѣ въ томъ,

что послѣ моей смерти мнѣ поставятъ на Тверскомъ бульварѣ чугунный памятникъ — какъ всегда, страшно безобразный, — вокругъ котораго по ночамъ будутъ шмыгать, продавая себя, больныя, не всегда сытыя проститутки? . . .

Я пишу потому, что и радъ бы не писать, да не могу —

Ich singe wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnt . . .

Литература подобна звѣздному небу: звѣзды рождаются и, «разнествуя во славу», умираютъ, умираютъ и вновь рождаются. Вотъ сверкаетъ несравненно-прекрасный Орионъ въ своемъ золотомъ поясѣ, вонъ брошено брильянтовое ожерелье Стожарь, вотъ мрачнымъ огнемъ горитъ умирающій Сиріусъ, тамъ дрожитъ, какъ слеза, прелестная Венера, тамъ едва свѣтитъ Полярная и тысячи мелкихъ звѣздъ, имени которыхъ я не знаю. Среди всего этого великолѣпія сыллется золотой дождь стремительныхъ метеоровъ, а надъ созвѣздіями, планетами и метеорами, уже утопая въ безконечности, свѣтится серебристо-мутнымъ свѣтомъ Млечный Путь, сотканный изъ миллиардовъ созвѣздій. . .

Такъ и наши книги: огромное большинство ихъ — только метеоры, лишь одно мгновение играющіе на небѣ жизни огненной красотой и быстро исчезающіе навсегда въ пучинѣ невѣдомаго; другія задерживаются почему-то — и никто не скажетъ, почему, — дольше, третьи горятъ и дивятъ своей красой человечество цѣлые вѣка, тѣ уже едва мерцаютъ, а тѣ уже совсѣмъ умерли и забыто даже самое имя ихъ — вѣчныхъ книгъ нѣтъ, какъ нѣтъ ничего вѣчнаго подъ нашимъ невѣчнымъ солнцемъ на невѣчной землѣ. . . И за всѣми этими золотыми письменами жизни тусклымъ огнемъ Млечнаго Пути свѣтится то, что уже безвозвратно ушло въ бездну вѣковъ и что рассмотреть можно уже только въ очень сильные телескопы: коллективный трудъ безымянныхъ авторовъ Илиады, ведическихъ гимновъ, нашихъ былинъ, скандинавскихъ сагъ, «Книги Мертвыхъ» Египта. . .

А разъ это такъ, разъ вѣтеръ вѣчности уноситъ въ пучину невѣдомаго одинаково и нѣжные вздохи поэта, записанные на веленовой бумагѣ, и тяжкія каменные скрижали Моисея, и цѣлые царства и народы, то о чемъ ужъ очень-то и заботиться? Зябликъ не записываетъ своей пѣсенки ни на веленовой бумагѣ, ни на каменныхъ плитахъ, и нисколько не беспокоится ни о ея, ни о своемъ безсмертіи, и, право, отъ этого и пѣсенка его, и самъ онъ только прекраснѣе. Пусть онъ радуется міръ — и себя — только одну короткую весну, но эта радость была, есть и довольно.

Да, будемъ пѣть

. . . wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnt . . .

Дѣти.

Засунувъ руки по локоть въ карманы, увѣренно уставивъ курносые носы кверху, гуськомъ идутъ они со мной въ толкотнѣ московскихъ тротуаровъ. Левушкѣ были интересны въ Москвѣ и воющіе трамваи, и шустрые автомобили, и это многолюдство, но ничто такъ не поразило его тутъ, какъ ломовые извозчики. Они, видимо, представляются ему какими-то особыми, героическими существами, и онъ всячески старается подражать имъ въ своихъ играхъ, крича «толстымъ» голосомъ на своего деревяннаго Пѣгашку и всячески мальтретируя его. . . Вотъ и теперь онъ положительно не сводитъ съ нихъ глазъ. . . Люся и Леночка круглыми отъ удивленія гла-

зами безцеремонно разсматривают неугомонную московскую толпу и особенно дамъ — «сколько бабъ и всѣ въ перьяхъ», говорятъ онѣ, — и безъ усталы упражняются въ новомъ для нихъ искусствѣ чтенія.

— Па, а почему это въ Москвѣ на каждомъ шагу все Чичкинъ, Чичкинъ, Чичкинъ? . . . — спрашиваетъ Люся.

— Чичкинъ это такой дядя, — говорю я, — который доставляетъ намъ молоко, яйца, масло, сыръ. . .

— Вотъ какой добрый . . . — послѣ небольшого молчанія умиленнымъ голосомъ говоритъ Леночка.

Идемъ дальше, довольные добротой Чичкина.

— Па, а что такое МГУ? — спрашиваетъ вдругъ Леночка.

Я соображаю — ага, понялъ: видѣла на трамваяхъ, на санитарныхъ повозкахъ. . .

— Мгу — значить московское городское управленіе . . . — говорю я.

— А что это такое?

— Это . . . это такіе дяди, которые заботятся о томъ, чтобы ходили трамваи, чтобы у насъ была вода, свѣтъ, чистыя улицы. . .

— И все это они дѣлаютъ?

— Нѣтъ, не они, но они заботятся, чтобы все это было сдѣлано во-время и какъ слѣдуетъ. . .

— Вотъ добрые! . . . — опять восхищается Леночка.

Меня рѣшительно смущаетъ такое превратное толкованіе московской жизни, но я не знаю, какъ изъ этого выпутаться.

— А для чего вездѣ столько полицейскихъ? — спрашиваетъ Люся.

— А чтобы вездѣ былъ порядокъ . . . и чтобы никто никого не обижалъ . . . и чтобы . . . ну, вообще, поставили ихъ и стоять. . .

Три курносыхъ носа съ явнымъ выраженіемъ симпатіи устремляются на браваго унтера съ медалями во всю грудь: они восхищены тѣми свѣтлыми обязанностями, которыя несетъ на своихъ плечахъ со жгутиками этотъ человекъ, стоящій на перекресткѣ двухъ улицъ. . .

О свободѣ мысли.

Ренанъ говорить:

«La qualité essentielle d'une personne (я бы сказала: d'un esprit) distinguée c'est le don de sourire de son oeuvre, d'y être supérieur, de ne pas s'en laisser obséder.»

Свобода совѣсти, мысли и слова восторжествуетъ не тогда, когда будетъ опубликованъ правительствомъ соответствующій актъ, не тогда, когда развалины Петропавловки и Суздальской крѣпости и соловецкихъ тюремъ порастутъ бурьяномъ и крапивой, — свобода совѣсти, слова и мысли восторжествуетъ только тогда, когда на входныхъ дверяхъ всѣхъ университетовъ, ученыхъ обществъ и редакцій, на обложкахъ всѣхъ брошюръ и книгъ, въ заголовкѣ всѣхъ газетъ и журналовъ будутъ стоять эти золотыя слова. Мысль, вложенная въ эти немногія слова, должна стать для cadaго изъ насъ священной формулой, которую мы должны читать каждое утро, какъ молитву. . .

Но не значить ли это, другими словами, что подлинной, настоящей свободы совѣсти, слова и мысли въ нашемъ мѣрѣ никогда не будетъ? . . .

Парадоксъ.

Немало молодыхъ лѣтъ отдалъ я тщетнымъ попыткамъ принять въ душу свою ученіе Христа, ученіе любви, и одинъ Богъ знаетъ, сколько въ моей душѣ было въ то время . . . ненависти! . . . Во всякомъ инакомыслящемъ человѣкѣ я, горячій Петръ, — что значить Камень, — видѣлъ Малха, которому и можно, и должно отрубить ухо во имя Господне. Въ моей душѣ постоянно тлѣли искры, которыя каждую минуту могли разгорѣться въ огромный, жаркій, хотя бы и чисто-идейный костеръ для «еретика» . . .

Это прошло. Я понялъ и принялъ въ душу великій законъ жизни, законъ равенства всѣхъ людей предъ заблужденіемъ. Раньше я говорилъ себѣ: я вижу, что этотъ человѣкъ заблуждается и тотъ тоже заблуждается, а я вотъ хожу въ истинѣ; теперь я говорю: я вижу, что этотъ человѣкъ заблуждается и тотъ тоже заблуждается, — слѣдовательно, я тоже, вѣроятно, заблуждаюсь, потому что я такой же человѣкъ, какъ и всѣ, потому что всѣ мы предъ лицомъ непостижимаго — брата и никакихъ помазанниковъ среди насъ нѣтъ. А если это такъ, то стоитъ ли навязывать людямъ свои заблужденія, стоитъ ли сердиться изъ-за того, чтобы люди непременно раздѣляли твои, а не какія-нибудь другія заблужденія?

Я искалъ любви и нашелъ ненависть; я отказался отъ всякихъ лозунговъ — и въ томъ числѣ отъ лозунга любовь — и я обрѣлъ легко спокойствіе и благоволеніе, отъ котораго если не до любви, то до жалости, состраданія — рукой подать. И теперь на ликъ Христовъ я могу смотрѣть не какъ виноватый Петръ съ окровавленнымъ мечомъ въ рукѣ, а спокойно и грустно, какъ Пилать, вопрошавшій: что же есть истина? . . . И, какъ Пилать, я умываю руки: вы можете во имя вашей истины терзать вашихъ праведниковъ, но я — я неповиненъ въ крови ихъ, именно потому, что я не знаю, въ чемъ истина. . .

О наслажденіи.

По мѣрѣ того, какъ бѣлѣетъ моя голова и тѣло все болѣе и болѣе чувствуетъ тяжесть пролетѣвшихъ годовъ, наслажденія мои, увеличиваясь числомъ, сами собой какъ-то все болѣе и болѣе упрощаются. Лѣтъ пятнадцать уже я не былъ въ театрѣ и меня не тянетъ туда. Я очень люблю музыку, но въ публичныхъ концертахъ толпа однимъ своимъ присутствіемъ настолько тѣснить, настолько угнетаетъ меня, что даже любимыя вещи мои кажутся мнѣ тогда какимъ-то деревяннымъ, безжизненнымъ, непонятнымъ шумомъ; музыка для меня музыка только въ уединеніи, въ тишинѣ — тогда только подъ звуки ея жизнь моя расширяется и углубляется безпредѣльно и на меня вѣетъ тайнами міровъ иныхъ. Я не утратилъ способности глубоко наслаждаться книгой, но все же часто я предпочитаю закрыть книгу и, думая, ходить изъ угла въ уголъ по моей тихой комнаткѣ. . .

Вотъ недавно, послѣ бессонной ночи, проведенной на охотѣ въ лѣсной пустынѣ, я на самой зорькѣ, усталый, возвращался домой уже посвѣтлѣвшими полями, мимо еще спящихъ деревень. Я былъ одинъ, я шелъ прямо навстрѣчу встающему изъ-за холмовъ солнышку, вокругъ меня зеленѣли озими и синѣли, клубясь туманами, дали, а за плечами у меня точно бѣлыя крылья выросли и несли, несли меня куда-то въ манящія дали, и я ушивался тишиной полей — «тишинѣ и солнце радо», удивительно сказалъ Никитинъ, — и въ душѣ пѣли нѣжные хоры ангеловъ. . .

А раннее зимнее утро, когда ты лежишь еще въ постели, а въ печкѣ, похлопывая заслонкой, урчитъ древній-древній огонь, а въ окно тихо смотритъ бѣлый сонъ зимы? И ни звука, ни одинаго звука кругомъ, точно ты одинъ во всей вселенной. . .

А непогожія осеннія сумерки, когда въ окна съ шумомъ хлещетъ холодный дождь, а у тебя въ комнатѣ такъ тепло, такъ уютно и думается такъ ясно и хорошо?

А полежать на теплой землѣ среди пахучей травы, глядя, какъ изъ-за старыхъ развѣсистыхъ березъ встаетъ надъ сѣро-зеленымъ бархатомъ полей огромная, нѣжно-золотая луна?

Гомеръ — какъ прекрасно отмѣтилъ В. В. Вересаевъ — не говоритъ о своихъ, герояхъ: поѣли, поспали, — онъ говоритъ: насладившись сномъ, насладившись пищей, ключевой водою. . . Какъ это глубоко! . . Именно: человекъ мудрый долженъ не придумывать себѣ утомительныхъ искусственныхъ наслаждений, а учиться находить наслаженіе во всемъ: во снѣ, въ ключевой водѣ, въ кускѣ простого хлѣба, въ радостномъ ходѣ просвѣтленными полями навстрѣчу солнышку. Жизнь должна быть подобна чашѣ, переполненной драгоценными камнями, чтобы, отходя на вѣчный покой, человекъ могъ радостно вздохнуть въ сознаниі, что онъ въ полной мѣрѣ «насладился днями» жизни своей. . .

„Чѣмъ хотѣлъ бы я стать?“

— Семистоклюсъ, говори: хочешь быть прокуроромъ?

— Хочу. . .

„Мертвыя души“.

Встрѣтилъ въ книжномъ магазинѣ Татьяну Львовну С. Разговорились о Левѣ Николаевичѣ, о «Ясной Полянѣ». . .

— Я все думаю иногда, чѣмъ бы еще сталъ Левъ Николаевичъ, если бы онъ прожилъ еще лѣтъ десять? — сказала я между прочимъ. — Я всегда ждалъ отъ него всякихъ неожиданностей. . .

Татьяна Львовна задумалась.

— Недавно я говорила съ братомъ Сережей приблизительно на эту тему, — сказала она. — Онъ вспоминалъ, какъ еще въ дѣтствѣ онъ читалъ съ гувернеромъ нѣмецкую книжечку «Was will ich werden?» и признался, что и до сихъ поръ онъ, сѣдой старикъ, не знаетъ еще, was er werden will. Увы, и я вотъ вся сѣдая уже, а все еще не уходилась, все еще тоже не знаю, чѣмъ бы я хотѣла стать. . .

Я съ большой симпатіей посмотрѣлъ на эту милую, не только умную, но и искреннюю женщину. . .

Вокругъ все Семистоклюсы, которые отлично знаютъ, что они хотятъ стать литераторами, актерами, прокурорами, попами, конторщиками, митрополитами, и — станутъ ими. Но Боже мой, какъ мало вокругъ людей, которые не знаютъ, чѣмъ они хотятъ быть! . . Вѣроятно, въ міровомъ хозяйствѣ нужны и Семистоклюсы. Можетъ быть, они и есть тотъ мертвый костякъ, скелетъ общества, на которомъ держится его живой теплый организмъ, всѣ эти уже сѣдые Гамлеты, которые не знаютъ, чѣмъ они хотѣли бы стать, и которые вносятъ въ жизнь тепло, углубленность, неожиданность и поэзію. . .

Богъ.

«Богъ, Богъ»... Но что такое этотъ мой Богъ?

Богъ — это тайна, которая обволакиваетъ землю, пропитываетъ всю нашу жизнь со всѣхъ сторонъ, тайна вѣчная, непроницаемая... Что такое человѣкъ? Что такое этотъ видимый нами мѣръ? Зачѣмъ все это? Куда это идетъ? Откуда мы явились? Неизвѣстно, это тайна, и эта пропитывающая всю нашу жизнь тайна, тайна животворящая, согрѣвающая, для меня — Богъ.

Въ отличіе отъ другихъ «вѣрующихъ», я рѣшительно отказываюсь отъ всякихъ попытокъ опредѣленія свойствъ Бога, я не приписываю никакихъ атрибутовъ этой Конечной Тайнѣ. Я не настаиваю даже, чтобы для обозначенія ея употреблялся именно этотъ терминъ «Богъ», а не какой-нибудь другой. Всякая попытка постиженія этой Тайны уже какъ бы уменьшаетъ Ея величіе. Понять тутъ ничего нельзя — Тайну эту можно только, и то не всегда, чувствовать.

И потому моего Бога проповѣдывать нельзя — *о Немъ нечего сказать*...

Можетъ быть, постаравшись, и можно бы эту религію, — если это религія, — обозначить какимъ-нибудь изъ существующихъ уже терминовъ, но я самымъ рѣшительнымъ образомъ отвергаю эти ограничивающіе ярлычки. Они слишкомъ обязываютъ, а тутъ никакихъ ограниченій, никакихъ цѣпей быть не можетъ...

Жизнью я вынужденъ былъ изъ своей крошечной приходской церковки выйти въ безбрежную Вселенскую Церковь, и въ ней не оказалось ни шуйныхъ, ни десныхъ, ни праведниковъ, ни грѣшниковъ, въ ней всѣ, всѣ люди, безъ единаго исключенія, имѣютъ совершенно одинаковыя права. Въмѣсто прежнихъ маленькихъ, но невыносимо тяжелыхъ скрижалей разныхъ ветхихъ завѣтовъ и всевозможныхъ завѣтовъ новыхъ, отпечатанныхъ на самыхъ усовершенствованныхъ ротационкахъ, вотъ предомно скрижали необъятныя, но легкости необычайной, скрижали Вселенной, и письмена ихъ — звѣзды, свѣтлыя рѣки, темные лѣса, падающій снѣгъ, сверканіе молній, и дѣтскій смѣхъ, и женскія улыбки, и кровь, и слезы. На скрижаляхъ этихъ написано всего одно Слово, заключающее въ себѣ уже дѣйствительно весь законъ и пророковъ, Слово, которое отнюдь, однако, не является стѣненіемъ, категорическимъ императивомъ, но лишь ключомъ, отпирающимъ входъ въ Землю Обѣтованную, и Слово это сегодня читается такъ, а завтра иначе, а послѣ завтра или даже чрезъ минуту еще иначе: сегодня письмена эти слагаются для меня въ слово Красота, завтра въ Симпатію, послѣ завтра или черезъ минуту въ Радость, а, можетъ быть, и въ Любовь или Мудрость... И все это выражаетъ одно и то же, все это ведетъ къ одной и той же цѣли — въ Землю Обѣтованную, Землю Радованія...

Береза.

Вотъ предъ моимъ окномъ растетъ старая береза: изъ земли безобразно лѣзетъ толстая, корявая, пѣгая палка, на извѣстной высотѣ отъ этой палки начинаютъ расходиться въ стороны другія палки, потоньше, потомъ еще потоньше, а потомъ все это кончается узловатыми ниточками, на которыхъ болтаются зеленыя тряпочки листьевъ. Кажется, ничего особенно красиваго, а удивительно красиво...

Сдѣлайте изъ папье-маше точь въ точь такую же пѣгую толстую палку, такіе же сучки и сучочки, такіе же листики изъ батиста; пусть даже искусные парфюмеры придадутъ этимъ листикамъ свойственный имъ острый и въ то же время нѣжный запахъ. Пусть все будетъ точь въ точь, какъ и на настоящей березѣ, и все же полу-

чится не красота, а отталкивающее безобразіе: шумъ батистовыхъ листочковъ будетъ мертвымъ шумомъ, не будутъ наливатья весной почки, не возрадуются солнечной радостью весны молодые листочки. . .

Что же дѣлаетъ красивой мою старую березу подь окномъ?

Только то, что она — живая, прекрасной ее дѣлаетъ — жизнь.

Зарожденіе искусства.

Крошечная Вѣрочка, — ей всего второй годъ, — тянетъ меня за руку, тащить куда-то: ди . . . ди . . . — т.-е., иди! Я иду. Она усаживаетъ меня на диванъ, идетъ за мамой, тащить и ее, усаживаетъ рядомъ со мной, смотреть, чтобы бы сидѣли достаточно близко, чтобы ноги наши не протягивались слишкомъ далеко впередъ и не загибались слишкомъ далеко назадъ, подь диванъ, то-есть, чтобы все было красиво, а затѣмъ начинается представленіе: маленькое, румяное существо это въ бѣлокурыхъ локонахъ, едва умѣющее говорить десятокъ словъ, бѣгаетъ предь нами, присѣдаетъ, подпрыгиваетъ и по улыбающемуся, счастливому личику ея видно ясно, что это она хочетъ доставить удовольствіе не только себѣ, но и намъ, зрителямъ. Ей мало присѣдать и прыгать, — ей надо, чтобы на это смотрѣли. . .

Въ этомъ желаніи радости и другимъ, въ этой жаждѣ, чтобы смотрѣли и наслаждались, — зарожденіе театра да и всякаго искусства. . .

Въ нашемъ театрѣ только одно плохо: уйти нельзя. Не успеешь подняться съ дивана, какъ начинается отчаянный плачь: надо сидѣть, надо смотрѣть, надо наслаждаться. Впрочемъ, и въ другихъ, настоящихъ театрахъ, когда люди не хотятъ смотрѣть, не наслаждаются, плача бываетъ не меньше. . .

Три ступени.

Среди людей, болѣе или менѣе осознающихъ себя и то, что ихъ окружаетъ, есть три рѣзко различныхъ основныхъ типа.

Однимъ ихъ міропониманіе диктуется главнымъ образомъ ихъ сердцемъ. Изъ грубой матеріи міра дѣйствительнаго оно ткеть для нихъ новый, собственный міръ, создавая по своему образу и подобию болѣе или менѣе яркую фантазмагорію, которая и тѣшитъ ихъ. И нѣтъ для этихъ людей большаго огорченія, большаго неприятели, какъ видѣть, какъ какой-нибудь острый уголь дѣйствительности прорываетъ сотканную ими радужную паутину фантазмагоріи и назойливо лѣзетъ въ глаза. Они сердятся, они отрицаютъ этотъ уголь, они страдаютъ самымъ настоящимъ образомъ. . .

На этой ступени я стоялъ въ молодости, и вообще къ этому типу принадлежать люди и сердца молодые, хотя бы и съ сѣдой головой.

Другой типъ — это человѣкъ, для котораго дороже всего свободное изслѣдованіе жизни, полная свобода мысли въ истинномъ и полномъ значеніи этого слова, свобода отъ всякой предвзятости, отъ чужого мнѣнія, отъ своего сердца, отъ всего, насколько только это возможно.

На этой ступени я, большею частью, нахожусь теперь, испытывая при этомъ иногда и грусть, но всегда удовлетвореніе отъ сознанія своей самодержавной независимости, своей воли.

И, наконецъ, есть третья ступень, которая манитъ меня все болѣе и болѣе, по мѣрѣ того, какъ сѣдѣетъ моя голова: ничего не строить, ибо все построения въ концѣ-концовъ — только воздушные замки, ничего не изслѣдовать, ибо все изслѣдованія при наличности добросовѣстности неизмѣнно упираются въ концѣ-концовъ въ стѣну, а просто жить, дышать, радоваться...

Фіалки.

Я вышелъ изъ душнаго вагона подышать немного весеннимъ степнымъ воздухомъ, погрѣться на веселомъ ласковомъ солнышкѣ.

— Купите фіалочекъ, баринъ...

Предо мной оборванная, грязная дѣвчурка съ цѣлой тарелкой фіалокъ. И глаза ея, похожіе на какіе-то веселые весенніе цвѣточки, смотрятъ на меня такъ просительно-робко, а на лицѣ — прелестная улыбка.

— Сколько же тебѣ за нихъ?

— По копеечкѣ за букетикъ.

Я взялъ десять маленькихъ душистыхъ букетиковъ, и такъ задушевно улыбнулась мнѣ маленькая дѣвочка.

Я вошелъ въ вагонъ и не зналъ, что мнѣ дѣлать съ цвѣтами.

И вдругъ — смотрю — узкимъ коридоромъ вагона идетъ ко мнѣ молоденькая сестра въ бѣлой косынкѣ съ ярко-краснымъ крестомъ на груди. И по хорошенькому личику ея, по всей этой стройной фигуркѣ, по кокетливому наряду сразу видно, что не столько она тамъ перевязала и спасла, сколько переранила этими глубокими и теплыми, какъ весеннее небо, глазами.

— Разрѣшите, сестрица, предложить вамъ цвѣтовъ...

Дѣвушка вспыхнула нѣжной зорькой, приняла цвѣты и, чтобы не рассыпать ихъ, осторожно прижала ихъ къ красному кресту на молодой груди и смотрѣла на меня со смущенной улыбкой: ей хотѣлось видѣть въ этихъ цвѣтахъ дань своей красотѣ и молодости, но усталое лицо мое и сѣдина на вискахъ, видимо, смущали ее. Ей, можетъ быть, казалось, что я уже утратилъ право на поклоненіе женщинѣ и красотѣ...

И я смотрѣлъ на ея хорошенькое, смущенно улыбающееся личико и слушалъ, какъ грустно пѣли въ моей душѣ осеннія пѣсни...

А за окномъ вагона разстилалась, дымясь испареніями, безпредѣльная степь, и весело грѣло яркое солнышко, и звенѣли жаворонки, и тонкій аромат фіалокъ въ рукахъ дѣвушки говорилъ о глубокомъ-глубокомъ, свѣтломъ и безбрежномъ, какъ степь, весеннемъ счастьѣ...

Надъ портретомъ Писарева.

«Слова и иллюзіи гибнутъ, факты остаются» — мелкимъ, бисернымъ почеркомъ стоитъ на этомъ портретѣ. Все мы, отбывая въ извѣстномъ возрастѣ повинность «мыслящаго реалиста», гордо повторяли эти слова, вполне увѣренные, что девизъ этотъ, которымъ мы украшали нашу молодую жизнь, заключаетъ въ себѣ какой-то очень значительный смыслъ.

Но что же такое этот фактъ, который будто бы остается среди всеобщей гибели словъ и иллюзій? Дважды два четыре, какъ будто, и довольно твердый фактъ, но только при наличности известнаго развитія: для ребенка, для идиота, для собаки это не только не фактъ, но и что совсѣмъ не обязательное, даже не существующее. Солнце для Иисуса Навина — одинъ фактъ, а для современнаго астронома — другой; военный совѣтъ на Филяхъ совсѣмъ не одно и то же въ глазахъ генераловъ, стараго Кутузова и дѣвочки, которая смотрѣла на него съ печки; Христосъ въ глазахъ магометанина пророкъ, въ глазахъ православнаго — Богъ, въ глазахъ Пилата — такъ что-то такое, какой-то болтунъ, котораго можно и не казнить, но можно и казнить. Наблюдая одни и тѣ же «факты», Дарвинъ видѣлъ одно, а Ламаркъ — другое. А самъ Писаревъ съ его гордыми словами? Для однихъ это — мировая истина, для другихъ — отвратительный, презрѣнный, общественно опасный нигилизмъ, съ которымъ надо всячески бороться, до Петропавловки и висѣлицы включительно, для третьихъ — лишь одна изъ наивныхъ ступенекъ въ безконечной лѣстницѣ человѣческихъ заблужденій. Какъ же объединить всѣ эти воспріятія факта, всѣ эти сужденія о немъ такимъ образомъ, чтобы отъ него отпало все частное, случайное, противорѣчивое, а осталось бы что-нибудь прочное, безспорное, постоянное? Кажется, фактъ Писарева въ концѣ-концовъ сведется только къ: «жилъ-былъ человекъ Писаревъ, который писалъ книги». Какой Писаревъ? Отвѣты: вождь, гений, дуралей, бунтовщикъ, отрицатель Пушкина и эстетики, свѣточъ, злое животное. . . Какія книги? Глупыя, умныя, гениальныя, вздорныя, забытыя, ненужныя. . . И что такое значить: жилъ-былъ человекъ? Неизвестно. Все расплывается, все уходитъ, какъ вода между пальцевъ. Наполеонъ, кажется, фактъ, но для свободныхъ республиканцевъ-французовъ это — гений, гнилыя кости котораго надо свято хранить въ Пантеонѣ, въ то время, какъ тысячи живыхъ людей не знаютъ, гдѣ имъ въ непогоду преклонить голову; для Льва Толстого — злобщій фигляръ, выскочившій какими-то таинственными путями на окровавленные подмостки мировой исторіи, предметъ глубокаго, органическаго отвращенія; для моего пятилѣтняго Левушки Наполеона совсѣмъ еще нѣтъ. Конечно, что-то такое, что называлось Наполеономъ, было, но что это такое — не знаю, и какъ, и для чего оно было — тоже не знаю. . .

Въ концѣ-концовъ фактъ — это «трость, колеблемая вѣтромъ», это облако, играющее на вечернемъ небѣ, облако, въ которомъ одинъ видитъ изображеніе верблюда, другой — старца за книгой, третій — улетающаго ангела, а четвертый — змѣя съ огненной пастью, облако, которое вотъ сейчасъ разсѣется въ безднѣ невѣдомаго навсегда, безъ слѣда. Фактъ — это таинственный призракъ, фактъ это — иллюзія.

Такъ же безтѣлесно, неуловимо, призрачно и слово человѣческое, которымъ мы одѣваемъ наши зыблущіяся понятія, рожденныя изъ наблюденія преходящей фантазмагоріи фактовъ.

Въ каждомъ моемъ словѣ не только все мое настоящее, весь теперешній я со всѣми моими безконечными переживаніями, но оно окрашивается и всѣмъ моимъ прошлымъ, въ немъ незримо живетъ даже и духъ моихъ предковъ, безчисленныхъ, какъ песокъ морской, поколѣній. То же самое и со словомъ того, съ кѣмъ я говорю. Поэтому мое слово часто выражаетъ совсѣмъ не то понятіе, что слово моего собеседника: какъ будто мы говоримъ и объ одномъ и томъ же, а на самомъ дѣлѣ мы говоримъ совсѣмъ о разномъ, о далекомъ, чужомъ, непонятномъ, запечатанномъ навѣки нерушимой печатью. И нѣтъ никакой возможности установить одинъ, общій для всѣхъ смыслъ слова не только въ обычномъ разговорѣ, но и въ толстомъ фоліантѣ. Человекъ — это удивительная тайна въ обложкѣ тѣла, и сама обложка эта

— тайна не только для другихъ, но и для того даже, что заключено въ ней, для своего я, какъ и это я — тайна для самого себя, огромная, поразительная. Посредствомъ безсильнаго слова, выраженія глазъ, жеста, эта тайная для себя самой тайна пытается дать понять себѣ другимъ, если даже не всего себя, то хоть открыть ничтожную часть своихъ пестрыхъ переживаній, но напрасно. . . Что ни говори, какъ ни говори, кому ни говори, — въ концѣ-концовъ ты всегда одинъ, ты чувствуешь это болѣзненно остро, съ полной несомнѣнностью. Человѣкъ — по прекрасному сравненію Мопассана, — это обелискъ, вывезенный изъ чужой далекой страны, іероглифы котораго — тайна для всѣхъ. . .

Слово — это такая же неуловимая иллюзія, какъ и фактъ, который оно выражаетъ или, точнѣе, скрываетъ, закрываетъ. . .

Теперь объ иллюзіи. Нищій паралитикъ лежитъ во вшивыхъ лохмотьяхъ на каменныхъ плитахъ паперти и, думая о той наградѣ, которая дана ему будетъ за могилу за это голодное, грязное, исполненное тяжкихъ страданій существованіе, плачетъ умиленными слезами. Эта мечта его, эти умиленные слезы, его единственное богатство, — кто посмѣетъ отнять ихъ у него? Часто суевѣрія такъ называемыя, иллюзіи, — огромные плюсы въ жизни, огромное благо и потому съ большой осторожностью только надо разрушать ихъ «во имя разума», если разрушать непременно ужь нужно. Всегда надо твердо помнить, что за гибель всякой иллюзіи человечество заплатитъ въ концѣ-концовъ кровью и слезами. Если хорошенько присмотрѣться къ массѣ человечества, что оно въ концѣ-концовъ такое, какъ не нищій паралитикъ, лежащій во вшивыхъ лохмотьяхъ на каменныхъ плитахъ храма, изъ котораго, можетъ быть, и Богъ-то давнымъ-давно ушелъ? А можетъ быть, даже Его и совсѣмъ тамъ не было. . .

За иллюзію погибли и гибнутъ миллионы людей.

Иллюзія — это фактъ.

И вотъ смотрю я на портретъ Писарева, который далъ мнѣ въ молодые годы столько красивыхъ иллюзій, столько молодыхъ дерзкихъ переживаній, и читаю его мелкій, бисерный почеркъ: «слова и иллюзіи гибнутъ, факты остаются». Но теперь я понимаю, я читаю это иначе, чѣмъ въ молодости, теперь я читаю это такъ: *«все въ жизни проходитъ, и ничего я въ ней не понимаю. . .»*

И, пожалуй, и бѣды большой въ этомъ нѣтъ: и мой Левушка, и нѣжный мотылекъ надъ цвѣтущимъ лугомъ тоже вѣдь ничего въ ней не понимаютъ, но отъ этого ихъ счастье жить и дышать для нихъ нисколько не уменьшается. . .

Обручальное кольцо.

Я приводилъ въ порядокъ бумаги въ своемъ рабочемъ столѣ и вдругъ нашель небольшой потертый ящичекъ. Я раскрылъ его — среди всякой мелочи тамъ сверху лежало мое обручальное кольцо. Я никогда не носилъ его — «это предразсудокъ», для чего это нужно?

Но теперь вдругъ что-то точно постучалось этимъ золотымъ ободкомъ въ мою душу, — прошлое постучалось.

Въ золотомъ, мягко сіяющемъ ободкѣ этомъ вдругъ, какъ въ рамкѣ, обрисовалась и сѣдая голова той, съ которой мы прошли рука объ руку эти длинные годы — а какъ скоро они пролетѣли! . . — и эта прелестная головка съ чудными голубыми глазками, такъ скоро, съ такой страшной болью оторванная отъ моего сердца смертью,

и одинокая могила ея въ далекомъ солнечномъ краю, о которой я такъ иногда тоскую и болѣю. . . Вотъ четыре другихъ маленькихъ смѣющихся головки, которыя внесли въ мою жизнь столько заботъ, но и столько нѣжности. . . Въ этомъ свѣтломъ кружочкѣ цѣлыхъ четырнадцать лѣтъ моей жизни; это кольцо — символъ всего пережитаго нами вмѣстѣ; это кольцо — та копилка, въ которую буду я день за днемъ накапливать то, что угодно будетъ судьбѣ послать мнѣ еще на пути жизни, до тѣхъ поръ, пока, прикрывая всю пеструю сказку ея, которую я такъ любилъ, въ золотой ободокъ этотъ не войдетъ и зеленый холмикъ моей могилы. . .

Истина, добро красота.

«Истина, добро, красота — казенная шаблонная фраза, не имѣющая никакого опредѣленнаго значенія», совершенно основательно говорить гдѣ-то Толстой и совершенно не основательно добавляетъ: «когда красота поставлена наравнѣ съ добромъ, тогда все возможно». Милому дѣдушкѣ представлялось, очевидно, что если добро не ставить рядомъ съ красотой, а поставить ее на второе, подчиненное мѣсто, то выйдетъ что-то значительное.

«Добро, истина, красота . . .» — торжественно возглашаютъ намъ такимъ тономъ, который самъ по себѣ ясно свидѣтельствуешь, что для говорящаго эти три понятія представляются какими-то тремя вѣчными китами, на которыхъ покоится или желательно, чтобы покоилась, вся жизнь. Но это не вѣчные киты, а только три мимолетныхъ призрака. И истина, и добро, и красота всецѣло зависятъ отъ эпохи, мѣста и индивидуальности: то, что истина для католика, то вздоръ для Ренана, и то, что добро для каннибала, — зло для Франциска Ассизскаго, и то, что красота для китаецъ, — безобразіе для европейца, и то, что добро, красота, истина сегодня, то будетъ безобразіемъ, ложью, зломъ завтра. Вѣчной красоты, вѣчнаго добра, вѣчной истины — увѣ! — нѣтъ на землѣ, такъ что, когда я слышу дрожащій голосъ оратора, который, указуя перстомъ впередъ, говоритъ мнѣ объ «истинѣ, добрѣ и красотѣ», я знаю, что ораторъ относится ко мнѣ съ неуваженіемъ, обманываетъ меня и что персть его указываетъ — въ пустоту. . .

Слово.

I.

Несмотря на тысячелѣтній опытъ, человѣчество продолжаетъ упорно хранить свою наивную вѣру въ могущество человѣческаго слова. Одни вѣрують въ его чудодѣйственную творящую силу и печатають книги, прокламаціи, выступаютъ съ проповѣдями; другіе трепещуть предъ его будто бы страшной разрушительной силой и воздвигаютъ кресты на Голгоѣ и сжигаютъ на кострахъ книги и ихъ авторовъ. Обаяніе слова до такой степени сильно, что одна изъ самыхъ замѣчательныхъ во всѣхъ отношеніяхъ книгъ человѣческихъ такъ прямо и начинается: въ началѣ было Слово, и Слово было Богъ, и Богъ былъ Слово. . .

Между тѣмъ стоитъ внимательно присмотрѣться къ тѣмъ эпохамъ, когда могущество слова представляется намъ особенно яркимъ, чтобы съ грустью убѣдиться, какъ мало значить слово въ жизни человѣческой.

Правда, Петръ Амьенскій поднялъ своимъ словомъ тысячи и тысячи людей на крестовые походы, но въ самомъ послѣднемъ концѣ-концовъ Іерусалимъ такъ и остался не освобожденнымъ. Да если бы и былъ онъ освобожденъ, то не все ли въ концѣ-концовъ равно, въ какой цвѣтъ выкрашена на картѣ Палестина и кто считается тамъ владыкой: старичокъ турецкій султанъ или старичокъ римскій папа?

Правда, Будда всколыхнулъ, кажется, до самаго дна пестрый сонъ Азіи, но кто же изъ насъ повѣритъ учебнику географіи, увѣряющему, что Азію населяютъ теперь «буддисты»?

Правда, дѣятели французской революціи изумили все культурное человѣчество феерически-красивой грозой своихъ дѣяній, но апофеозомъ всего этого сверканія и громовъ была маленькая фигурка Наполеона съ кругленькимъ животикомъ на коротенькихъ ножкахъ, а затѣмъ его разбитые неизвѣстно зачѣмъ «легіоны». И все кончилось той комедіей буржуазной республики, которую такъ смѣшно и ярко изобразилъ Ан. Франсъ въ романахъ своей *Série Contemporaine*.

Правда, Толстой производилъ своимъ словомъ цѣлые перевороты въ душахъ своихъ послѣдователей, но въ концѣ-концовъ каковы были результаты этихъ переворотовъ? Дѣлался ли человѣкъ другимъ? Увы, нѣтъ: онъ только надѣвалъ сѣрую блузу, подпоясывалъ ее ремешкомъ и начиналъ говорить другія слова — вотъ и все.

Слово бессильно. И мало того: оно обладаетъ, кромѣ того, замѣчательнымъ свойствомъ коварно подмѣнивать собою дѣятельность. Кто много говоритъ, мало дѣлаетъ; вся его энергія уходитъ въ языкъ, и на подлинное дѣло силы уже не остается. Это превосходно подмѣтилъ еще умный Герценъ, говорившій о парламентахъ, что это прекрасное средство для того, чтобы перегонять въ слова энергическую готовность дѣйствовать; это отлично знаютъ умудренные долгимъ опытомъ западно-европейскія правительства, которыя даютъ слову полный просторъ.

Нѣтъ, слово не ураганъ, слово не волшебная палочка, не Богъ, — слово человѣческое такъ же бессильно, и нѣжно, и преходяще, какъ шелестъ молодой листы весной, какъ бульканіе горной рѣчущки по разноцвѣтнымъ камушкамъ. И «въ началѣ» было совсѣмъ не Слово, — въ началѣ было, вѣроятно, желаніе, а слово — только покорный слуга его, слово — только гирлянда, украшающая пьедесталь свѣтлаго, могучаго Бога-Желанія, Бога-Страсти. . .

II.

Какое богатство въ этомъ безбрежномъ царствѣ словъ человѣческихъ!.. Въ пышно цвѣтущемъ Эдемѣ этомъ, въ этой сверкающей росыши есть что-то человѣческое и вѣчно прекрасное. Какъ люди, слова рождаются, борются, старѣютъ и умираютъ, какъ у людей, у cadaго изъ нихъ есть своя особая біографія, какъ у людей, у нихъ есть лица, то милыя, влекущія, то сумрачныя, то отталкивающія, какъ у людей, у cadaго изъ нихъ есть своя таинственная душа. И, какъ и у людей, таинственно ихъ рожденіе и таинственна ихъ смерть. Есть слова совсѣмъ молоденькія, слова-дѣти, при рожденіи которыхъ мы присутствовали, какъ, «витализмъ», «футуризмъ», «интеллигенція» или какой-нибудь безобразный уродъ вродѣ «совнархоза». Но какъ зарождались первыя слова человѣческія, этого мы никакъ не можемъ себѣ представить. Я вижу безбрежность первобытныхъ пустынь, я вижу первыхъ, неуклюжихъ, мохнатыхъ, очень рѣдкихъ людей, дѣлающихъ первыя попытки ходить на заднихъ лапахъ, дающихъ грубымъ рычаніемъ первыя имена вещамъ ихъ окружающимъ. И вотъ одна ячейка такихъ мохнатыхъ первочеловѣковъ, одно

племя для своего обихода назвала лѣсъ почему-то лѣсомъ, коня — конемъ, воду — водой, а другое племя, жившее отъ этого въ четырехъ дняхъ пути, лѣсу, водѣ, коню дало совсѣмъ другія имена, а третье — еще другія и, когда вошли эти племена въ болѣе тѣсную связь, между этими новорожденными словами началась таинственная борьба за существованіе, пока въ борьбѣ этой не побѣдилъ если не лучший, то наиболѣе приспособленный, the fittest, пока всѣ не признали безмолвно, что лѣсъ отнынѣ будетъ называться только лѣсомъ, а не иначе, вода водой и конь конемъ. Безконечное количество словъ въ борьбѣ этой погибало, немногія оставались жить, развивались, измѣнялись, плодились и въ свою очередь, въ свое время погибали, — могилки ихъ можно найти въ старыхъ пѣсняхъ, которыхъ никто уже не поетъ, въ полуистлѣвшихъ рукописаніяхъ авторовъ, которыхъ уже никто не читаетъ. И иногда цѣлые некрополи ихъ видимъ мы, какъ напримѣръ, этотъ латинскій, теперь уже мертвый языкъ, а иногда не осталось слѣда и отъ кладбищъ этихъ, какъ не осталось, напримѣръ, ничего отъ языка инковъ. Многіе дряхлые старички-слова тихо умираютъ на нашихъ невнимательныхъ глазахъ, какъ какой-нибудь «лимонарь», «перунъ», «тріодъ», «сумный», «городище» и т. н. Есть слова, получившія неизвѣстно почему всемірную извѣстность и право жительства среди всѣхъ языковъ, какъ «трестъ», «растакуэръ», «автомобиль», «танкъ»; есть тихія слова, которыя отъ рожденія поселились и живутъ въ зеленой провинціальной глуши, какъ какой-нибудь «пыринъ» (по владимирски: индюкъ) вырево (затяжная ссора) или волжскій «стрежень»...

И такъ, рождаясь, слова жили, сплетаясь въ причудливыя гирлянды и расплетаясь, и, исполняя завѣтъ Господа, данный всему живому, плодились, множились и наполняли землю и теперь, въ наше время, царство ихъ — сверкающая розсыпь, которой я не устаю любоваться, наслаждаясь звуками словъ, наслаждаясь ихъ душами. И каждое слово представляется мнѣ какимъ-то милымъ окошечкомъ въ манящую таинственную безконечность...

И какъ радостно бываетъ разгадать иногда слово! Вотъ какъ-то случайно раскрылось мнѣ милое слово «опенки»: о — это почти всегда значить на нашемъ языкѣ окруженіе, округъ, округъ, а затѣмъ идетъ пень и получается, что опенки это только о-пень-ки, то-есть, тѣ, что растутъ округъ пня, то-есть, какъ разъ то, что и составляетъ самый яркій признакъ этого милаго, веселаго, дружнаго, любящаго жить большими семьями грибка. Точно также «подушка» это только то, что кладутъ подъ ушко...

Есть для меня одно слово, которое я не произношу вслухъ почти никогда, потому что трудно найти для него, бѣлоснѣжнаго и святого, обстановку, въ которой оно не было бы осквернено, — только въ святая святыхъ души моей произношу я иногда это имя, куда, какъ въ скинію Господню, не долженъ входить никто. И всякій человѣкъ долженъ имѣть хотя одно такое слово, хоть одно такое имя, только для себя... Не люблю я также всуе произносить слово Богъ, имя той Тайны, въ которой мы, какъ мошки въ солнечномъ лучѣ, одинъ только мигъ благодарно и радостно живемъ...

Но есть слова для меня, которыя я, напротивъ, готовъ повторять безъ конца, которыя я съ удовольствіемъ встрѣчаю даже въ преискурантахъ, — это слова, которыя напоминаютъ мнѣ о милыхъ сердцу моему зеленыхъ пустыняхъ, гдѣ безконечно свершается недоступное и прекрасное таинство дикой жизни, и чѣмъ ближе слово къ этой жизни, тѣмъ оно мнѣ дороже. Я люблю слово «лыжи», говорящее мнѣ о снѣжныхъ просторахъ, но слово «лыжникъ», т. е. слѣдъ, оставленный лыжами на снѣгу, звучитъ еще полнѣе и радостнѣе, ибо лыжи могутъ быть и въ магазинѣ, и на чердакѣ, а лыжникъ неизмѣнно вьется капризной полосой по искривляющемуся, паху-

чему снѣгу, между коричневымъ и чернымъ перелѣсковъ и убѣгаетъ въ синюю даль. И въ этихъ звучно-дикихъ, пахучихъ словахъ, какъ «лѣса», «волкъ», «шалашъ», «дикая утка», «омуть», «боръ», «лѣшій», «маликъ», «глухарь», «Винчестеръ» я слышу сладко-волнующую музыку, ту вѣчную поэму творенія, тотъ утренній вѣтеръ, который — по словамъ Торо — слышутъ только немногія уши . . .

Какъ разъ на другомъ полюсѣ стоятъ для меня такія слова-враги, какъ опозоренное, подобное проституткѣ, слово «товарищъ», какъ окровавленное, какъ мясникъ, и изолгавшееся, какъ митинговый ораторъ, слово «партія». Я подозрительно кошусь на слово «демократъ», а отъ его приставки «соціаль» меня бросаетъ въ нервную дрожь, какъ отъ скрежета ножа по стеклу. Я не терплю словъ «кофточка», «утопаешь въ зелени», «президіумъ», «ораторъ», «отношусь отрицательно». . . Мнѣ скажутъ, что я, очевидно, люблю и не люблю не слова, а понятія, скрытыя¹⁾ подъ ними. Это не совсѣмъ такъ. Хотя въ большинствѣ случаевъ обозначаемое словомъ понятіе и бросаетъ на него свой отсвѣтъ, но я говорю все же и о самомъ словѣ: я не люблю, напримѣръ, слова «салфетка», то я не имѣю ничего противъ французской такой чистенькой и аккуратной serviette, а въ словахъ «малиновка» или «лютикъ» я слышу нѣжнѣйшую музыку. Я люблю слова торжественныя, какъ процессія нагихъ-то жрецовъ подъ покрывалами: «монастырь», «полярные льды», «черный воронъ», «лѣтопись», «аббатство», и не знаю, почему мнѣ противенъ «катафалкъ», и не переношу я такихъ тяжеловѣсныхъ уродовъ, какъ «правонарушеніе» или «міросозерцаніе» . . .

Богатство въ нашихъ словахъ изумительное, но въ то же время иногда и нищета ужасающая. Возьмите, напримѣръ, слово «любить»: я люблю свою старую мать, я люблю мармеладъ, я люблю «Войну и миръ», я люблю цыганку Стешу, я люблю удить рыбу, я люблю свой старый халатъ, я люблю Св. Писаніе . . . — да развѣ мыслимо всѣ эти нюансы чувства притяженія обозначать однимъ и тѣмъ же словомъ? Вѣдь они часто до того различны, что ихъ не покроешь не только однимъ словомъ, но и цѣлымъ томомъ. Аккуратные нѣмцы имѣютъ хотъ lieben и gern haben, англичане располагаютъ like и love, которые нельзя спутать, а если иностранецъ все же путаетъ и говоритъ, что онъ liebt апельсины, то у тѣхъ это вызываетъ смѣхъ. И этихъ двухъ словъ тутъ, конечно, мало, но это все же хотя и маленькое, но завоеваніе, а мы сидимъ все со своимъ убогимъ «люблю»: и апельсины «люблю», и милой дѣвушкѣ луннымъ вечеромъ мы шепчемъ «люблю». . . Какое уродство! . . .

. . . А въ цѣломъ все же — сверкающая розсыпь. И, можетъ быть, каждый дѣйствительно крупный писатель долженъ въ теченіе своей жизни продуманно и любовно внести въ эту сокровищницу хотя одну только жемчужинку. . .

III.

Въ таинственной и неуловимой борьбѣ за существованіе, которая, какъ и среди всего живого, идетъ между словами, побѣждаетъ отнюдь не лучший, но fittest, наиболѣе приспособленный къ даннымъ условіямъ, т. е. иногда вообще и опредѣленно худший. Во время медовыхъ мѣсяцевъ нашей революціи по всей Россіи загуляли вдругъ два, повидимому, совершенно бессмысленныхъ словечка: «крути, Гаврила! . . .» Слова эти были брошены среди возбужденныхъ солдатскихъ массъ, бросившихся

¹⁾ Музыка выражаетъ то или иное чувство, а слово только обозначаетъ понятіе, какъ этикетка обозначаетъ названіе выставленной вещи. Только рѣдкія, особенно удачныя слова выражаютъ до нѣкоторой степени понятіе, особенно звукоподражательныя, какъ топотъ, шипѣніе или, напримѣръ, вьюга или оценки.

съ фронта домой, какимъ-нибудь зубоскаломъ въ рваной шинелишкѣ въ накидку, въ фуражкѣ на-бекрень, цыгарка въ зубахъ. Онѣ ихъ бросилъ такъ, зря, на вѣтеръ, но онѣ тутъ же почему-то понравились и подхватили ихъ одинъ, другой, третій, сотый, тысячный и вотъ уже, смѣша всѣхъ, онѣ гуляютъ по всей Россіи отъ Петрограда до Владивостока и никто не знаетъ счастливаго автора этой веселой чепухи. Вѣроятно, другой зубоскалъ кричалъ: «Вавила, вваливай», третій: «Петька, поддавай», четвертый: «Митюшка, завастривай», но все это разомъ, ключомъ, потонуло, а «крути, Гаврила», процвѣло. . .

И сколько такой тихой борьбы нужно было, чтобы среди тысячъ и тысячъ неудачныхъ поговорокъ и пословицъ-недоносковъ уцѣлѣла какая-нибудь вродѣ «не красна изба углами, красна пирогами», придуманная какимъ-нибудь дядей Яфимомъ, ловкачемъ и краснобаемъ, за какой-нибудь пирушкой въ тихомъ, глухомъ, зеленомъ и сонномъ селѣ, изъ котораго и пошла она потомъ побѣдно гулять по всей необъятной Россіи.

И, когда повнимательнѣе присмотришься къ судьбѣ литературныхъ произведеній, то видишь, что и тутъ идетъ эта непонятная борьба, и тутъ непонятно, почему въ числѣ «наиболѣе приспособленныхъ» оказалась не та, а другая книга, не тотъ, а другой писатель. Даже «Война и Миръ», и та выдержала не малую борьбу — посмотрите первые отзывы критиковъ объ этой вещи: ужъ и разносили же они «сіятельного автора»! . . . Но тутъ, по крайней мѣрѣ, видно, почему «галилеянинъ» побѣдилъ. . . А вотъ почему, напримѣръ, побѣдилъ въ свое время ничтожный, насквозь фальшивый Марлинскій съ его сверхъестественными «героями» или почему побѣдилъ въ наше время Горькій, этотъ новый Марлинскій? Тоже бьющее въ глаза убожество умственного багажа, та же постоянно напряженная поза, тѣ же неестественные Амалать-беки съ громкими словами и невѣроятными жестами, тоже монотонное разжевыванье все одной и той же темы на тысячу ладовъ. . . Казалось бы, пуфъ, а на дѣлѣ — «наиболѣе приспособленный», на дѣлѣ какое-то всероссійское «крути, Гаврила. . .»

IV.

Присмотритесь внимательно къ черновикамъ Пушкина, Лермонтова, а въ особенности Толстого, — сколько перечеркиваній, сколько исправленій, какой напряженный, упорный трудъ! . . . Черновики у всякаго серьезнаго писателя это та морская пѣна, изъ которой въ концѣ концовъ выходитъ во всемъ блескѣ вѣчной юности Венера, богиня красоты. И никогда тотъ не научится писать, кто не научился безжалостно вычеркивать написанное въ трудахъ. Истинный писатель, истинно великій артистъ это тотъ, чье собраніе сочиненій, по мѣрѣ того, какъ онъ живетъ и трудится, становится все меньше и меньше объемомъ. Можетъ быть, всякій изъ насъ по смерти долженъ оставить всего только одинъ томикъ вещей, наиболѣе близкихъ сердцу, наиболѣе своихъ, и этимъ и ограничиться. . . Въ душѣ каждаго художника властно и таинственно гремитъ прибой вдохновенія. Пусть, замолкнувъ, волны его оставляютъ на берегу жизни всего нѣсколько жемчужинокъ, пусть даже всего только одну маленькую жемчужинку, — и этого будетъ довольно, и тогда жизнь будетъ прожита не даромъ. А если послѣ прибоя останется на берегу только пѣна, быстро тающая, играя на солнцѣ, пѣна? И это хорошо, и пѣна прекрасна, а что до того, что играетъ она въ лучахъ солнца только мигъ одинъ, то предъ лицомъ Вѣчности, которая смотритъ на насъ со звѣздъ, между пѣной морской и жемчугомъ нѣтъ рѣшительно никакой разницы. И пусть даже мимолетной пѣной этой возрадуется только одинъ человекъ, и пусть единственный человекъ этотъ будетъ только тотъ, кто создалъ ее. . .

V.

Не только приятно, но и въ высшей степени полезно среди буйнаго шума современности опуститься иногда въ вѣка уже угасшіе: только оттуда, издали, все современное принимает свои настоящіе — то есть, весьма и весьма скромные — размѣры, только оттуда, изъ глубины вѣковъ, ясно чувствуешь, что ни о чемъ не стоитъ тревожиться, ибо все проходить, и что нѣтъ ничего новаго подъ солнцемъ, и что то, что такъ оглушаетъ насъ теперь, чрезъ очень короткое время будетъ представляться людямъ лишь одной скромной страничкой изъ вѣчной сказки жизни...

Я наудачу раскрылъ Дѣянія Апостоловъ и прочелъ:

«И такъ онъ (ап. Павелъ) разсуждалъ въ синагогахъ съ іудеями и съ чтущими Бога и ежедневно на площади со встрѣчающимися. Нѣкоторые изъ эпикурейскихъ и стоическихъ философовъ стали спорить съ нимъ. И одни говорили: «что хочеть этотъ суесловъ?» А другіе: «Кажется, онъ проповѣдуетъ о чужихъ божествахъ...» И, взявъ, привели его въ ареопагъ и говорили: «можемъ ли мы узнать, что это за новое ученіе, проповѣдуемое тобою? Ибо что-то странное влагаешь ты въ уши наши.» Аеніяне же всѣ и живущіе у нихъ иностранцы ни въ чемъ охотнѣе не проводили время, какъ въ томъ, чтобы говорить или слушать что-либо новое...»

Сколько этаго новаго за эти почти двѣ тысячи лѣтъ сказали и выслушали люди, но странички эти кажутся написанными вчера и о насъ, новыхъ аеніянахъ, съ нашими безконечными разговорами о томъ, что было уже миллионы разъ — только другими словами — говорено... И такъ же снова и снова встають среди насъ все новые и новые Павлы и снова съ прежней настойчивостью влагають они намъ въ уши наши тѣ истины, которыми имъ кажутся такими новыми, такими спасающими, и все такъ же водимъ мы ихъ въ наши ареопаги, чтобы они еще и еще говорили намъ, и такъ же ничего рѣшительно изъ всего этого «суесловія» не получается. И что замѣчательно всего, это то, что каждый такой «суесловъ» искренно убѣжденъ, что именно онъ, наконецъ, принесъ желанное слово истины, которое спасеть міръ, только онъ и никто другой. И фактъ, что такихъ «суеслововъ» уже миллионы сгнили въ землѣ сырой, не говорить ему рѣшительно ничего и онъ, читая о дѣяніяхъ апостола Павла, только снисходительно улыбается. А между тѣмъ слово горячаго Павла производило въ старомъ Эфесѣ цѣлыя катастрофы: «многіе изъ занимавшихся чародѣйствомъ, собравъ книги свои, сожгли предъ всѣми и сложили цѣны ихъ и оказалось ихъ на пятьдесятъ тысячъ драхмъ». Но тѣмъ не менѣе понимали люди Павла слабовато: «первосвященники имѣли съ нимъ нѣкоторые споры... о какомъ-то Иисусѣ умершемъ, о которомъ Павелъ утверждалъ, что онъ живъ»...

Изъ всего того суесловія и сутолоки самымъ непредвидѣннымъ, самымъ неожиданнымъ образомъ вышли, въ концѣ концовъ, мы съ нашимъ новымъ суесловіемъ, и безпокойствомъ, и смутами. Такъ и изъ нашего суесловія и тревогъ выйдетъ что-то такое, о чемъ мы сейчасъ и понятія не имѣемъ, и что въ свою очередь будетъ также исполнено суесловія, и кипѣнія, и, конечно, крови, — и такъ безъ конца, до тѣхъ поръ, пока Господу Богу не надоѣстъ вся эта ерунда и властнымъ словомъ Своимъ не прекратитъ онъ такъ увлекающую насъ пеструю сказку жизни...

VI.

Когда я былъ молодъ, меня чрезвычайно смущали эти неуклюжія, но презрительныя — кажется, Некрасова, — слова:

Что ему книга послѣдняя скажетъ,
То на умъ его сверху и ляжетъ... —

потому что я очень чувствовал тогда за собой этот грѣхъ, если, конечно, это грѣхъ въ самомъ дѣлѣ. Съ тѣхъ поръ прошло много лѣтъ. Года научили меня кое-чему. Между прочимъ, я узналъ, что не всегда надо смущаться, когда съ вами говорятъ презрительно, что не всегда то, за что порицають васъ писатели, плохо, и не всегда то, за что они глядятъ васъ по головкѣ, хорошо. . .

Есть люди, которыхъ, дѣйствительно, немножко мѣняетъ каждая послѣдняя книга — при условіи, конечно, извѣстнаго таланта и ума у ея автора, — и каждый прожитой ими день, т. е. новая страница изъ книги жизни. Но есть и люди, монументальной увѣренности которыхъ въ самихъ себѣ, въ своей правотѣ не пробьешь никакимъ тараномъ. Первые это живые люди, способные учиться и, можетъ быть, чему-нибудь и научиться; вторые это истуканы, которые могутъ быть очень величественны, но которые мертвы, глаза которыхъ не видятъ и уши не слышатъ; первыхъ иногда любятъ издали немногіе избранные, за вторыми часто претъ обожающая ихъ толпа, которая на три четверти не понимаетъ ихъ; для первыхъ жизнь это полный прелестныхъ неожиданностей, цвѣтущій садъ, въ которомъ люди иногда и плачутъ, для вторыхъ она — куча глины, изъ которой они увѣренно по своей личекѣ лѣбятъ что-то такое по своему подобію, скучное, истуканное, мертвое.

Нѣтъ, я не боюсь тѣхъ новыхъ чувствъ, тѣхъ новыхъ думъ, которыя даетъ вдумчивому и живому человѣку каждая его послѣдняя книга, я съ открытой душой говорю имъ: добро пожаловать, — будетъ ли эта послѣдняя книга новымъ цвѣткомъ, распустившимся въ моемъ саду, новой пѣсню, въ немъ прозвучавшей, или сокрушительнымъ ударомъ тарана, что-либо уничтожающимъ въ вѣчно строящемся, но никогда незаконченномъ замкѣ жизни. . . Я не боюсь его, этого вѣчно недостроеннаго замка съ его сквознячками, я люблю его, я люблю сломать въ немъ арку, чтобы воздвигнуть на ея мѣстѣ высокую башню, люблю тамъ, гдѣ была раньше глухая, толстая, поросшая мохомъ стѣна, пробить широкое окно и пустить въ мои покои яркіе потоки солнца и душистое дыханье луговъ, и веселую игру свѣта и тѣни отъ бѣгущихъ въ лазури облаковъ, люблю на мѣстѣ столовой воздвигнуть храмъ и надъ стертой могилой плитой поставить столъ, украшенный розами для пиршества съ друзьями. Въ этомъ вѣчномъ построеніи и разрушеніи и опять построеніи — жизнь. Cogito ergo sum, мыслью значить живу, сказалъ одинъ изъ такихъ сухихъ, монументальныхъ людей, усердно строившій, но построеній своихъ никогда не разрушавшій, и я охотно повторяю за нимъ эти прекрасныя слова, я, который сколько строить, столько же и разрушаетъ, находя одинаковую радость какъ въ томъ, такъ и въ другомъ. . . Моя внутренняя жизнь это опаловая облака на вечерѣющемъ небѣ, неустанно громящая свои воздушныя замки. Они, замки эти, нисколько не хуже отъ того, что въ нихъ нельзя укрыться отъ непогоды, ни поставить себѣ плиты для варки супа съ картофелемъ, ни даже просто войти въ нихъ, а можно только тихо любоваться ими одинъ короткій мигъ да и то издали. . . Скажутъ, это не мышленіе, о которомъ говорилъ Декартъ, а фантазированіе. Можетъ-быть, только чѣмъ же это фантазированіе отличается въ конечномъ счетѣ отъ философіи Декарта и отъ всякой философіи? Только развѣ тѣмъ, что о Декартѣ студенты обязаны разсуждать на государственномъ экзаменѣ, но никто имъ не живетъ, а объ этихъ фантазіяхъ профессора, къ сожалѣнію, не говорятъ, но люди — пусть немногіе — находятъ въ нихъ радость. . .

Старуха и пѣтухъ.

(Индусскій фольклоръ.)

Жила-была въ старину въ одной бѣдной деревушкѣ одна старуха. И былъ въ той деревнѣ голодъ большой, и всѣхъ куръ мужики переѣли, — только на всю деревню и остался, что одинъ пѣтухъ у этой старухи. А кромѣ пѣтуха, былъ у нея горшочекъ этакій, въ которомъ она угольки горячіе на шесткѣ держала: спичекъ тамъ не водится, а всѣ себѣ огонь отъ угольковъ добываютъ. Народъ въ деревнѣ все рабочій, — не всегда за углями-то углядишь, анъ, и потушли. Вотъ и наладилось само-собой какъ-то, что старухинъ пѣтухъ будилъ людей, а потомъ всѣ шли къ старухѣ же огонь добывать, чтобы пищу себѣ сварить. И возгордилась моя старуха: все здѣсь мной одной, дескать, держится, и разсвѣтаетъ-то здѣсь, дескать, только потому, что мой пѣтухъ поетъ. И взбрела ей въ голову блажь: а что, дескать, здѣсь будетъ, ежели я вотъ возьму да и уйду? И вотъ забрала она пѣтуха своего да горшочекъ да съ ночи еще изъ деревни и вонъ. Отошла этакъ малую толику, сѣла у дороги и сидитъ. Прошла ночь, развиднѣлось, по дорогѣ народъ пошелъ-поѣхалъ. И давай моя старуха пытаться всѣхъ и каждого: ну, что, какъ, дескать, у насъ въ деревнѣ-то разсвѣло? И всѣ смѣялись надъ глупой бабой, и пришлось ей съ великимъ стыдомъ возвратиться домой. . .

О біографіяхъ.

Я пересталъ читать біографіи. Я не знаю ни одной честно написанной біографіи. Мы не можемъ писать біографіи иначе, какъ одними розовыми красками, и этотъ обманъ, этотъ *ria graus* противенъ. Мы не дѣти, и пора бы намъ перестать тѣшиться этими историческими погремушками. Можетъ быть, это желаніе преклониться, отдохнуть душой на избранникѣ Божіемъ и понятно, но все же это фальсификація и избранникъ нашъ изъ раскрашеннаго папье-маше, а ореолъ надъ головой его — изъ золотой бумаги, которая идетъ на обертку конфетъ для дѣтей. Этотъ иконостасъ нашихъ знаменитостей, блестящій фольгой и поддѣльными драгоценными камнями, весь выдержанный въ стилѣ вязниковскихъ богомазовъ, только утомителенъ и насколько не красивъ.

Мнѣ хотѣлось бы, чтобы у героевъ исторіи были слабости, мнѣ хотѣлось бы, чтобы слабостями своими они были сродни мнѣ, мнѣ хотѣлось бы, чтобы на свѣтлый Олимпъ мой входили не какіе-то рыцари безъ страха и упрека, а мои братья по жизненному пути, бѣдные, слабые, грѣшные, какъ люди, и лучезарные, какъ боги.

Чѣмъ подражать такъ богомазамъ, лучше не писать біографіи совсѣмъ, лучше сдѣлать какъ-нибудь такъ, чтобы вся земная жизнь героя, вся до послѣдней черточки стерлась бы изъ памяти людей, а осталось бы только то, чѣмъ онъ сталъ дорогъ людямъ, только чистое золото его души и его жизни. Мнѣ нѣтъ никакой надобности знать, гдѣ былъ профессоромъ и былъ ли профессоромъ Чайковскій, въ какомъ ресторанѣ и какіе спичи онъ произносилъ, съ кѣмъ поссорился и съ кѣмъ помирился, и гдѣ родился, въ Казани или Черниговѣ, — съ меня достаточно тѣхъ звуковъ, которые этотъ чародѣй оставилъ послѣ себя, тѣхъ сладкихъ чаръ, которыми онъ опуталъ всю нашу бѣдную жизнь. Пусть самъ онъ, какъ далекая звѣзда, уже давно сгорѣлъ до тла, но пусть еще долго рдѣетъ и переливается на небѣ жизни его чистый, серебристый слѣдъ. Пройти по землѣ и не оставить послѣ себя ни дыма

костровъ, ни крови битвъ, ни спичей по расторанамъ, а только вотъ эти рои чистыхъ сладкихъ звуковъ — какая это красота, какое счастье! . .

А если ужъ очень хочется, если нужно дать намъ его жизнь въ подробностяхъ, то надо дать намъ его не какъ икону условнаго письма, не какъ какія-то нерукотворныя мощи, а надо дать всю жизнь, подлинную, живую, съ душкомъ, надо дать не только преображенный на горѣ Фаворѣ славы ликъ великаго, не только его ослѣпительно торжественное вознесеніе надъ сѣрыми толпами человѣчества, — надо дать и его муку и паденія Геосиманскаго сада, надо дать его тяжкій, пыльный крестный путь, надо дать его крикъ отчаянія на мрачной Голгоѣ. . . И не только это, этого мало, — надо дать его намъ маленькимъ, пошленькимъ, жалкимъ, ибо и онъ не могъ не быть иногда маленькимъ, пошлымъ, жалкимъ. Надо помнить, что чѣмъ глубже пропасти, тѣмъ прекраснѣе вздымающаяся изъ нихъ въ небо гордая вершина.

И, говоря объ этихъ моментахъ жизни великаго, главное, не смѣйте кощунствовать, не смѣйте подыскивать имъ извиненія — ни Галилей, ни Джордано Бруно, ни Толстой, ни Бетховенъ въ наемномъ адвокатѣ не нуждаются. . .

К р и т и к а .

Молодой авторъ съ душевнымъ трепетомъ опубликовалъ свою первую книгу, разослалъ ее по газетамъ и журналамъ «для отзыва», и вотъ по истеченіи нѣкотораго времени «Бюро газетныхъ вырѣзокъ» начинаетъ посылать ему отзывы критики о его произведеніи.

Критика на всѣ лады ругала автора, критика на всѣ лады хвалила автора, критика снисходительно похлопывала его по плечу, поощряя на дальнѣйшее, критика упрекала его въ сухости изложенія, указывала ему на всю поверхностность его мысли, на недостатокъ эрудиціи, на легковѣсную научность, критика удивлялась его глубокому проникновенію въ самую суть предмета, восхищалась вдохновенному тону его произведенія, его почти пророческому языку, указывала ему на его неграмотность, сожалѣла о той бумагѣ, которую онъ потратилъ на свое произведеніе, говорила ему подобострастно, что онъ гений, отъ котораго человѣчество въ правѣ ждать всего самаго необыкновеннаго, упрекала его въ явномъ плагиатѣ, разсчитанномъ на малую образованность нашего средняго читателя. . .

Молодой авторъ, еще мало вѣрившій въ свои силы, всей душою былъ бы радъ послѣдовать благожелательнымъ указаніямъ благодѣтельной критики, но внушительно-строгий перстъ ея указывалъ ему сразу по всѣмъ направленіямъ, вѣтры критики дули на него сразу со всѣхъ румбовъ, крутятся вокругъ него вихремъ самой дикой, самой невообразимой неразберихи и бессмыслицы. . .

Не было и нѣтъ ни одного болѣе или менѣе значительнаго произведенія, которое не подверглось бы такой «обработкѣ» критики. Безъ смѣха и отвращенія невозможно читать всего того, что написано, на примѣръ, о Шекспирѣ или «Войнѣ и мирѣ». Это такой винегретъ, отъ котораго невозможно не придти въ отчаяніе и не одурѣть. И шумъ критики не указываетъ даже на значительность произведенія, такъ какъ очень часто книги содержанія значительнаго проходятъ совершенно незамѣченными, а какіе-нибудь пустяки вызываютъ шумъ: пустая бочка громче гремитъ.

Конечно, интересно узнать, что думалъ Толстой о Шекспирѣ или Достоевскій о Толстомъ, но для меня были и остались непонятными эти ежедневныя выступленія

съ своей критикой какого-нибудь Ивана Ивановича или Петра Петровича, которые сами себя возвели въ санъ критика и почему-то вообразили себѣ, что мнѣніе ихъ всеѣмъ интересно. Кто далъ имъ право разговаривать публично? Кто далъ имъ право уязвлять и раздавать похвальные листы? Какъ, наконецъ, сами господа эти не понимаютъ всей безсмыслицы того, что они дѣлають? Вѣдь, если бы были какіе-нибудь, хоть приблизительные каноны умнаго, прекраснаго, высокаго, критика, т.-е., приложение этихъ каноновъ къ данному произведенію для выясненія его достоинствъ или недостатковъ, было бы понятно; но такихъ каноновъ нѣтъ да и быть не можетъ, и потому весь этотъ пошлый и праздный шумъ людей, которые въ большинствѣ случаевъ сами не способны сдѣлать и десятой доли того, что они критикуютъ, — только шумъ пустыхъ барабановъ. . . Слушаемъ мы ихъ только потому, почему слушаемъ торговковъ на базарѣ: куда же дѣться отъ нихъ?

Но мало того, что занятіе это за полнымъ отсутствіемъ каноновъ — или, точнѣе, за ихъ безконечнымъ разнообразіемъ — совершенно бесплодно и ни на что не нужно, дѣятельность критика и очень вредна, если мы примемъ во вниманіе жалкую психику толпы, у которой всегда напроломъ былъ тотъ, кто первый бралъ палку. Заоралъ критикъ «распни» — и толпа оретъ «распни» и распинаетъ; кричитъ онъ «осанна» — и толпа устилаетъ одеждами путь грядущему во имя ея пошлости ничтожеству.

Принято наивно думать, что роль критики въ томъ, чтобы «истолковывать» произведеніе. Но истинное произведеніе искусства чисто и ясно, какъ вечерняя звѣзда, и не нуждается въ истолкованіи такъ же, какъ говоръ свѣтлаго ручья среди цвѣтовъ или грустная пѣсня за лѣсомъ въ то время, какъ изъ-за потемнѣвшихъ холмовъ встаетъ огромная, нѣжно-золотая луна. Оно само по себѣ есть истолкованіе жизни, и толкованіе на толкованіе — не слишкомъ ли ужъ это много? Истолкованія эти по большей части заключаются въ томъ, что уважаемый критикъ приписываетъ автору все, что ему только заблагоразсудится, говорить не столько объ авторѣ, сколько о себѣ. И одни авторы — поглубѣе, — видя свою премудрость и глубокомысліе увеличенными премудростью и глубокомысліемъ критика, принимаютъ очень значительный видъ для увѣковѣченія его на открыткахъ, а другіе, понѣжнѣе, поскрещивая, только руками разводять.

— Все это они выдумали . . . — вырвалось разъ у А. П. Чехова, прочитавшаго о себѣ что-то такое необыкновенно глубокомысленное и значительное. — Ничего подобнаго я никогда и не думалъ. . .

Вмѣсто *истолкованія* мы всегда имѣемъ *искаженіе*.

Можетъ быть, и есть цѣнныя вещи въ критической литературѣ, но онѣ имѣють цѣну всеѣмъ не потому, что онѣ — критика, а какъ разъ вопреки этому своему несчастному качеству: у нихъ есть свой удѣльный вѣсъ и критикуемое произведеніе тутъ только поводъ, чтобы высказаться.

Во всякомъ случаѣ молодой авторъ хорошо сдѣлаетъ, если не пошлетъ пяти рублей въ «Бюро газетныхъ вырѣзокъ». Лучшій девизъ для него это «будь вѣренъ самому себѣ» и — никого не слушай. . .

Въ бутылкѣ.

На окнѣ у моей кровати стоитъ бутылка съ морской водой. Иногда ночью, въ темнотѣ, тамъ начинается тихая, свергающая жизнь: и здѣсь, и тамъ вспыхиваетъ вдругъ на одно короткое, короткое мгновеніе острая, нѣжная голубая искорка. Если принять въ вниманіе размѣры невидимой намъ инфузоріи, эта искорка пора-

жаеть: какая мощь свѣтоиспусканія! . . Вѣдь, если бы, напримѣръ, человѣкъ обладалъ, такой способностью лучеиспусканія, такой силой его, онъ сверкалъ бы ослѣпительнымъ свѣтомъ на цѣлыя десятки верстъ. И что такое это едва уловимое мельканіе голубыхъ искръ? Крикъ ли это радости при неожиданной встрѣчѣ двухъ существъ въ огромномъ океанѣ моей бутылки? Яркое ли мгновение любви? Или это сигналъ тревоги, поданный сторожевымъ охраненіемъ мирно трудящемуся населенію? Какая же грозная опасность подошла вдругъ къ нимъ? Страшное чудовище какое, моръ, губительное измѣненіе температуры воды? . .

Я дѣлаю маленькій опытъ, вдругъ легонько шевелю бутылку — вся она загорается цѣлыми потоками голубыхъ искръ. Значитъ, это дѣйствительно предупрежденіе объ опасности, выраженіе страха. Я повторяю встряхиваніе еще разъ, и еще, и еще — съ каждымъ разомъ свѣченіе становится все меньше и меньше и, наконецъ, совсѣмъ прекращается: инфузоріи привыкли, поняли, что это бурное, катастрофическое движеніе ихъ океана безвредно, что оно ничѣмъ особенно страшнымъ имъ не грозитъ, и перестали реагировать. Не одни и тѣ же инфузоріи, конечно, ибо между однимъ и другимъ встряхиваньемъ бутылки прошла, можетъ быть, цѣлая минута, въ теченіе которой успѣли, вѣроятно, смѣниться нѣсколько поколѣній инфузорій, успѣвшихъ передать одно другому, что эти ураганы сравнительно безвредны, что они бываютъ только очень рѣдко, разъ въ минуту, т. е. обнимаютъ огромные періоды ихъ исторіи, — какъ отъ нашего переселенія народовъ, напримѣръ, до Среднихъ Вѣковъ, или отъ Возрожденія до нашей европейской войны — что они стали естественнымъ нормальнымъ условіемъ ихъ мимолетной жизни. Или, можетъ быть, эти безчисленныя толпы инфузорій поняли, что этимъ страшнымъ катастрофамъ, уносящимъ миллионы безвинныхъ существованій, противиться невозможно, что все, что остается, это покорно терпѣть и въ тупомъ отчаяніи или глубокой грусти ждать конца. Во всякомъ случаѣ голубой сигналъ этотъ, чтобы онъ ни выражалъ, есть признакъ мірового вою, а тамъ, гдѣ вою, тамъ неизбѣжно и страданіе. . .

Страданіе въ бутылкѣ. Смѣшно! . . Да, глушцу смѣшно, конечно, но сѣдые волосы обязываютъ къ проникновенію, а проникновеніе открываетъ, что бутылка и Черное море, изъ котораго эта вода взята, и весь Божій міръ, въ которомъ Черное море только жалкая лужица, брызга воды на вертявомъ шарикѣ Земли — одно и то же.

Европейская война, гражданская война, голодь, небывалый тифъ — какой ужась! . . Да это просто кто-то взбалтываетъ — можетъ быть, изъ простаго любопытства: что выйдетъ изъ всего этого? — нашу бутылку Землю, и наши тревожные крики о гибели Россіи, культуры, человѣчества это только голубыя искорки, нарядная игра которыхъ кого-то забавляетъ. Бутылка моя также непонятна и таинственна, какъ и вселенная, и все наше «знаніе» смотритъ въ нее съ такою же безпомощностью, какъ и въ свѣтлыя бездны Млечнаго Пути, и, когда я проникновенно, съ безконечной печалью смотрю черной ночью на эту тихую, огневую игру, я совершенно четко понимаю, что выборъ факультета для моего Левика — пустяки, надъ которыми не стоитъ задумываться и секунды, и что дикарь, который, можетъ быть, упалъ бы передъ этой сверкающей во мракѣ бутылкой ницъ и восторженно обоготворилъ бы ее въ безсиліи своемъ, нисколько не глупѣ Лапласа и Ньютона. . .

Элон и морлоки.

У знаменитаго англійскаго фантазера Уэллса есть интересный романъ, въ которомъ онъ рисуеъ отдаленное будущее человѣчества. До Уэллса было принято представлять себѣ это будущее въ самыхъ розовыхъ тонахъ — онъ первый мужественно порвалъ съ этой наивной белибердой и сказалъ намъ, что будущее наше можетъ быть не только не лучше, но и много хуже нашего настоящаго. Онъ рассказываетъ, какъ постепенно, въ медлительной эволюціи, человѣчество раздѣлилось въ концѣ концовъ, въ отдаленномъ будущемъ, на два рѣзко враждебныхъ лагеря, на утонченныхъ и слабыхъ злоевъ и мрачныхъ и жестокихъ морлоковъ, которые живутъ въ глубинахъ земли, ведутъ непрестанную борьбу со свѣтлыми злоями и иногда даже просто пожираютъ ихъ.

И вотъ недавно, въ бессонную ночь, въ то время, какъ среди тихихъ и прекрасныхъ штирійскихъ горъ тосковало задавленное кошмарами жизни сердце, голодное сердце современнаго человѣка, мнѣ вдругъ съ ужасомъ раскрылось, что это дѣленіе человѣчества на свѣтлыхъ злоевъ и темныхъ морлоковъ, которымъ пугаетъ насъ Уэллсъ, уже произошло, и даже не въ наше время, а много, много раньше, что оно было всегда.

Боже мой, да развѣ Тотъ, Кто на солнечномъ холмѣ, на берегу свѣтлаго озера говорилъ людямъ чарующія рѣчи о любви не только къ ближнему, но и къ врагамъ, не былъ свѣтлымъ злоевъ и развѣ не жуткіе морлоки отвѣтили Ему звѣринымъ ревомъ: «распи Его!..» Развѣ почти шестьсотъ лѣтъ до Него на поросшихъ олеандромъ берегахъ Иллисуса, въ виду тогда только еще строившагося Акрополя съ божественно-прекраснымъ Пареенономъ, не свѣтлый злой говорилъ свои рѣчи, которыя заколдовываютъ насъ еще и теперь, и развѣ не смрадные морлоки поднесли ему съ дьявольской усмѣшкой чашу съ цикутой? Развѣ не свѣтлые злои погибли на римскихъ аренахъ подъ пьяными отъ крови взглядами морлоковъ, заполнявшихъ амфитеатръ? Развѣ не свѣтлый злой пѣлъ среди перламутровонѣжныхъ холмовъ Ассизи свой гимнъ брату-Солнцу и сестрицамъ-птичкамъ и брату-вѣтерку? Развѣ не злой крикнулъ въ мукѣ въ лицо тупымъ морлокамъ свое удивительное: «а она все-таки вертится!..» Мы въ ужасѣ оглядываемъ всю исторію человѣческую и вездѣ, подъ всеми широтами, во всехъ вѣкахъ видимъ одно и то же: звѣздочки, рѣдкія звѣздочки злоевъ среди темныхъ тучъ морлоковъ, которые страшно поглощаютъ эти звѣздочки съ тупою, упорною злобой, какъ будто онѣ мѣшаютъ имъ больше всего на свѣтѣ. И нѣтъ до сихъ поръ моста, которой соединилъ бы эти два міра чрезъ раздѣляющую ихъ пропасть, нѣтъ! А если иногда и случалось, что происходило какое то подобіе соединенія, то становилось еще страшнѣе: у свѣтлаго злоя вдругъ обнаруживались клыки морлока и щетинилась на загривкѣ звѣриная шерсть. Вѣдь изъ нѣжной галилейской сказки выросла инквизиція, вѣдь именемъ Его пролиты моря крови, можетъ быть, большія, чѣмъ пролилъ какой-нибудь Атилла, вѣдь во имя Его замучены безконечныя тысячи его свѣтлыхъ братьевъ-злоевъ... Его имя оказалось знаменемъ въ волосатыхъ рукахъ страшныхъ морлоковъ — нѣтъ, конечно, уже въ тысячу разъ лучше погибнуть безславно и безвѣстно совсѣмъ, чѣмъ жить въ вѣкахъ такъ...

И, если мы забудемъ наши минутные интересы, раздраженія, симпатіи и антипатіи и взглянемъ на то, что происходитъ на нашихъ глазахъ, съ высоты звѣздъ небесныхъ, безстрастно, то мы увидимъ трагедію, отъ которой повѣетъ въ душу ужасомъ безмѣрнымъ.

Мы всё читали книги Толстого, читали Крапоткина, читали Э. Реклю, мы всё знали лично святыхъ революціонеровъ — какъ ни несогласны мы съ ними, какъ ни далеки они отъ насъ, людей съ опаленными кряльями, все же въ хорошую минуту мы не можемъ не сказать съ глубокимъ и свѣтлымъ волненіемъ: да, это свѣтлые элон, это — дѣти Божіи скорѣе, чѣмъ дѣти грѣшной земли. И что же произошло на нашихъ глазахъ? На нашихъ глазахъ пьяные матросы и проститутки, подлые болтуны-карьеристы и бѣглые каторжники, покрытые десятки разъ невинною кровью, вырвали у нихъ изъ слабыхъ рукъ свѣтлое знамя и сказали: «эти знамя теперь понесемъ жизнью мы!» И вотъ во имя свободы, равенства, братства, труда, любви, радости жизни — открылись смрадные вертепы чрезвычайекъ, рѣками полилась человѣческая кровь и содрогнулась земля отъ неслыханныхъ преступленій, отъ мукъ свѣтлыхъ злоевъ, которые не могли признать господиномъ жизни окровавленнаго гориллу! . . .

И будьте вы хоть тысячу разъ убѣжденнымъ революціонеромъ, но если вы революціонеръ честный, съ живымъ сердцемъ человѣческимъ въ груди, то безъ слезъ жалости и восторга не могли вы смотрѣть на гибель сотенъ, тысячъ, десятковъ тысячъ мальчиковъ подъ старымъ русскимъ трехцвѣтнымъ знаменемъ то въ ледяныхъ, то въ жгучихъ степяхъ Кубани и Дона. Конечно, были тутъ и подневольные, но сколько же было среди нихъ этихъ свѣтлыхъ, святыхъ злоевъ! И пьяные морлоки промотали, пропили, предали ихъ святая могилы, сдѣлали безмѣрную жертву ихъ жертвой безплодной. . . Но то были — элон.

Съ той стороны погибли элон и съ этой стороны погибли они же, раздѣленные непониманіемъ, а уцѣлѣли и тамъ, и на этой сторонѣ — морлоки, жирѣющіе мясомъ человѣческимъ. Развѣ это не жутко?

Недавно на выборахъ въ Австріи я видѣлъ агитаціонную афишу социалистовъ: въ шикарной коляскѣ съ ливрейнымъ кучеромъ и лакеемъ пышно развалились на мягкихъ подушкахъ два князя церкви съ чудесными сигарами во рту, а на переднемъ планѣ изображенъ оборванный, изможденный Христосъ, Который съ негодованіемъ отвернулся отъ нихъ и горько шепчетъ:

— Нѣтъ, не этого хотѣлъ Я! . . .

Социалисты совершенно правы: не этого хотѣлъ Онъ! Но теперь мы уже не на столько наивны, чтобы не понимать, чего хотятъ тутъ социалисты. Нѣтъ, и они хотятъ совсѣмъ не справедливости, не всеобщей радости, — главная цѣль этихъ ихъ афишекъ въ томъ, чтобы вышибить изъ щегольской коляски князей церкви и . . . самимъ засѣсть въ нее, какъ это они сдѣлали въ Россіи и дѣлаютъ повсюду!

Съ другой стороны чистый и высокій подвигъ какого-нибудь стараго идеалиста Сусанина и тысячь зеленой молодежи, погибшей на нашихъ глазахъ за Россію, морлоки ловко и быстро приспособляютъ для своихъ цѣлей и, съ паосомъ крича о великой Россіи, ищутъ, кого бы ободрать, какъ бы изъ щегольского автомобиля вышнудить товарища Ленина и . . . самимъ забраться въ него. . .

Все содержаніе исторіи — въ борьбѣ морлоковъ за теплыя мѣста и для борьбы этой они готовы принять какое угодно знамя. А наивные элон платятъ за ихъ побѣды морями своей святой крови и въ мукѣ невыразимой погибаютъ, за что имъ, впрочемъ, впоследствии ставятъ иногда памятники и воздаютъ платоническое, ни къ чему необязывающее и потому въ корнѣ лживое, поклоненіе.

Но, можетъ быть, когда-нибудь цѣною этихъ страшныхъ тысячелѣтнихъ усилій элон и побѣдятъ? Есть люди наивные, которые вѣрятъ въ это, и есть люди трезвые, которые съ отчаяніемъ въ сердцѣ на этихъ надеждахъ давно поставили крестъ. . .

Надъ старымъ камнемъ.

Старый, искрошившійся камень, а по камню, полустертая, бѣжитъ латынь:

«Коротко мое слово, о, путникъ, — остановись и прочти его.
Безобразный камень прикрываетъ собою прекрасную женщину.
Родители звали ее Клавдией;
Настоящей любовью любила она мужа своего;
Двухъ сыновей породила она; одного покинула на землѣ,
А другого укрыла она въ лонѣ земли.
Благопристойна была рѣчь ея и благородны манеры,
За домомъ своимъ наблюдала она и сидѣла за прялкой.
Я кончилъ. Ступай.»

Слова эти были написаны на этомъ камнѣ 2500 лѣтъ тому назадъ, — «въ глубокой древности», какъ принято говорить.

Есть люди, ощущающіе свою жизнь, какъ нѣчто очень солидное и продолжительное, — для нихъ это, конечно, огромный срокъ и жизнь человѣчества представляется имъ медлительнымъ и величавымъ процессомъ, вродѣ намыванія морскихъ береговъ или вывѣтриванія горъ, какъ они и любятъ говорить. Но есть люди — вродѣ меня, — которымъ жизнь ихъ представляется чѣмъ-то очень легкимъ и мимолетнымъ. Для нихъ прекрасная Клавдія жила только вчера, — 2500 лѣтъ это только 50 такихъ коротенькихъ жизней, какъ моя! И тѣмъ не менѣе между прекрасной Клавдией и мною успѣли пронестись и вѣкъ Августа, и паденіе Рима и Греціи, и зарожденіе и упадокъ христіанства, и тяжелое Средневѣковье, и пестрое Возрожденіе, и войны Наполеона, и расцвѣтъ Европы до ея катастрофы и гибели цѣлаго ряда великихъ царствъ, какъ Россія, Германія, Австрія, и буйно вспыхнулъ и утонулъ въ крови большевизмъ. И потому мнѣ исторія человѣчества представляется яркой и спѣшной катастрофой вродѣ изверженія вулкана, огненнымъ вихремъ. И перестаютъ пугать ея страшныя новшества, вродѣ «соціальной» революціи, ибо бури и спѣшныя измѣненія катастрофы — ея основной законъ.

О бесѣдѣ.

Одно изъ самыхъ тонкихъ, но и самыхъ трудно-достижимыхъ, почти недоступныхъ наслажденій это наслажденіе бесѣдой. Каждый изъ насъ долженъ былъ бы учиться этому высокому искусству, какъ учатся играть на скрипкѣ или живописи. И первое, что тутъ нужно, это, конечно, долгое и терпѣливое упражненіе: опять и опять сначала. . . И какъ и во всякомъ искусствѣ, и здѣсь истинные художники, истинные мастера будутъ очень и очень рѣдки.

Главное препятствіе къ тому, чтобы бесѣда была наслажденіемъ, чтобы была она радостью, въ томъ, что большинство людей никакъ не можетъ отрѣшиться отъ сознанія своей постоянной правоты и потому бесѣда, т. е. дружескій обмѣнъ цѣнностями, нарядной мыслью, красивымъ чувствомъ, у насъ быстро вырождается въ

споръ, въ отстаиванье своего, доказательство своей правоты, что и не умно, и нестерпимо скучно. Въ сущности, бесѣдовать, какъ слѣдуетъ, могутъ только скептики, если, впрочемъ, изъ своего скептицизма они не сдѣлаютъ догмы.

Вотъ условія необходимыя для радостнаго наслажденія бесѣдой:

- 1 — Никогда, ни въ какомъ случаѣ не ломать казенныхъ стульевъ, хотя бы Александръ Македонскій и былъ герой, не употреблять черезчуръ сильныхъ и грубыхъ выраженій, не выражать бурныхъ чувствъ, — быть всегда тихимъ и яснымъ;
- 2 — Отказаться отъ убѣжденія, что вся истина въ тебѣ — это и вообще необходимо для мудрой жизни;
- 3 — Стараться не осуждать, но разсуждать, а потому умиротворять, примирять;
- 4 — Не обнажать очень душу, беречь ее подъ легкимъ красивымъ покрываломъ;
- 5 — Метать только бисеръ, но отнюдь
- 6 — Не передъ свиньями — то есть, умѣть выбирать собесѣдника. . .

Всеобщая, прямая, равная и явная чепуха.

Индусы рассказываютъ: «жилъ одинъ браминъ по имени Васантаяджи и вздумалось ему однажды принести жертву. Онъ купилъ въ сосѣдней деревнѣ пять лучшихъ козловъ и, привязавъ ихъ на веревку, отправился домой. Четверо жуликовъ, увидавъ козловъ, захотѣли стянуть ихъ. Одинъ изъ нихъ подошелъ къ брамину и сказалъ: куда это ведешь ты столько бѣшеныхъ собакъ?» Браминъ подумалъ, что онъ сумасшедшій, и молча продолжалъ свой путь. Черезъ нѣсколько времени встрѣчается съ ними второй жуликъ и говоритъ, чтобы онъ остерегался, ибо его бѣшенныя собаки могутъ перекусать народъ. Въ душу брамина запало сомнѣнiе и онъ недовѣрчиво покосился на своихъ козловъ. Опять немного спустя ему встрѣчается третій мошенникъ, который при приближеніи брамина испуганно отскакиваетъ въ сторону и, страшно разсердившись, начинаетъ упрекать брамина, что онъ ходитъ по общественнымъ дорогамъ съ бѣшеными собаками. Браминъ окончательно повѣрилъ, что это не козлы, а бѣшенныя собаки, и весь трясаясь отъ страха, началъ распутывать веревку; тогда къ нему подошелъ четвертый жуликъ и сказалъ, что лучше привязать собакъ къ дереву, чтобы они не разбѣжались и не покусали людей. Браминъ такъ и сдѣлалъ и убѣжалъ домой. Тогда жулики подошли и, отвязавъ, увели козловъ къ себѣ. (Индусск. фольклоръ).»

Пять лѣтъ тому назадъ русскому народу сказалъ одинъ болтунъ, что лучше Маруси Спиридоновой никто не управитъ его судьбами. Народъ недовѣрчиво покосился и пошелъ далѣе. Другой болтунъ, приблизившись, сказалъ, что вотъ Маруся Спиридонова выведетъ народъ изъ тяжелаго положенія лучше всѣхъ. Народъ внимательно оглядѣлъ Марусю: дѣвка, какъ дѣвка, а между прочимъ, кто ее тамъ знаетъ? Третій, четвертый, десятый, сотый болтуны повторили это въ своихъ газетахъ и прокламаціяхъ, и вотъ посредствомъ прямого, равнаго, тайнаго и всеобщаго во главѣ русскаго народа стала Маруся и всѣ, иже съ ней: и Черновъ, и Керенскій, и Ленинъ, и цѣлый сонмъ другихъ столь же блестящихъ государственныхъ людей, а жулики — нѣкоторые изъ нихъ были въ самомъ тѣсномъ «контактѣ» съ этими государственными людьми, — украли у русскаго народа его Россію. . .

Даже умный человекъ можетъ быть одураченъ, если люди вокругъ него упорно поддерживаютъ завѣдомую нелѣпность. Даже умные люди могутъ повѣрить, что большинство голосовъ вотирующихъ обезпечиваетъ что-то такое, кромѣ выгоды того или другого политика. И что всего забавнѣе, такъ это то, что въ той же Индіи все болѣе и болѣе усиливается партія реформъ въ западно-европейскомъ духѣ. И, конечно, придетъ время, когда голые индусскіе мужики пойдутъ къ урнамъ выбирать прямымъ, равнымъ, тайнымъ и всеобщимъ какую-нибудь Марусю, въ полной увѣренности, что Маруся есть одно изъ самыхъ блестящихъ завоеваній ихъ индусской великой и безкровной революціи... А придя домой съ выборовъ, индусскіе граждане сядутъ мирно вечеромъ у огонька и будутъ рассказывать дѣтишкамъ о хитрыхъ жуликахъ и о браминѣ Васантаянджи съ его козлами...

На охотѣ.

По-осеннему тихая пойма, пылающая, какъ огромная неопалимая купина, тихія, прозрачныя озера, затканная золотой кувшинкой и бѣлыми лиліями, бездонное блѣдное небо, и рыдаютъ среди золотыхъ зарослей собаки въ погонѣ за звѣремъ.

— Лиса... — говоритъ Чебуханъ.

— Да. Но не надо трогать ее... — говорю я. — Возьмемъ попослѣднѣе, а теперь она куда не годится.

— Такъ я буду сбивать гончихъ...

— Да, сбивай...

И въ тишинѣ золотыхъ осеннихъ сновъ поймы протяжно и унывно запѣлъ охотничій рогъ...

И я сижу на мягкой кочкѣ подъ старыми кленами и дубами, осыпающими меня золотомъ своихъ листьевъ, и смотрю, какъ Чебуханъ трубитъ и наманиваетъ собакъ. У Чебухана лисьи глазки, длинная рыжая борода — точно по груди у него кто лисью шкуру разостлалъ — и какая-то сѣрая рвань на ловкомъ, неутомимомъ тѣлѣ, и лапти на быстрыхъ, безшумныхъ ногахъ, и отъ него крѣпко пахнетъ, какъ отъ звѣря. Его представленія о мірѣ только очень немногимъ отличаются отъ представлений лисицы или зайца — онъ весь насквозь дикій, хитрый, сильный. Онъ звѣрь, Чебуханъ...

И плачетъ протяжно въ чуткой тишинѣ, надъ зеркальными озерами, гдѣ спятъ бѣлыя лиліи, мѣдный рогъ, и дико, какъ лѣшій, гогочетъ Чебуханъ, вызывая собакъ, и въ моей душѣ властно звучатъ голоса моихъ пещерныхъ предковъ, для которыхъ жить значило гонять звѣря въ дикихъ лѣсахъ, ловить птицу, дышать свѣжимъ, смолистымъ воздухомъ лѣсныхъ пустынь — я заодно съ этими пещерными людьми, съ дикимъ Чебуханомъ, съ страстно рыдающими собаками, съ проворной лисой, которая, распушивъ «трубу», безшумно и быстро плыветъ подъ собаками, заодно съ этой багряной, дремлющей осеннимъ сномъ поймой. Пусть говорятъ, что охота — «злая забава», пусть: вся жизнь злая, злая и красивая, и въ концѣ-концовъ я такой же звѣрь, какъ Чебуханъ, какъ рыдающія собаки. Я не помню, кто — кажется, Бальмонтъ — высказалъ этотъ безобразный на первый взглядъ парадоксъ: никто, кромѣ охотника, не любитъ такъ дикаго звѣря, — онъ убиваетъ его и любитъ, убиваетъ, любя. Это безобразно, но вѣрно. И даже не любитъ, а больше — онъ со звѣремъ одно: лиса ловитъ зайца, собаки — лису, а насъ съ Чебуханомъ подомнетъ, можетъ быть, подъ себя когда-нибудь раненый медвѣдь, а то такъ какая-нибудь невидимая бацилла спокойно оборветъ радужныя нити нашей жизни...

И плачетъ унывно рогъ...

— Сюда, сюда, собачки... — дико, какъ лѣшій, ореть Чебуханъ. — Вотъ онъ, вотъ онъ прошелъ! О-го-го-го-го!..

— О-го-го-го-го... — тихо стонетъ багряная пойма.

И въ душѣ какая-то холодная жуть и древней, древней, сѣдой и дикой чувствуетъ себя душа...

Хорошо!..

Собаки выходятъ изъ зарослей, узкія, сухія, съ вываленными красными языками, помахиваютъ удовлетворенно гонами, и я въ первый разъ замѣчаю, какъ прекрасны и стильны мои костромичи. Гончія — это собаки осени и онѣ выдержаны въ осеннихъ тонахъ: на нихъ багряныя, какъ этотъ лѣсъ, рубашки, и бархатно-черныя, какъ осеннія ночи, чепраки, и если бы я захотѣлъ написать аллегорическую картину осени, я непременно окружилъ бы эту прекрасную богиню въ золотыхъ одеждахъ багряно-черными собаками съ высунутыми красными языками и дико-горящими глазами.

И затихли звуки рога, и надъ горящей поймой запылало закатными огнями небо...

— Можетъ, постоимъ зорю на перелетѣ? — говорить Чебуханъ.

— Постоимъ...

И вотъ я забился въ точно опаленный кустъ дубняка, въ самой головѣ дремлющаго озера. На той сторонѣ — пылающій лѣсъ, отражающійся въ спящей водѣ. И пылаетъ заря... И рядомъ со мной на опавшихъ, такихъ пахучихъ листьяхъ лежатъ собаки и, чутко настороживъ уши, озираются и ждутъ...

Но утокъ нѣтъ — еще рано для нихъ, пролетѣть еще не начался... Но не досадно: не все ли равно? Слишкомъ прекрасно это пылающее небо, и эта пылающая пойма, и этотъ нѣжный туманъ, поднимающійся отъ пахучей земли и отъ зеркальных озеръ, и этотъ легкій морозецъ, охватывающій пріятной дрожью уставшее за день бѣготни тѣло...

И прошумѣла въ сизо-розовато-золотистомъ сумракѣ надъ головой невидимая отъ быстроты полета стая чирковъ, и тревожно зачочкалъ на томъ берегу дроздъ, и изъ глубины лѣса несутся странные, непонятные звуки, и шелесты, и шорохи дикой лѣсной жизни... И вдругъ, четко вырисовываясь на пылающемъ небѣ, надъ озеромъ, изъ-за лѣса появились три черныхъ, какъ уголь, прекрасныхъ силуэта съ длинными шеями...

Рѣзко молнія разорвала сизый сумракъ надвигающейся ночи, и выстрѣлъ тяжело встряхнулъ спящую землю, и одинъ изъ селезней, трепеща крыльями, упалъ на золотые, пахучіе листья, и горячіе рубины крови зажглись на нихъ, и гончія съ удовольствіемъ махала своими крутыми гонами...

И тускнѣетъ заря за лѣсами, и морозить, и темно... И загорается прекрасная вечерняя звѣзда надъ темными стогами, чистая, какъ слеза ангела... И мы шагаемъ съ Чебуханомъ и собаками тихими еланями поймы, подъ звѣздами... И вокругъ все жутко и дико, и говорятъ смутно въ душѣ древніе дикіе голоса. И ни о чемъ, ни о чемъ не думается, ничего и никуда не хочется, — развѣ только въ сѣнной сарай, на мягкое душистое сѣно...

Въ морѣ.

Море нѣжится и смѣется подь яркимъ апрѣльскимъ солнышкомъ и легкой береговой вѣтерокъ — его зовутъ здѣсь «климать», — покрываетъ его гладь огромными іероглифами, чертитъ по зеркалу безконечный лабиринтъ какихъ-то причудливыхъ, никуда не ведущихъ дорогъ. Но нашей стройной, черной, съ бѣло-красной каймой вдоль бортовъ «Худа-Верды» нѣтъ нужды въ этихъ дорогахъ: слегка накренившись на лѣвый бортъ подь своимъ бѣлымъ и острымъ, какъ крыло чайки, парусомъ, она несется въ голубую, сверкающую солнцемъ даль моря, прочь отъ этихъ скалистыхъ, почти безлюдныхъ береговъ, надъ которыми вдали чуть розовѣютъ, странно волнуя, неодолимо маня, снѣговые хребты. И ласково хлопочетъ подь бортами вода...

Насъ въ лодкѣ пятеро.

На носу, въ хищной позѣ затаившагося звѣря, лежитъ съ длинной фузеей въ рукахъ старый, оборванный, похожій на обезьяну Османъ и маленькими звѣринными глазками непрерывно ощупываетъ муаровыя глади моря: не покажется ли гдѣ черная, точно лакированная спина желаннаго дельфина? Ближе ко мнѣ, около мачты, полулежитъ лѣнливо дикій, черный, далекій — онъ ни слова не знаетъ порусски, — Рификъ въ красной фескѣ и мечтательный, ласковый мальчикъ съ милой женской улыбкой Хемдинъ, съ головой, укутанной въ башлыкъ, какъ это дѣлаютъ курды. Рификъ недавно вырвался изъ кровавыхъ вихрей войны, охотно забылъ все, что тамъ видѣлъ и пережилъ, и теперь, видимо, отдыхаетъ. Хемдинъ немножко груститъ — можетъ быть, о своемъ родномъ домѣ въ солнечномъ Ризе, съ плоской кровлей, съ апельсиновымъ садомъ вокругъ, который скрытъ гдѣ-то за этой туманно-голубой далью... Ближе къ кормѣ, на канатахъ, прикрытыхъ толстымъ брезентомъ, въ позѣ кейфующаго паши развалился я, а за мной, положивъ лѣвую руку на руль, а правой держа шкотъ, сидитъ всегда вѣжливый и веселый Якубъ въ потертомъ пиджачишкѣ и грязной лохматой черкесской папахѣ. Якубъ былъ въ свое время призванъ на войну, но струсиль, не пошелъ и все время войны околачивался по Россіи, кормясь, чѣмъ Богъ пошлетъ, а теперь ему нельзя возвратиться на родину и нельзя почему-то принять и русское подданство.

— Теперь ми — цигански подданныи... — съ обычнымъ своимъ юморомъ говоритъ онъ.

У него душа теперь уже не прежняя, турецкая душа, — прямая, честная, привязчивая, — среди насъ, лживыхъ и непостоянныхъ, онъ поистрепался, но меня роднитъ съ нимъ это что-то цыганское, дикое, вольное, что чувствуетъ въ немъ.

«Худа Верды» несется все впередъ и впередъ, и грѣетъ солнышко, и ласкаетъ вѣтерокъ, и лопочетъ подь бортомъ вода, и все дальше и дальше уходитъ отъ насъ скалистый, пустынный берегъ. На душѣ — солнце и лѣнь... Турки изрѣдка перекидываются непонятными мнѣ фразами, причудливыми, какъ тѣ узорныя арабскія буквы, которыми выписано на бортахъ названіе ихъ вѣрной фелюги. Я схватываю только нѣсколько русскихъ словъ, странно попавшихъ въ эту арабскую вязь: «начальникъ... камбала... кордонъ...», да часто слышится «балукъ», т. е. рыба, которая играетъ въ ихъ жизни вмѣстѣ съ дельфиномъ такую огромную роль: есть балукъ, есть чушка — они дѣятельны и радостны, они ясно живутъ своей простой, трудовой жизнью то въ темномъ вонючемъ «балаганѣ» на берегу, среди своихъ пахучихъ сѣтей и всякаго «хабуръ-чабуръ», то въ родныхъ имъ просторахъ этого безпокойнаго моря; нѣтъ балукъ, нѣтъ чушка, — они туманны и покорны, и ждутъ,

пока Аллахъ смилостивится надъ ними и пошлетъ имъ изъ глубинъ морскихъ ихъ хлѣбъ насущный. . .

— Якубъ, а что это значить Худа-Верды? — лѣниво спрашиваю я.

— Худа Верды по нашему это тоже, что по-арабски Алла-Верды . . . — говорить онъ.

— А что такое по-арабски Алла-Верды?

— Алла Верды значить Богъ даль. . .

Богъ даль имъ эту стройную фелюгу, и эту тихую жизнь ихъ, этотъ ясный день, Богъ дастъ имъ, конечно, и добычу, которую все высматриваютъ въ зелено-голубыхъ муаровыхъ тканяхъ моря звѣриные, хищные глазки стараго Османа.

— Богъ даль . . . — говоритъ задумчиво Якубъ. — Все Богъ даль. . . Надо помнить Бога. Вотъ забыли Бога, забыли падишаха, забыли законъ, — Богъ и наказаль сперва войной этой, а потомъ и поражениемъ. . . Вотъ народъ и одумался. . .

— Что же хочеть теперь твой народъ?

— Хочеть народъ наказать тѣхъ, кто повелъ его противъ падишаха и противъ закона . . . — отвѣчалъ Якубъ. — Э, только бы намъ поймать ихъ, тѣхъ, что погубили Турцію, только бы не упустить! . . . Развѣ можно было противъ падишаха итти, противъ закона итти? . . . Ай-ай. . .

И дивлюсь я въ тайнѣ на странную судьбу человѣческую: моя страна потерпѣла жестокое поражение при старыхъ порядкахъ, и народъ съ яростью разрушилъ все старое, а въ странѣ сосѣдней, межа съ межой, несчастье пришло, когда у власти были новые люди, и вотъ мой Якубъ уже ищетъ головы этихъ людей. И вотъ мы идемъ искать счастья въ одну сторону, а турки идутъ въ обратную, туда, откуда мы вышли. . . И больше, чѣмъ когда-либо, мнѣ становится ясно, что исторія человѣческая это вѣчный бѣгъ на мѣстѣ, никуда не ведущій, и что лучшая изъ всѣхъ заповѣдей, мудрѣйшая: сиди смиренно на своихъ канатахъ, дыши, грѣйся на солнышкѣ и — никуда «не рыпайся». . .

Вдругъ Рификъ обронилъ два-три гортанныхъ звука, и всѣ турки разомъ вытянулись и замерли. . . Вдали, въ зеркальной глади, ближе къ берегу, вдругъ разомъ выгнулись двѣ черныхъ лакированныхъ спины. Якубъ коротко отдалъ какую-то команду. Рификъ и Хемдинъ разомъ перетянули парусъ, а старый горилла, Османъ, съ огромной фузеей въ рукахъ стоялъ уже во весь ростъ на носу. «Худа-Верды» понеслась прямо на дельфиновъ. . .

Въ морѣ подъ водой шло огромное темное облако. Бѣлыя чайки съ рѣзкими, хриплыми криками то и дѣло припадали тамъ къ водѣ, и поднимались въ воздухъ, и снова припадали. Черныя спины дельфиновъ весело кувыркались по краямъ облака.

— Балукъ . . . — коротко сказалъ мнѣ Якубъ, указывая на облако.

— Сельдь?

— Должно быть. А, можетъ, и хамса. . .

Все ближе и ближе. Мы уже въ нѣсколькихъ десяткахъ саженой отъ кувыркающихся дельфиновъ. На шлюпкѣ все замерло въ страстномъ охотничьемъ ожиданіи. Старый Османъ весь былъ сдержанный порывъ и угольками горѣли среди сѣрыхъ зарослей бороды его звѣриные глазки. . . Еще ближе. . . И вдругъ короткимъ, неуловимо-быстрымъ движениемъ Османъ вскинулъ фузею и оглушительно грянулъ чудовищный выстрѣлъ. Еще мгновение и всѣ турки загалдѣли вдругъ, какъ бѣсноватые: по сверкающему морю вдругъ разлилось огромное, мутно-красное пятно, и въ немъ заблѣло блестяще-бѣлое брюхо убитаго дельфина. Брошенный Якубомъ

парусъ забился, какъ крыло раненой птицы, шлюпка закачалась, Рификъ и Хемдинъ были уже на веслахъ, Якубъ на кормѣ и Османъ на носу стояли во весь ростъ съ длинными баграми въ рукахъ. Нѣсколько минутъ судорожнаго метанія шлюпки по морю, невѣроятнаго галдѣнья, — упустить добычу было бы жалко: порохъ стоитъ вѣдь денегъ . . . — и, наконецъ, старикъ подводитъ дельфина къ борту и черная, гладкая туша его тяжело падаетъ на дно баркаса. Надъ лѣвымъ глазомъ животнаго — огромная, кровавая дыра.

— Молодецъ, Османъ! . . . — говорю я.

Тотъ, довольный, оскаливаетъ свои желтые, извѣденные зубы.

— Маладецъ . . . — повторяетъ онъ. — Карошъ!

Онъ сидитъ уже надъ убитымъ дельфиномъ и быстрыми, ловкими движеніями короткаго ножа снимаетъ съ него толстые пласты бѣлаго жира. Заработали хорошо. . .

— Алла верды . . . — говорю я.

— Алла верды . . . — повторяютъ турки, довольные. — Алла верды. . .

Рификъ и Хемдинъ закрѣпили уже парусъ, Якубъ уже снова за рулемъ и шкотомъ, а старый Османъ, выбросивъ красную, ободранную тушу чушки за бортъ и, зарядивъ снова свою фузею колоссальнымъ количествомъ пороха и картечи, снова ложится на носу. . . Огромное облако мутной крови медленно расходится по морю, ярко-красныя полоски ея пробѣжали вдоль бортовъ фелюги и Хемдинъ мокрой тряпичей тщательно смываетъ ихъ, а когда начинается онъ потомъ маленькой самодѣльной помпой выкачивать изъ лодки набравшуюся воду, вода эта красна и мутна. . .

Снова почти безшумный, дремотный бѣгъ подъ солнцемъ, снова черныя спины выгибаются изъ тихой воды, снова выстрѣлъ, но — дельфинъ уходитъ. Османъ смущенно объясняетъ что-то землякамъ, а тѣ стараются не смотреть на старика: грѣхъ да бѣда на кого не бываютъ. . .

А я, согрѣтый солнцемъ, одиноко думаю:

«Дельфины за рыбой, мы за дельфинами, за нами — Энверъ-паша съ приказомъ о мобилизаци. Да, жизнь борьба. . . И побѣждаетъ въ этой борьбѣ совсѣмъ не умнѣйшій и не сильнѣйшій, какъ наивно думали раньше, и не наиболѣе приспособленный, the fittest, какъ болѣе тонко стали думать потомъ, а тотъ, кому наиболѣе повезетъ, рѣшительно безъ всякой причины, случай, счастье такъ называемое. Одному разворотило голову картечью, а другой неизвѣстно почему ушелъ. И борьба эта и создаетъ всю ярко-пеструю, волнующую красоту жизни, и тщетны попытки фантазеровъ на мѣстѣ воюющихъ становъ этихъ создать величественный бѣлый храмъ всемірнаго братства и справедливости. . .

И всѣмъ существомъ своимъ я чувствую въ эти моменты, что есть въ жизни что-то такое, что выше и дороже и братства, и справедливости, — это вотъ счастье дышать, грѣться, смотреть и лѣнливо думать. . .

Между тѣмъ въ погонѣ за дельфинами мы незамѣтно подбились довольно близко къ берегамъ. Сѣрыя скалы, надъ ними изломы вершинъ и ущелій, еще прозрачные по весеннему лѣса, а мѣстами вокругъ бѣленькихъ домиковъ виднѣются уже бѣлые облака цвѣтущей алычи и розовые — персика. . . И вдругъ вѣтеръ совсѣмъ стихъ, парусъ опалъ и надъ моремъ протянулась вдаль сизо-опаловая гряда, пухлая, какъ длинный кусокъ ваты. . .

— Туманъ идетъ . . . — сказалъ Якубъ.

Вкругъ горныхъ вершинъ уже закурились вдругъ неизвѣстно откуда взявшіяся легкіе облака, но надъ ними попрежнему ярко и весело играло солнце. Уснуло море, уснула фелюга, и задремали въ солнечномъ покоѣ оборванные турки.

Туманъ въ морѣ стоялъ какъ будто на мѣстѣ, и въ то же время насъ невидимо, неслышно и очень быстро охватывало со всѣхъ сторонъ бѣлесой, прохладной, пахнущей моремъ мглой. Вотъ солнце превратилось уже въ блѣдный дискъ безъ лучей, вотъ оно скрылось совсѣмъ, скрылись далекія снѣговья вершины, поблѣднѣли, отступили и скрылись, разсѣявшись, какъ сонъ, посинѣвшія громады ближнихъ горъ, и вотъ мы отрѣзаны отъ всего міра и точно лежимъ и спимъ на днѣ какого-то океана. Не видно ничего — даже Османъ на носу, и тотъ скорѣе похожъ на какое-то привидѣніе, чѣмъ на живого человѣка. И тишина вокругъ такая, какая была, вѣроятно, тогда, когда еще ничего не было во вселенной, и духъ Божій носился надъ бездною... И всѣ молчали, думали, грезили, каждый о томъ, что ему одному только близко и дорого. И между душами стоялъ этотъ тихій, неуловимый, но непроницаемый туманъ...

Но съ юга, — гдѣ раньше стояла опаловая завѣса, — стало свѣтлѣть, свѣтлѣть, снова сверху блѣднымъ дискомъ безъ лучей проступило солнце, потомъ заискрилась въ серебристо-перламутровыхъ тонахъ морская даль, и — ярче заиграло солнце. Глянулъ я вправо, на горы и чуть не ахнулъ: предо мной была какая-то новая, сказочная страна! Знакомыхъ горъ и ущелій не было — было тихое, бѣлое море, незамѣтно сливавшееся съ нашимъ, теперь блѣдно-голубымъ моремъ, а надъ моремъ вставали черные, скалистые острова, покрытые лѣсомъ. И чудныя дѣла свершались теперь на этихъ тихихъ, заколдованныхъ островахъ... Вотъ надъ однимъ изъ нихъ несется въ голубомъ ласковомъ небѣ огромный, свѣтлый, легкокрылый ангелъ и широко распростертыми руками благословляетъ онъ и лѣса его, и синія ущелья, и все, что тамъ живетъ и дышитъ. На другомъ вдругъ поднялась многобашенная мрачная крѣпость съ зубчатыми, полуразрушенными стѣнами и изъ черныхъ воротъ главной башни ея, круглой и тяжелой, вытягиваясь, выходитъ какая-то свѣтлая, блестящая доспѣхами рать — голова воинства уже скрылась въ ущельѣ, а изъ воротъ все идутъ, все идутъ, все идутъ новые полки. Кто знаетъ, то, можетъ быть, души крестоносцевъ востоквались о быломъ и играютъ — они нѣкогда прошли вѣдь этими горами... И блестятъ, мнятся, свѣтлыя латы, и вѣютъ перья на шлемахъ, и сверкаютъ копы, но не слышно ни топота коней, ни лязга оружия, ни голоса начальниковъ... А вонъ тамъ, на круглой, какъ куполъ, вершинѣ закурился жертвенный дымъ и снизу, со всѣхъ сторонъ, несмѣтными толпами потянулись къ горнимъ алтарямъ бѣлые пилигримы съ пальмовыми вѣтвями въ рукахъ, и, поднявшись, опустились на колѣни и бѣлымъ кольцомъ облегли курящуюся легкимъ дымкомъ святыню. А внизъ, до самаго моря сбѣгаетъ огромная, широкая каменная лѣстница, и по бокамъ ея темнѣютъ священныя рощи, и низвергаются въ синія ущелья бѣлые, безшумные водопады, а внизу, на ступени послѣдней, у блѣдно-розовой скалы, легкая и милая, закутанная въ бѣлую фату, стоитъ одинокая женщина и смотритъ въ море... Не меня ли ждетъ она? Иду, иду...

Короткая горловая фраза.

— Йокъ... — отвѣчаетъ лѣниво Якубъ. — Йокъ...

Я вглядываюсь въ турокъ — волшебство продолжается. Какъ будто это была и наша шлюпка, но, можетъ быть, была то и ладья Язона, который пришелъ въ волшебную Колхиду за золотымъ руномъ. Насмотрѣвшись въ театрѣ всякихъ греческихъ трагедій, мы представляемъ себѣ древняго грека въ эдакомъ кудрявомъ парикѣ, въ широкомъ, бѣломъ, очень чистомъ одѣяніи, съ эдакими благородными манерами, но это, конечно, чепуха, — они, а въ особенности Язонъ, были именно вотъ такими дикими, загорѣвшими оборванцами, любившими морекія пустыни много больше, чѣмъ родную мать...

И снова возвращаюсь я къ прижившейся у меня въ душѣ мысли: исторія чело-
вѣчества это бѣгъ на мѣстѣ, это пестрая сказка безъ начала и безъ конца, и все,
что было, то и будетъ, и все, что будетъ, то уже было. Тиканье часовъ и бѣеніе сердца
обманываютъ насъ — время стоитъ. Ничего не измѣнилось. Тысячи лѣтъ тому на-
задъ на этихъ волнахъ, въ виду этихъ скалъ качалась такая же простенькая, съ
заплатанными парусами ладья и такъ же, тѣ же сидѣли въ ней въ тишинѣ безвѣтрія
оборванные, дикіе люди. Правда, между двумя этими ладьями, какъ между скоб-
ками, встала и умерла Греція, Римъ, прошумѣло великое переселеніе народовъ,
дымно завершились Средніе вѣка, отцвѣло Возрожденіе, родилось и погибло великое
множество боговъ и божковъ, пронеслись грозы революцій, безъ конца республики
смѣняли монархіи и монархіи республики, безчисленныя войны заливали кровью
весь земной шаръ, написаны мириады книгъ, произнесены мириады рѣчей, запла-
каны океаны слезъ, изобрѣтены пороховъ, башня Эйфеля, сверхдредноуты, беспровол-
очный телефонъ, прошли по землѣ Будда, Христосъ, Сократъ, Бетховень, Напо-
леонъ, Платонъ, Атилла, Францискъ Ассизскій, Неронъ, Цезарь Борджіа, — цѣлая
бездна между этими двумя ладьями, но, когда предо мной начнутъ очень ужъ раз-
махивать руками и говорить черезчуръ ужъ красиво, я имѣю право указать на
хищную, дикую, оборванную фигуру Османа съ допотопной фузеей въ рукахъ, новаго
Язона, голодомъ пригнаннаго къ нашимъ берегамъ за золотымъ руномъ драгоцѣн-
наго дельфиняго жира, я умѣю право просить прислушаться къ убѣжденному бор-
мотанью Якуба:

— Противъ Бога пошелъ, противъ падишаха пошелъ, — ай, ай... Какъ можно
безъ хозяина?.. Вотъ маленькій «Худа Верды», и тотъ проситъ рулевой: садись,
Якубъ, правь!.. И только бы поймать этихъ жуликовъ! Да нѣтъ, хитрый народъ
— забралъ свой хабуръ-чабуръ и айда... А мы страдай... Ай-ай, не хорошо!..

И онъ приказалъ молодымъ сѣсть на весла.

— Можетъ, въ той щели вѣтеръ поймаетъ... — пояснилъ онъ мнѣ.

Рификъ и Хемдинъ взяли за тяжелыя, доисторическія весла, а я снова погля-
дѣлъ въ горы: ангелъ улетѣлъ, разсѣялся сномъ черный замокъ съ свѣтлыми пол-
ками своими, и только вокругъ горняго алтаря бѣлымъ кольцомъ все еще стояли колѣ-
нопреклоненныя толпы блаженныхъ. А по небу, по голубому океану, неслись надъ
солнечными горами безчисленныя ладьи облаковъ. Куда, зачѣмъ?.. Какъ и мы
— никуда, ни зачѣмъ...

Въ Зеленой щели вѣтра мы не поймали и снова застыли въ солнечномъ покоѣ
моря, выжидая...

И вотъ вдругъ снова изъ зеркальной глади выгнулись двѣ черныхъ спины и
исчезли. Всѣ вскочили и напряженно замерли. И снова ахнулъ выстрѣлъ Османа,
и опять огромное мутно-красное пятно широко расплылось по морю, но — дельфина
не было.

— Пошелъ на дно... — недовольно пробормоталъ Якубъ.

Далеко впереди что-то тяжело забилося на водѣ.

— Вонъ онъ!..

Съ поднятыми баграми, невѣроятно галдя, бросились мы туда, но дельфинъ
— у него былъ отбитъ хвостъ, какъ объяснили турки, — опять скрылся. И опять
забился онъ въ агоніи сзади насъ, и опять мы бросились за нимъ, и опять онъ ушелъ.
И такъ, ни за что, онъ и погибъ — намъ не удалось взять его...

Одинъ оставилъ намъ свой жиръ въ фелюгѣ, другой ушелъ невредимымъ, третій
съ отбитымъ хвостомъ мучительно погибаетъ гдѣ-то подъ этой зеркальной, пре-
красной поверхностью, такой безмятежной, такой сіяющей... Почему такая разная

судьба? Неизвѣстно. Случай... Все случай... Да будемъ покорны ему, ибо другого, вѣдь, ничего и не остается...

И жарко, и тихо, и не хочется думать даже. Но хорошо, ибо ничего, ничего не надо, ничего не хочется... И я тихо благодарю Его и за солнце, и за море, и за дельфина, и за улыбку Хемдина, и за мысли мои, за игру тумана въ горахъ, за всю нашу исторію человѣчества, за просторы морскіе, за тихое бѣненіе сердца въ груди, за все, за все... Все это — Алла верды, Худа верды, Богъ даль...

И хвала Ему!..

... А облака бѣгутъ, бѣгутъ, бѣгутъ надъ моремъ, надъ горами, всюду, — какъ и мы, никуда, ни зачѣмъ...

Апостоль Ѳома.

Апостоль Ѳома, пожелавшій, чтобы убѣдиться, вложить персты въ рану, могъ бы быть патрономъ скептиковъ, если бы только скептики нуждались въ патронѣ. Но Боже мой, какимъ наивнымъ кажется намъ, дѣтямъ XX вѣка, этотъ скептицизмъ, ищущій свидѣтельства перстовъ для того, чтобы увѣровать!.. Мы, старики, уже знаемъ — увы! — что наше сердце обманываетъ насъ на каждомъ шагу не меньше, чѣмъ наша мысль, и наша мысль лжетъ намъ столько же, сколько наши персты, глаза, слухъ, обоняніе. Для того, чтобы увѣровать, намъ — увы! — уже мало вложить персты въ рану — и мы даже не знаемъ, что именно нужно намъ, чтобы увѣровать...

Мы попали въ тяжелое положеніе: мысль наша разрушаетъ всякую возможность всякой вѣры, и въ то же время мы не доверяемъ уже и мысли, зная, что часто лжетъ намъ и она, и опять-таки мы не хотимъ отказаться отъ нашего сувереннаго права мыслить свободно, провѣрять нашей мыслью все, что входитъ въ широкій кругъ нашей жизни. Милый, наивный Ѳома совѣмъ и не подозрѣваль о возможности такого не только раздвоенія, но даже растроенія личности: потрогалъ пальцемъ и кричить «санна!», счастливый человѣкъ...

Вѣрочка.

Гуляю съ Вѣрочкой. Ей хочется непременно погладить лошадку, но это очень страшно.

— Да ничего, ничего, погладь, — успокаиваю я ее. — Погладь: она не тронетъ...

Вѣрочка рѣшается, и на личикѣ и страхъ, и восхищеніе.

Вечеромъ она ласкается ко мнѣ, приговаривая: папа моя, моя папа... И ей хочется, чтобы и Левикъ приласкался, и чтобы и я его поласкалъ. И она уговариваетъ Левика:

— Погладь папу, погладь... Ничего: папа не тронетъ...

Мати-пустыня.

Любимая мечта моя — это мати-пустыня, тихая, совершенно одинокая жизнь гдѣ-нибудь въ глухихъ лѣсистыхъ горахъ, гдѣ я могъ бы ходить, смотрѣть, лежать на теплой землѣ и ничего не дѣлать. Вокругъ нѣтъ никакихъ дорогъ, никакихъ

тропинокъ, кромѣ тѣхъ, которыми ходятъ лоси и медвѣди на водопой, и синія дали, и небо, и никого. И вотъ ходишь прямо, безъ дорогъ, и смотришь въ эту тихую, сосредоточенную въ себѣ жизнь, отъ которой пахнетъ хвоей. Иногда встрѣтишься съ выводкомъ глухарки, съ лисицей, съ медвѣдемъ, встрѣтишься и разойдешься, чтобы никогда больше не встрѣчаться, и остановишься посмотреть, какъ играетъ роса на вѣнчикахъ цвѣтовъ, никогда не видавшихъ человѣка, и какъ прекрасна и таинственна солнечная жизнь стрекозы. А потомъ ляжешь на мягкій мохъ и смотришь въ небо, и плывутъ въ головѣ думы, нѣжныя и бесполезныя, какъ эти кудрявыя облака въ тихомъ небѣ. . .

Наша бѣда въ томъ, что мы втискиваемъ себя неизвѣстно зачѣмъ въ узкія рамки исключительно человѣческой жизни. Мы знаемъ о всѣхъ глупостяхъ, сказанныхъ вчера во всѣхъ газетахъ земли, но не знаемъ, какое вчера ночью было небо и какъ оживленно прошло сегодня утромъ собраніе у свиристелей. Человѣкъ долженъ сознательно открыть свою душу широкой міровой жизни, жизни со свиристелями, облаками, звѣздами и облаками — вѣдь, мы, человѣчество, не вѣнецъ творенія, не полнота жизни, а только одна маленькая нотка въ поэмѣ творенія, такая же, — не больше, не важнѣе, — какъ пѣніе роя пляшущихъ комаровъ, какъ игра облаковъ на зарѣ. . .

А захочется человѣка — вотъ моя полочка съ книгами, совсѣмъ нестроганная, пахнущая смолой, которая на нижней сторонѣ ея виситъ каплями янтаря. Тутъ «Война и миръ», «Казакъ», нѣсколько томиковъ Анатоля Франса, пожалуй, Библия съ ея Экклезиастомъ, «Пѣсню пѣсенъ», псалмами и удивительнымъ Евангеліемъ, Діодоръ Сицилійскій, «Цвѣточки» Франциска Ассизскаго, гимны Ригъ-Веды. . . Черезъ нихъ и бесѣдую я съ людьми о чемъ хочу, когда хочу, сколько хочу, а то пойду къ какому-нибудь дикому башкирину за десять верстъ и буду слушать его дикую пѣсню въ зеленой степи — подъ натискомъ нашей цивилизаціи они вымираютъ тамъ съ покорной дѣтскою улыбкой и вольной пѣсней, — и буду говорить съ нимъ не о ненужныхъ, засаленныхъ миллионами языковъ словахъ, а о звѣздахъ, о цвѣтахъ, о нашей простой жизни, и я буду слушать его съ тихой радостью, и буду смотреть въ его дѣтскіе глаза, и на игру облаковъ надъ горами, и на трепетаніе листьевъ. . . И такъ хорошо, такъ свѣтло, такъ радостно станетъ вдругъ у меня на душѣ, что я подойду и обниму какое-нибудь дерево, прильну щекой къ его корявому, могучему, спокойному стволу и буду стоять и слушать, какъ лѣсъ дышитъ мнѣ въ душу, какъ шепчетъ: такъ, такъ, но крѣпче . . . нѣжнѣе! . .

— Какая чушь! . . — говоритъ Иванъ Ивановичъ. — А что же вы тамъ ѣсть будете?

— Я думаю, кусокъ хлѣба найдется всегда, найдется немножко картофеля, чаю. А то можно собирать травы, корни, ягоды, грибы, орѣхи — цѣлый день, по лѣсистымъ горамъ, на солнышкѣ. . . Это мнѣ больше нравится, чѣмъ изъ трехъ восьмерокъ въ сутки одну истреблять на изготовленіе линючаго ситца, статей по злободневнымъ вопросамъ, зеркаль для самолюбованія, на лекціи въ университетѣ о римскомъ правѣ, на фабрикацію пушекъ и сверхъ-дреднотовъ. . .

— Какой вздоръ! . . — возмущается Иванъ Ивановичъ. — Если всѣ такъ жить будутъ, то погибнуть наука, искусства, цивилизація, весь тысячелѣтній трудъ чело- вѣчества. . .

Если бы многое изъ того, чѣмъ мы сейчасъ такъ загромождаемъ жизнь, погибло, то это было бы только хорошо: жизнь стала бы свѣжѣе, вольнѣе, радостнѣе. Хорошо, если бы погибли, на примѣръ, пропитанныя кровью и ложью газеты, всемірныя вы- ставки съ башней Эйфеля, сверхъ-дредноты, политика, ситецъ, шляпки, дипломаты,

кабаки. . . Но я вѣдь ничего не проповѣдую — именно потому-то такъ и влечетъ меня эта жизнь въ дикихъ горахъ, что тамъ можно молчать. . . И лѣсъ тамъ молчить, и лягушки, и гусеницы, и глухари, и медвѣди, и мхи, все молчить и грезить, и все про себя, а если поетъ и шумитъ, то опять-таки для себя. Тамъ никто не знаетъ этого томительнаго желанія учить, наставлять, говорить. . . И не бойтесь: всѣ не стануть такъ жить. . . хотя бы потому одному, что и самъ я не живу, не могу жить такъ. Что-то, что сильнѣе меня, держитъ меня въ этомъ тяжкомъ, непонятномъ плѣну. И мнѣ нужны типографіи, чтобы говорить объ этомъ вслухъ, нужны бумажныя фабрики, нужна почта, нужно многое. . . Все это — только мечта всей моей жизни, исполненія которой я, конечно, никогда не увижу. . .

Сіяющая земля.

Быль тихій лѣтній вечеръ, одинъ изъ тѣхъ рѣдкихъ вечеровъ, когда вся земля и все, что на ней, сіяетъ: сіяютъ облака въ сіяющемъ небѣ, сіяетъ тихая рѣка, сіяетъ темный лѣсъ, сіяетъ сѣренькая деревушка подъ развѣсистыми березами на пригоркѣ, сіяютъ придорожные цвѣты, сіяетъ пашущая бѣлая лошаденка и сѣрый заплатаанный пахарь, идущій за ней, сіяютъ голоса людей, и ихъ лица, и даже ихъ души. . .

Мы шли изъ лѣсу съ грибами, я и мои ребяташки и ихъ деревенскіе друзья, большая беззаботная компанія. И притихла дѣтвора — не то устали, не то золотой вечеръ заворожилъ и ихъ. И изъ маленькихъ душъ запросилась пѣсня — захотѣлось просіять и имъ, захотѣлось слиться въ одно съ тихо торжествующей, золотой землей. . . Они поговорили между собой, поспорили немного, что именно пѣть, и, наконецъ, неувѣренными, плохо слаженными голосками запѣли:

Румяной зарею
Покрылся востокъ;
Въ селѣ за рѣкою
Потухъ огонекъ. . .
Росой окропились
Цвѣты на поляхъ,
Стада пробудились
На мягкихъ лугахъ. . .

Мелодію они, видимо, создавали тутъ же, на мѣстѣ, и удивительно, и въ ней, неувѣренной и наивной, отражалось это тихое, торжественное сіяніе земли. И меня впервые поразила простая и строгая красота стиха — а кто не знаетъ этихъ стиховъ еще съ дѣтскихъ лѣтъ?

Сѣдые туманы
Плывутъ къ облакамъ,
Гусей караваны
Несутся къ лугамъ. . .

Пѣсенка кончилась. Дѣтишки притихли. . .

— А кто знаетъ, кто сочинилъ эту пѣсенку? — спросилъ я послѣ небольшого молчанія.

— Не знаемъ. . . Никто не знаетъ. . .

Да, слава твоя не въ томъ, милый поэтъ, что на поганомъ бульварѣ господа во фракахъ и бѣлыхъ галстукахъ «открыли» тебѣ безобразный чугунный «памятникъ», — слава твоя вотъ въ этихъ неувѣренныхъ дѣтскихъ голосахъ, которые сіяющимъ

лѣтнимъ вечеромъ поють въ широкихъ, тихихъ поляхъ твои стихи, не зная даже твоего имени. . . Вотъ какой славы долженъ искать каждый писатель. И главное, главное, — чтобы никто и имени твоего не зналъ!

. . . А земля сіяла, сіяли облака въ сіяющемъ небѣ, сіялъ зашпанный сѣрый мужичонка на сіяющей бѣлой лошаdkѣ, сіяли лица, и голоса, и души людей. . .

Тяжелая минута.

Я люблю красавицу-землю, всю, какъ она есть. Мнѣ не надо непременно дикаго шторма на океанѣ или могучихъ снѣжныхъ вершинъ, горящихъ раннимъ утромъ въ небѣ, какъ раскаленные угли, — для меня въ равной степени прекрасна и эта вотъ пыльная излучина пустынной дороги. Съ одной стороны ея — сѣренькая изгородь, сѣренькій овинъ подъ старыми березами, съ другой — тихо волнующаяся сѣро-зеленая рожь, впереди — нѣсколько молоденькихъ березокъ и пышныя кучи красивой ромашки. А вокругъ всюду — лютики, лютики, лютики, и щебетанье ласточекъ, и строятъ вдали надъ темными лѣсами свои причудливыя замки опаловые, всѣ въ упругихъ завиткахъ, облака. . .

Но все яснѣе и яснѣе за этой пестрой, полупрозрачной фатой, за этими волшебными декораціями слышу я истошный, надрывный, вѣковѣчный стонъ: лисица поймала молоденькаго зайчонка и съ еще живого, трепещущаго гѣла его жадно рветъ эту теплую, нѣжную шкурку; глупый парнишка лѣзетъ на старую житницу и, доставъ изъ-подъ застрѣхи желторотыхъ галчакъ, такъ, ни за чѣмъ свертываетъ имъ головы на глазахъ у старыхъ галокъ, которыя кружатся надъ нимъ съ жалобными, хриплыми криками; маленькій ребеночекъ упалъ въ прудъ и безсильно барахтается среди золотыхъ кувшинокъ, и плачетъ, и зоветъ, и захлебывается, и въ мучительномъ, страшномъ одиночествѣ тонетъ; ласточка поѣдаетъ сотни изящныхъ мушекъ, пляшущихъ свою послѣднюю пляску въ золотомъ лучѣ вечерняго солнца; крестьянинъ, не замѣтивъ даже, переѣхалъ тяжелымъ колесомъ пригрѣвшуюся на солнышкѣ въ теплой колѣѣ жабу, — безъ конца, безъ конца, безъ конца! . . Судороги, иступленные взоры, крики ужаса, слезы, стоны, океанъ страданія, не переставшаго ни на одно мгновеніе, непонятнаго, тяжкаго. . .

Какъ не любоваться безподобной фантазмагоріей этихъ декорацій, то величественныхъ, то нѣжныхъ, трогательныхъ до слезъ, то ясно прекрасныхъ, какъ рай, о которомъ мы, усталыя дѣти земли, грезимъ иногда?

Но какъ любоваться декораціями, когда пьеса такъ непонятно страшна?

Тутъ допущена какая-то тяжелая ошибка. Или нужно было вложить въ грудь человѣка дикое, мохнатое сердце орангутанга, которое спокойно принимало бы вѣковѣчную трагедію жизни, переполненной страданіями до краевъ, — тогда человѣкъ могъ бы спокойно наслаждаться безподобной красотой міра; или же надо было убить въ человѣкѣ съ первыхъ же шаговъ его на долгомъ земномъ поприщѣ его способность къ этому постоянному оболъщенію облаками, лютиками, блескомъ женскихъ глазъ, милымъ смѣхомъ ребенка, сѣренькимъ овинкомъ подъ старыми развѣсистыми березами, — тогда онъ . . . вѣроятно, разомъ истребилъ бы себя и освободилъ бы землю отъ этого своего вѣковѣчнаго мучительнаго недоумѣнія. Человѣкъ, таковъ, какъ онъ есть, слишкомъ много спрашиваетъ, слишкомъ много вноситъ въ жизнь земли безпокойства, слишкомъ мучительной дѣлаетъ иногда ее. Вотъ ласточка: сѣла за вечеръ 562 мушки и радуется, и щебечетъ; вотъ золотыя кувшинки,

вотъ воздушныя стрекозы съ крылышками изъ блестящей слюды — подъ ними, въ тихомъ омутѣ, среди причудливой путаницы водорослей лежитъ ребеночекъ, а онѣ нѣжатся на солнышкѣ, и играютъ, и живутъ своей ясной, тихой жизнью; вонъ галки — на ихъ глазахъ глупый мальчишка задушилъ безъ всякой нужды ихъ дѣтей, онѣ уже успокоились и сидятъ на конькѣ сѣренькой житницы, и перебираютъ носами перышки, и оживленно болтаютъ о чемъ-то на своемъ живомъ галочьемъ языкѣ. . .

Слова на снѣгу.

Разъ какъ-то зимой Толстой, гуляя, подошелъ къ станціи «Засѣка». Тамъ на полянѣ по снѣгу какой-то изъ павіановъ написалъ гнусныя слова, обычное украшеніе нашихъ публичныхъ мѣстъ. Старикъ стеръ мерзкія слова и изъ евангелія Іоанна написалъ на ихъ мѣстѣ: «братья, любите другъ друга». Вѣроятно, павіаны долго дивились на эту странную надпись, пока не нашелся павіанъ посмѣлѣе, который снова стеръ это и снова на мѣстѣ словъ Евангелія написалъ новую мерзость. А можетъ быть, надпись старика продержалась и до весны, когда солнышко растопило снѣжную поляну и съ нею слова, написанныя старикомъ. . .

Чѣмъ, чѣмъ отличается эта надпись отъ «полнаго собранія сочиненій Л. Н. Толстого», отъ этихъ десятковъ томовъ, въ которыхъ говорится объ изумительной красотѣ и важности человѣческой жизни и безъ конца на всѣ лады повторяются все тѣ же удивительныя слова: «братья, любите другъ друга»? Со стороны посмотришь, эти тома — монументъ, а приглядишься ближе, всѣ эти книги — все тѣ же слова на снѣгу, на которыя павіаны отвѣтили мерзостями и преступленіями европейской «великой» войны. . .

Паукъ.

Въ нашемъ лѣсу очень много пауковъ, и я не люблю, когда кто-нибудь разрушаетъ ихъ радужныя паутины, сѣрыми нѣжными звѣздами висящія между деревьевъ, въ сѣромъ сумракѣ, гдѣ горятъ мухоморы. Я люблю этого маленькаго сѣренькаго философа, висящаго неподвижно среди своей паутины. Потребности его чрезвычайно скромны, и онъ въ потѣ лица ткеть свои чудныя сѣти, чтобы удовлетворить ихъ. Часто онъ подолгу голодаетъ, но, когда слѣпой случай посылаетъ ему вмѣсто одной мушки двѣ, онъ лакомится съ легкой душой и, вѣроятно, благодаритъ свою судьбу за нечаянную радость, не отягощая своей совѣсти размышленіями о печальной судьбѣ этихъ мушекъ: вѣдь онъ нутромъ знаетъ, что это такъ ужъ устроено и что ничего тутъ не подѣлаешь, что онъ — только маленькій сѣренькій паучокъ, а не ангелъ безплотный. . . И виситъ неподвижно, мудрецъ, и молчитъ, и грезитъ, можетъ быть, о чемъ-нибудь, чего мы вокругъ него и не подозреваемъ. А потомъ, яркимъ и тихимъ днемъ «бабьяго лѣта», соберетъ свою паутинку, устроитъ себѣ изъ нея такой нѣжный корабликъ и летитъ, летитъ надъ опустѣвшими полями въ то время, какъ вверху кричатъ журавли, и летитъ, и летитъ, и летитъ. . . И говорятъ мужики: «во, паутина летитъ — значитъ, ведро постоитъ еще. . .»

Вотъ бы и намъ такъ мирно висѣть среди паутины нашихъ грезъ, никому не мѣшая, довольствуясь малымъ, не поднимаясь въ міръ ангеловъ, но не опускаясь и ниже себя, а потомъ и летѣть бы куда-нибудь безъ цѣли на нѣжныхъ корабликахъ

грезы, и летѣть бы, и летѣть. И всѣ смотрѣли бы на насъ съ тихой радостью и говорили бы умиленно: «ну, слава Богу — они летятъ: это — къ ведру, къ тихимъ, яркимъ, милымъ днямъ...»

Книга.

Ходить старый, голодный, грязный, вшивый старикъ по городскимъ помойкамъ и собирать въ грязный дырявый мѣшокъ отвратительное, вонючее тряпье и замазанные лоскутки бумаги, въ то время какъ вальщики валяютъ по лѣснымъ трупцамъ тысячи и тысячи прекрасныхъ, живыхъ деревьевъ. И все это, и бумажки, и тряпье, и деревья идутъ на бумажныя фабрики для выдѣлки бумаги. Тѣмъ временемъ сотни, тысячи рабочихъ въ самыхъ тяжелыхъ условіяхъ добываютъ свинецъ для шрифта, чугуны для машинъ, и каменный уголь, и нефть для ихъ отопленія, и краску, которой будетъ печататься наша книга. Но прежде всего этого нужны были сотни плотниковъ и каменщиковъ, чтобы воздвигнуть этотъ многоэтажный корпусъ типографіи, а плотникамъ, малярамъ и каменщикамъ нуженъ былъ хлѣбъ, говядина, спички, керосинъ, сахаръ, который для нихъ изготовлены крестьянами и другими рабочими, а для всѣхъ нихъ опять-таки нужны сапоги, а для сапоговъ нужны гвозди, кожа, т. е. трудъ опять-таки тысячъ и тысячъ рабочихъ людей. Такъ что въ изготовленіи каждой нашей книги участвуютъ буквально безконечныя тысячи людей. И стоитъ вынуть хоть одно звено изъ этой безконечной цѣпи, какъ вся цѣпь разсыплется и книга не сможетъ появиться.

Совершенно точно то же и съ ея духовной частью, съ душой книги. Для написанія книги нужно прежде всего извѣстное умственное развитіе, какъ бы незначительно оно иногда ни было; а развитіе это есть прямое слѣдствіе, итогъ колоссальной работы цѣлаго ряда поколѣній, безчисленныхъ, какъ песокъ морской, — другими словами, всего человѣчества. Въ составъ нашего духовнаго я входятъ нераздѣлимо и творенія послѣдняго философа, хотя бы мы и не были согласны съ нимъ, хотя бы мы знали о немъ только по наслышкѣ, и гимны Ригъ-Веды, и первый членораздѣльный звукъ, изданный послѣдней изъ обезьянъ т. е. первымъ изъ чело-вѣковъ.

Такъ что въ созданіи всякой книги — картины, симфоніи ... — участвуютъ какъ съ матеріальной, такъ и съ духовной стороны буквально миллионы людей, все человѣчество, и чѣмъ больше объ этомъ думаешь, тѣмъ яснѣе и яснѣе понимаешь, что если мы и ставимъ въ заголовкѣ книги наше имя, то это только по старой дурной привычкѣ, которая, вѣроятно, со временемъ болѣе чуткими людьми будетъ оставлена, по недоразумѣнію: наша, авторская, часть въ книгѣ угнетающе мала, какъ бы ни было наше литературное лицо оригинально.

Можно и *должно* быть яркимъ индивидуалистомъ, но не признавать серьезнѣйшаго значенія за коллективомъ нельзя. Мудрость жизни въ томъ и состоитъ, чтобы отдать кесарю — кесарю, коллективу, а Божіе — верховному Божеству жизни, моему Я...

Надо вмѣстѣ...

Когда я, бывало, думалъ о своей смерти и смерти близкихъ, мнѣ всегда мечталось объ отдѣльной отъ людей могилѣ — гдѣ-нибудь въ тишинѣ стараго лѣса или на высокомъ холмѣ, съ котораго открываются синія, манящія дали. Главное, чтобы

непремѣнно отдѣльно. . . Отъ общаго кладбища отталкивало меня и безобразіе нашихъ кладбищъ съ ихъ безвкусными памятниками, претенціозными и трафаретными надписями, и брезгливая мысль о томъ, что скрыто подъ этими зелеными холмиками, о всѣхъ этихъ гнилыхъ сифилитикахъ, распухшихъ водяночныхъ, зеленыхъ чахоточныхъ, отравленныхъ пьяницахъ, которые, пройдя по землѣ, произвели на ней столько всякаго безобразія и даже, уйдя-то, и то не могли оставить ничего лучшаго, какъ этотъ каменный «монументъ» съ мордастымъ ангеломъ и безграмотной цитатой изъ Евангелія, которымъ онъ, когда живой, нисколько и не интересовался. Даже въ смерти ложь! . . . И хотѣлось отдѣльности. . .

И только съ большимъ трудомъ понялъ я, наконецъ, что яркая, прекрасная картина жизни соткана изъ контрастовъ, что все въ ней — и пьяница, и чахоточный, и страшный сифилитикъ — на своемъ мѣстѣ, что каждый человѣкъ необходимъ, какъ стежокъ въ пышномъ коврѣ, который вышиваетъ Великій Артистъ жизни. И когда понялъ я это, я примирился съ кладбищемъ и теперь хочу лечь на вѣчный покой рядомъ со всѣми этими маленькими творцами Великой Поэмы, имена которыхъ даже Ты, Господи, вѣроятно, забылъ. . .

Да и помнить не нужно. . .

Наука.

— . . . Это было въ семидесятыхъ годахъ, когда шли эти студенческія волненія. . . Помните? Впрочемъ, вы не можете помнить — вамъ тогда и пяти лѣтъ не было. . .

— Нѣтъ, я помню . . . — серьезно отвѣчалъ я. — По литературѣ. . .

Я, въ самомъ дѣлѣ, помнилъ и студенческія волненія, и . . . пожаръ Москвы при Наполеонѣ, и судъ надъ Сократомъ. Отлично помнилъ.

Говорятъ: *vita brevis, ars longa*, жизнь коротка, а наука длинна. Наука не только «длинна», но она имѣетъ свойство удлинять и саму жизнь, и удлинять, и расширять, и углублять ее безконечно. Жизнь это чаша, а наука — волшебница, которая можетъ насыпать въ эту чашу драгоценныхъ камней до краевъ при одномъ, однако, важномъ условіи: не требовать отъ волшебницы невозможнаго, не ждать, чтобы она сказала все, не быть похожими на ту глупую старуху, которая осталась при разбитомъ корытѣ только потому, что не удовольствовалась богатыми дарами золотой рыбки. Всевѣдѣнія, раскрытія конечныхъ тайнъ отъ науки требовать нельзя — все это не дано человѣку и съ этимъ пора разъ навсегда примириться, но будемъ радоваться, когда наука дастъ намъ съ Платономъ присутствовать на судѣ надъ Сократомъ, когда поведетъ она насъ по звѣзднымъ полямъ безконечности, когда раскроетъ предъ нашими изумленными глазами морскія глубины, когда на томъ мѣстѣ на нашемъ полѣ, гдѣ раньше росъ одинъ убогій колосъ, она выраститъ намъ сотни колосьевъ и мы будемъ въ состояніи насытить не только себя, но и другихъ. Если древа всезнанія не растутъ въ земныхъ садахъ, то это совсѣмъ не значитъ, что надо зажечь александрийскую бібліотеку и разбить наши телескопы. . .

Внучка Каина и внучка Сноа.

Десятилѣтняя Люся, одолевая одно изъ препятствій, которыми мы для чего-то загромодили свѣтлый путь дѣтства, занимается библейскою исторіей. Но это вольнодумка, на которую величавая сѣдая древность не производитъ никакого впечатлѣ-

нія, и, вопреки невидимому, указующему въ опредѣленномъ направленіи перету Писанія, она идетъ какимъ-то своимъ напризнымъ путемъ.

Читаетъ она исторію Каина, Авеля и брата ихъ Сива:

«Каинъ, родоначальникъ племени, передалъ свое нечестіе и этому племени. Потомки его скоро забыли Бога и заботились только о земныхъ выгодахъ. Много полезнаго сдѣлали они для удобствъ жизни. Они нашли средство ковать мѣдь и желѣзо и изобрѣли музыкальныя орудія, придумали рукодѣлья и наряды. Съ виду жизнь шла очень весело, но каждый изъ нихъ заботился только о себѣ и не думалъ о другихъ. . . Совсѣмъ не то было въ потомствѣ благочестиваго Сива. Тамъ сохранилась вѣра въ Бога, надежда на будущаго Спасителя, любовь къ добру и правдѣ. Потомки Сива жили между собой въ любви, согласіи, помогали другъ другу и старались жить по волѣ Божіей, а потому и назывались сынами Божіими. . .»

И задумывается дѣвочка: нѣтъ, ей рѣшительно не нравятся потомки благочестиваго Сива! . .

— Вотъ противные! . . — говоритъ она.

Мать протестуетъ: никого не обижали, жили беззлобно, — чего же тебѣ еще? . .

— А все-таки противные. . .

«Потомки Каина и потомки Сива жили сначала отдѣльно, вдали одни отъ другихъ, — продолжаетъ Люся чтеніе. — Когда же люди размножились, то и племена, прежде отдаленныя, стали жить ближе одно къ другому и входить между собою въ сношенія. Веселая безпечная жизнь потомковъ Каина понравилась нѣкоторымъ потомкамъ Сива. . .»

Дѣвочка, видимо, настораживается: что-то будетъ?

«Они начали посѣщать часто общество нечестиваго племени, — продолжаетъ она, — стали брать себѣ женъ изъ этого племени и мало-по-малу привыкли ко всему тому, что видѣли между своими новыми родственниками: ввели у себя искусства, полюбили музыку, наряды. . .»

— Ага . . . — торжествуетъ Люся. — Что? Я такъ и знала. . .

Люся мечтаетъ быть богатой и, когда будетъ она богата, она выстроитъ себѣ одной огромный домъ и будетъ въ томъ домѣ много солнца, много цвѣтовъ, много слугъ, много красивыхъ вещей и даже много лошадей и много собакъ. И вся жизнь ея будетъ однимъ сплошнымъ праздникомъ. Напротивъ того, семилѣтняя Леночка, въ которой ясно говоритъ кровь тихаго Сива, хотя и выстроитъ и она огромный — въ цѣлую версту — домъ, но населитъ она его нищими и сама вмѣстѣ съ ними будетъ «нищухой», какъ говорятъ у насъ въ деревнѣ. И будетъ кормить она всѣхъ нищихъ кремомъ и сыромъ, которые Леночка любитъ, и никто никогда не будетъ ѣсть въ томъ счастливомъ убѣжищѣ противныхъ суповъ. . .

Я вышелъ изъ того духовнаго возраста, когда человѣкъ отдаетъ предпочтеніе Каину предъ Авелемъ и Сивомъ или наоборотъ — я думаю, что и Каинъ, и Авель, и Сивъ, и все на своемъ мѣстѣ и что, не будь Каина, не было бы, пожалуй, и Сива, но я съ большой симпатіей смотрю на эту десятилѣтнюю бунтарскую головку: вѣроятно, изъ дерзаній твоихъ не выйдетъ ничего особеннаго, дѣтка, но все же дерзай, милая, живи смѣло и красиво, упивайся музыкой и грѣшными искусствами, осыпай землю цвѣтами, воздвигай кружевные дворцы . . . хотя бы только воздушные, въ грезахъ твоихъ. . . И въ то же время радостно мнѣ видѣть тихое, какъ у лампады, сіяніе души Леночки. И изъ твоихъ проэктвъ, полныхъ крема и всякихъ другихъ сладостей, тоже, вѣроятно, ничего не выйдетъ, — не ты первая тутъ, не ты и послѣдняя, — но сіяй, милая, грѣй, ласкай, и хотя бы кремомъ только, но утишай горечь жизни человѣческой. . .

Вѣчное чудо.

Чѣмъ ближе старость, тѣмъ все большее и большее изумленіе и восторгъ предъ вѣчнымъ чудомъ жизни наполняютъ мою душу. Тянется изъ темныхъ нѣдръ земли къ солнышку нѣжная былинка — изумительно, пляшутъ въ вечернихъ лучахъ свои тихія пляски крошечныя мошки — изумительно, ребенокъ радостно смѣется и всѣмъ своимъ милымъ существомъ тянется мнѣ навстрѣчу — изумительно, зажигаются надъ потемнѣвшей землей звѣзды — изумительно, отдаетъ свою жизнь человекъ за любимое существо, за дорогую идею — изумительно!.. Все изумительно, все несказанно прекрасно, и все — таинственно.

Но всего таинственнѣе для меня, всего чудеснѣе, всего прекраснѣе, обаятельнѣе, непонятнѣе, это — прекрасная женщина. Изъ всѣхъ чудесъ прекраснаго міра это самое огромное чудо, созерцаніе котораго наполняетъ меня и восторгомъ, и умиленіемъ, и даже какимъ-то священнымъ, религиознымъ ужасомъ предъ этой свѣтлой, чарующей бездной. Кантъ говорилъ, что двѣ вещи въ мірѣ наполняютъ его душу неизмѣннымъ благоговѣніемъ: звѣздное небо надъ нами и нравственный законъ въ насъ. Меня наполняетъ благоговѣніемъ все, но больше всего — прекрасная женщина, это вѣчное чудо земли. . .

„Уничтожайте бабочекъ . . .“

Поразительна судьба человѣческая: шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на неразрѣшимое противорѣчіе. . .

Лекція по прикладной энтомологіи. Лекторъ говоритъ о тѣхъ безчисленныхъ «вредителяхъ», которые окружаютъ человека со всѣхъ сторонъ несмѣтными полчищами и, какъ огнемъ, сжигаютъ его посѣвы, огороды, сады. Неразумныя мамы — говоритъ лекторъ, — не велятъ, напримѣръ, дѣтямъ трогать бѣдныхъ бабочекъ: «что ты, глухой, ее мучаешь? За что убилъ?» А между тѣмъ, это нашъ злѣйшій врагъ. Бабочка откладываетъ въ среднемъ около 500 яичекъ, изъ которыхъ выходитъ 500 прожорливыхъ гусеницъ, а такъ какъ каждая бабочка имѣетъ возможность дать въ теченіе лѣта три поколѣнія, то получимъ: $500 \times 500 \times 500$. . . И онъ нагромоздилъ на наше воображеніе такія цифры, что прямо оторопь взяла. И потому: уничтожайте, уничтожайте бабочекъ. . .

И мнѣ представились зеленые луга съ миллионами яркихъ созвѣздій милыхъ цвѣтовъ и — ни одной бабочки надъ ними. У насъ стало много рѣпы, капусты, яблоковъ, но не стало ни одной бабочки, ни одной солнечной феи, которая не ѣсть, не пьетъ, не гадитъ — у многихъ бабочекъ и желудка нѣтъ совсѣмъ, — а живетъ только для любви, живетъ всего нѣсколько часовъ. Конечно, наполненный желудокъ — это хорошо, но неужели же мы откажемся пожертвовать нѣсколько яблоковъ или кочановъ ради красоты?

Нѣтъ, нѣтъ, дѣти, не трогайте бабочекъ. . .

Безъ цѣли.

Я не люблю широкихъ, торныхъ дорогъ, затоптанныхъ миллионами чужихъ ногъ, — мнѣ милѣе воля и просторъ одинокой тропинки, прихотливо вьющейся широкими степями и лѣсами жизни. Но еще больше люблю я бродить по жизни

совсѣмъ безъ дорогъ, тамъ, гдѣ нѣтъ никакихъ слѣдовъ, тамъ, гдѣ никого нѣтъ, — только зелень травъ, прелесть цвѣтовъ, игра облаковъ и дикая воля. Идешь, и на каждомъ шагу прелестная неожиданность, и новая, еще невиданная красота, и новое очарованіе, отъ котораго ты вкушаешь первымъ и, можетъ быть, послѣднимъ. Иногда вдругъ почувствуешь, что заблудился, и станеть жутко, станеть даже страшно. Но что такое заблудился? Вѣдь непременно куда-нибудь да выйдешь же, гдѣ-нибудь да будешь, а, можетъ быть, это гдѣ-нибудь и будетъ сказочно-прекрасной Страной Обѣтованной. . . Не вѣрно, что всѣ дороги ведутъ въ Римъ, но несомнѣнно, что въ концѣ всѣхъ путей — могила. Такъ чего же бояться?

Иногда встрѣтятся по пути и торный шляхъ, и возьметъ искушеніе пройти по немъ хоть немного: и легче путь тутъ, и прошли тутъ когда-то не только чужіе, но и близкіе, милые люди, съ которыми радостно быть заодно. Но не долго длится у меня это искушеніе: нѣтъ, одному все же лучше. . . И снова идешь прямокомъ, цѣлиной, куда глаза глядятъ, и разступаются травы, и пахнутъ цвѣты, и звенятъ жаворонки въ сіяющей безднѣ, и нѣтъ впереди никакой цѣли, которая повелѣвала бы, которая связывала бы тебя, вольнаго, какъ степной вѣтеръ, какъ кудрявое облачко, бѣгущее въ голубомъ небѣ. . .

Богу или Маммонѣ?

Вся бѣда человѣка въ томъ, что онъ — двойной, что онъ и не человѣкъ вполнѣ, и не звѣрь вполнѣ, что онъ человѣко-звѣрь. Жадность его огромна, но ему въ то же время жаль тѣхъ, у кого онъ урываетъ добычу; то волкъ въ немъ побѣждаетъ Христа, то Христосъ — волка, и въ этой вѣчной борьбѣ — его мученіе, его драма. И именно отъ этой его нецѣльности, неустойчивости, непослѣдовательности вся жизнь человѣческая и является пестрой, нарядной безтолковщиной: германцевъ уничтожить, конечно, надо, но раненыхъ жалко, и вотъ сперва жарятъ шрапнелью, а за пушками высылаютъ слѣдомъ сестеръ милосердія съ бинтами наготовѣ и докторовъ съ ножами; сперва изуродуютъ, а потомъ перевязуютъ и будутъ кормить бульономъ; сперва награбятъ, спекулируя на хлѣбѣ, миллионы, а потомъ ходятъ съ подписнымъ листомъ въ пользу голодающихъ; сперва распнутъ, а потомъ распятому поклонятся. . .

Если бы въ душѣ человѣческой Богъ побѣдилъ окончательно чорта или чортъ — Бога, жизнь много потеряла бы въ своей яркой колоритности и красотѣ: въ волчьей стаѣ не можетъ быть ни трагически-прекрасной Голговы, ни нѣжной идиалліи Франциска Ассизскаго съ его «Цвѣточками», ни кружевныхъ, уносящихся въ высь соборовъ, но въ хорѣ свѣтлыхъ ангеловъ безплотныхъ нѣтъ мѣста ни Макбету, ни Отелло, ни даже этому очаровательному Сквозникъ-Дмухановскому, а нѣтъ Сквозника — передъ кѣмъ же станемъ мы въ повѣ благороднаго негодованія?

И странный выводъ-парадоксъ: кто хочетъ сдѣлать ирраціональную жизнь человѣческую разумной, тотъ обреченъ на вѣчно-длящуюся неудачу, какъ это и показываетъ намъ нашъ тысячелѣтній опытъ, украшенный Голговами и Шлиссельбургамъ, но кто хочетъ служить красотѣ Жизни, тому безразлично, кому служить, Богу или Маммонѣ, ибо въ картинѣ тѣни такъ же нужны, какъ и свѣтъ. . .

Мой другъ Джованни.

I. — Афиша Джованни.

Я зашелъ въ маленькую, грязненькую тракторію моего стариннаго пріятеля Джованни Учелло, стоящую на самомъ краю небольшой деревеньки въ Сабинскихъ горахъ. И вино, и фрукты, и сыръ, и хлѣбъ, и все было у Джованни далеко не перваго сорта, но, во-первыхъ, отъ его кабака открывался удивительный видъ на Кампанью съ ея акведуками, а во-вторыхъ, Джованни былъ отчаянный радикаль, и я любилъ побесѣдовать съ нимъ на общественныя темы и полюбоваться игрою его черныхъ, живыхъ глазъ и его горячими, обильными жестами.

Но сегодня мнѣ не пришлось побесѣдовать съ моимъ пріятелемъ: въ кабачкѣ было какое-то собраніе и, подавъ мнѣ угощеніе, Джованни тотчасъ же извинился и присоединился къ группѣ бѣдно одѣтыхъ людей, поселянъ, извозчиковъ, каменщиковъ и другого рабочаго народа, которые въ дыму своихъ трубокъ рѣшали какіе-то, повидимому, важные вопросы, связанные съ предстоящими выборами. Джованни уже сверкалъ глазами и дѣлалъ свои жесты.

Я выпилъ два стакана кислватаго мѣстнаго вина, закусилъ парой темныхъ калабрійскихъ фигъ и прекраснымъ сушенымъ виноградомъ и, кивнувъ головой Джованни, направился въ развалины языческаго храма, печально лежавшія на краю заросшаго осокой болота. Вдали, въ темной дымкѣ, видѣлся Вѣчный городъ; слѣва, полная грусти и очарованія, разстилалась прекрасная Кампанья, и акведуки, какъ вереница плакальщицъ, идущая на могилы, тянулись вдали. Слабый вѣтерокъ чуть шевелилъ высохшей травой въ развалинахъ, среди которой, однако, уже видѣлись мѣстами нѣжныя маргаритки...

И въ связи съ пророчествами Джованни, его жестами и сверканіемъ глазъ, видъ этихъ развалинъ невольнo направилъ мои мечты на будущее: каково-то оно въ самомъ дѣлѣ будетъ?

Я только хотѣлъ было опуститься на повалившуюся колонну съ обкрошившейся коринтской капителью, какъ вдругъ услышалъ нѣсколько недовольный голосъ:

— Пожалуйста, осторожиѣ... Вы чуть-чуть не задавили меня...

Изумленный, я приглядѣлся и увидѣлъ среди завитковъ капители крошечнаго, ростомъ съ бутылку, человѣчка съ умнымъ и немножко грустнымъ личикомъ, надъ которымъ чуть-чуть выдавались маленькіе рожки. Тѣло его было покрыто сѣрою шерстью, и на ногахъ я замѣтилъ копытца. Видъ его, несмотря на всю его миниатюрность, былъ полонъ достоинства.

— Виновать... — вѣжливо сказала я. — Я не ожидалъ тутъ встрѣтить кого-либо. Обыкновенно тутъ никого не бываетъ... Вы позволите мнѣ присѣсть?

— Пожалуйста, — отвѣтилъ маленькій человѣчекъ. — Я не прочь побесѣдовать съ вами на ту тему, о которой вы только-что думали, о будущемъ. Хотя, долженъ сказать, въ этомъ отношеніи люди изумительно однообразны и все человѣчество похоже, когда оно примется мечтать на эту тему, на вашего друга Джованни Учелло, подмѣшивающаго въ вино такъ много воды. И хотя бы еще кипяченой!..

— Побесѣдовать съ вами мнѣ будетъ величайшимъ удовольствіемъ, — сказала я, садясь, — но простите: съ кѣмъ я имѣю честь говорить?..

— Какъ будто это не все равно... — слегка усмѣхнулся человѣчекъ. — У меня нѣтъ имени. Я духъ этихъ развалинъ.

— Скажите, что же вы думаете о будущемъ человѣчества? — сказалъ я, помолчавъ немного.

— Я? Рѣшительно ничего особеннаго . . . — отвѣчалъ онъ. — Я слишкомъ много видѣлъ этого будущаго, чтобы интересоваться этимъ предметомъ. Я помню то время, когда этотъ храмъ еще стоялъ новымъ и на фронтонѣ его стояло гордое S. P. Q. R.; помню, разъ пріѣхала сюда изъ Рима компанія молодежи — здѣшніе виноградники очень славились тогда своимъ виномъ и воды тогда къ нему люди еще не научились подмѣшивать. Тутъ вотъ, — болота тогда тутъ не было, — въ тѣни старыхъ пиней и пировали они, и я слушалъ ихъ гордыя рѣчи о томъ славномъ будущемъ, когда вся вселенная отъ Геркулесовыхъ столповъ до странъ Гиперборейскихъ преклонитъ вью подъ благодѣтельное ярмо великаго Рима и мудрый сенатъ его декретируетъ всеобщее благополучіе и миръ подъ охраной желѣзныхъ легионовъ. Но вотъ прошло очень немного времени и тутъ появились какіе-то дурно одѣтые, дурно даже пахнушіе люди, которые звали себя христіанами и которые думали ни много, ни мало, какъ о томъ, чтобы повалить желѣзный Римъ съ его безчисленными легионами, — конечно, для того, чтобы установить всеобщее благо. Римъ для того же всеобщаго блага старательно истреблялъ этихъ оригиналовъ, жегъ ихъ въ смоляныхъ мѣшкахъ, терзалъ дикими звѣрями, распиналъ на крестахъ. И они все это мужественно выносили для того, чтобы для общаго блага побѣдить; конечно, они не побѣдили и, не побѣдивъ, тѣмъ не менѣе искренно считали себя побѣдителями только потому, что человѣку въ золотѣ, сѣвшему на мѣстѣ римскихъ цезарей, угодно стало именовать себя христіанскимъ папой. . . Я надѣюсь, что я имѣю честь бесѣдовать съ свободнымъ мыслителемъ?

Я поклонился.

— Ну, такъ вы, конечно, понимаете, что то, что побѣдило, не было христіанствомъ и что никакого всеобщаго блага отъ этого не послѣдовало, — продолжалъ онъ. — Напротивъ, прошло много вѣковъ, и оказалось, что для общаго блага необходимо прежде всего свалить папство. Папство, какъ древній Римъ, отвѣтило на это темницами и кострами; но тѣмъ не менѣе дѣло потихоньку кончилось тѣмъ, что этотъ золотой старичокъ оказался запертымъ для общаго блага въ своемъ дворцѣ и заботы о будущемъ перешли цѣликомъ въ другія руки. Я помню, вотъ тутъ на дорогѣ разъ отдыхалъ отрядъ гарибальдійцевъ. О, если бы вы слышали ихъ рѣчи о свѣтломъ будущемъ, которое они принесли Италіи и которымъ тѣмъ не менѣе теперь недоволенъ нашъ общій другъ Джованни Учелло, дѣлающій такіе чудесные жесты, когда онъ говоритъ безграмотнымъ погонщикамъ муловъ, и каменщикамъ, и крестьянамъ о томъ будущемъ, которое онъ, Учелло, готовитъ имъ! . . . И за эти жесты карабинеры два раза уже водили Учелло въ тюрьму. . .

— Такъ что же, по-вашему, Джованни не побѣдитъ? — спросилъ я.

— Отчего же? — отвѣчалъ онъ. — И Римъ побѣдилъ, и христіане побѣдили, и гарибальдійцы побѣдили. И онъ побѣдитъ. Только что же изъ этого будетъ слѣдовать? Вотъ недавно тутъ присѣлъ отдохнуть братъ Джузеппе, траппистъ, — вы знаете его?

— Какъ же. . .

— Ну, вотъ. . . И вытащилъ этотъ превосходнѣйшій человѣкъ изъ кармана своей рясы библію и сталъ вполголоса восхищенно читать Исаію. Боже, и чего только ни обѣщаль этотъ добрый старикъ человѣчеству! . . . И левъ ляжетъ съ ягненокъ, и перекуютъ люди мечи на орала, и ребенокъ будетъ играть надъ корою аспиды, — изумительно прямо! . . . И вотъ прошло съ тѣхъ поръ почти три тысячи лѣтъ, ничего изъ этихъ обѣщаній исполнено не было, и встаетъ Толстой и почти дословно обѣщаетъ то же, что и Исаія, и все . . . ну, если не все, такъ очень многіе восхищаются и вѣрятъ ему! . . . Человѣкъ ужаснѣйшій фантазеръ и ничто такъ не ненавидитъ онъ,

какъ фактъ. Присмотритесь къ факту, къ тому, что вокругъ васъ дѣлается, и фантазии уже не будетъ простору. А именно этого-то онъ и не хочетъ. Фактъ, напри- мѣръ, ваши сверхъ-дредноуты, и ядовитые газы, и продажные политики, и алко- гольизмъ, и проституція — что на этомъ вы постройте?

— Но если ужъ опираться на факты, — возразилъ я, — то надо не выбирать ихъ произвольно, а брать жизнь во всемъ ея многообразіи и сложности. . . Вы говорите: сверхъ-дредноуты. Но вы забываете хотя бы рабочія массы, которая теперь, какъ никогда, рвется къ иной, болѣе справедливой жизни. Развѣ это не новый факторъ въ исторіи?

— Нисколько не новый! — отвѣчалъ онъ. — Я самъ имѣлъ удовольствіе присутствовать при войнахъ рабовъ въ древней Сициліи. О, надеждъ и тогда было не меньше! И такъ же сверкали тогда Джованни глазами. А христіане? Развѣ это не тѣ же возставшіе рабы? А чѣмъ они кончили? Тѣмъ, что одѣли одного изъ своихъ въ золото и стали у него трепеща цѣловать туфлю, да и то только въ дни особенно торжественные позволяютъ себѣ они эту роскошь. . . Меня вы нѣсколько удивляете, хотя пора бы мнѣ уже и перестать удивляться. Вѣдь всякій изъ насъ, вышедшій за предѣлы вашей университетской науки и газетныхъ статей на злобу дня, не можетъ не знать, что не было еще ни одной истины у человѣчества, которая не оказалась бы ложью. За свою историческую жизнь человѣчество испробовало рѣшительно все. У нашихъ съ вами ногъ лежатъ обломки имперій, республикъ, филосо- фскихъ системъ, разрушенные Пантеоны, черепа могущественнѣйшихъ царей, порванные цѣпи и истлѣвшія умныя книги, которыя никому не дали ничего. Всѣ ваши философскія системы, — это только мыльные пузыри: раздулся, поигралъ на солнцѣ всѣми цвѣтами радуги и лопнулъ, оставивъ по себѣ только капельку мут- ной, противной жидкости. И самая смѣшная книга, которую я когда-либо встрѣ- чалъ, это — исторія философіи.

— И что же, по вашему, не остается ничего отъ этихъ исканій человѣчества?

— Напротивъ, очень много. . . — усмѣхнулся онъ. — Скоро отъ вашихъ книгъ мѣста на землѣ не будетъ. Правда, въ послѣднее время догадались печатать ихъ на древесной бумагѣ, которая едва ли выдержитъ болѣе двадцати лѣтъ и съ помощью мышей обратится въ прахъ.

Настало молчаніе. Солнышко уже садилось къ далекому морю. Гдѣ то у акве- дуковъ пастухъ, собирая своихъ козъ, игралъ на свирѣли что-то нѣжное и печальное.

— Но, скажите, какой же выводъ изъ всего этого? . . — спросилъ я.

Мой собесѣдникъ тихо засмѣялся.

— Э-э, нѣтъ. . . — сказалъ онъ. — «Выводовъ» у меня въ никакихъ не найдете. . . Никакаго евангелія, никакихъ лозунговъ я въ міръ не приносивъ, никакихъ про- граммъ — совершенно истинныхъ — я вамъ не предлагаю. Я просто живу, наблю- даю и, что вижу, отмѣчаю. Только и всего.

— Однако, вы все же, какъ будто, сердитесь немножко на присутствіе Джо- ванни Учелло въ міръ. . . — замѣтилъ я.

— Что вы! . . Нисколько! — воскликнулъ онъ. — Разумѣется, по складу моего интеллекта я предпочитаю общество. . . ну, скажемъ, Ренана, что ли. Это такъ, но тѣмъ не менѣе Джованни съ его жестами и игрой глазъ положительно прекра- сенъ, и я былъ бы очень огорченъ, если бы онъ вдругъ какъ-нибудь исчезъ. Кто же тогда будетъ подмѣшивать въ вино воду здѣсь и устраивать царство справед- ливости? Джованни принадлежитъ къ тому типу беспокойныхъ людей, которые дѣ- лаютъ жизнь особенно яркой и интересной, и кажется мнѣ, что вы тоже изъ этихъ беспокойныхъ. И. . . какъ ни нелогично можетъ быть это, позвольте вамъ дать ма-

ленькій совѣтъ на прощанье — солнце уже садится и пора по домамъ — успокойтесь! Вотъ посмотрите на эти камни . . . — кивнулъ онъ головой на поверженныя временемъ прекрасныя колонны. — Видѣли эти камни, можетъ-быть, и дикарей каменнаго вѣка, и весь древній Римъ, и крестоносцевъ, и гарибальдійцевъ, и папство во всемъ его расцвѣтѣ, — вся человѣческая исторія почти прошла передъ ними, и они знаютъ столько же, сколько и мы: ничего. Человѣкъ, въ испугѣ передъ тайной, которою окружена вся его крошечная жизнь, придумалъ дьявола, но дьяволы, по-моему, это идеи, подъ властью которыхъ живетъ человѣкъ, создавая, благодаря имъ изъ своей жизни чистый адъ, передъ которымъ адъ дантовскій или тотъ, который рисуютъ въ Римѣ на плохихъ олеографіяхъ, чтобы настрашать какъ слѣдуетъ благочестивыхъ паломниковъ, только дѣтская игрушка. Оглянитесь въ исторію: какимъ страданіямъ, какимъ мукамъ ни подвергаль себя человѣкъ ради той или другой идеи! . . . Идея отечества — миллиарды жертвъ миллионновъ войнъ; идея любви къ ближнему — Голгоѳа, арены, костры, дикіе звѣри; любовь къ Богу — аскетизмъ, осклопленіе, самосожиганіе, самозакапываніе; идея свободы, равенства, братства, — горы труповъ, бездны ужасовъ, океаны слезъ. . . Казалось бы, человѣку совершенно ужъ безразлично въ концѣ-концовъ, солнце движется вокругъ земли или земля вокругъ солнца — нѣтъ, и за это «*е pur si muove!*» надо было платить страданіями, кровью. Вѣрить въ Лютера для человѣка такъ же опасно, какъ и отрицать его, быть евреемъ такъ же губительно, какъ и быть язычникомъ: сегодня евреи жгутъ язычниковъ, завтра христіане — евреевъ, послѣзавтра язычники жарятъ христіанъ и евреевъ; сегодня крестоносцы идутъ на гибель подъ стѣны Иерусалима, а завтра арабы жгутъ александрійскую бібліотеку и проходятъ съ огнемъ и мечомъ полміра — прямо и не перечислишь всѣхъ тѣхъ ужасающихъ общественныхъ и индивидуальныхъ бѣдствій, которыя обрушились на бѣдное человѣчество дьявола-идеи. Но, въ концѣ-концовъ, какъ это ни покажется страннымъ съ перваго взгляда, все это почти ничто въ сравненіи съ тѣми внутренними муками, которыя переживаетъ человѣкъ — а особенно современный — отдавшій себя во власть этимъ дьяволамъ, съ тѣмъ миллиономъ терзаній, которыми проходитъ каждый изъ васъ. Вы сторааете на этомъ внутреннемъ огнѣ, вы не знаете здороваго настоящаго сна, вы превращаетесь въ преждевременныхъ стариковъ, вы совершенно не способны видѣть безспорной красоты міра и жизни, вы сходите съ ума, заболѣваете, стрѣляетесь, — только потому, что въ мозгу вашемъ сидитъ какая-нибудь идея-вампиръ, сидитъ и сосетъ вашу кровь, палитъ вашъ мозгъ огнемъ неугасимымъ. . . *Du choc des opinions jaillit la vérité*, сказалъ какой-то идиотъ, но на самомъ дѣлѣ *du choc des opinions jaillit* совсѣмъ не истина, а страданіе, *douleur*, тѣмъ болѣе ужасное, что ничего изъ этого, въ концѣ-концовъ, не получается.

— Но позвольте . . . — сказалъ я. — Вѣдь не можетъ же человѣкъ отказаться отъ мысли. . .

— Почему же? Разъ она во вредъ ему. . .

— Да чѣмъ была бы наша жизнь тогда?

— Посмотрите на этого яблика, на эти маргаритки. Живутъ же они, — сказалъ онъ. — И вѣроятно, болѣе счастливо, несмотря на то, что у нихъ нѣтъ ни Сорбонны, ни проклинающаго Сорбонну Толстого, ни газетъ, ни умныхъ разговоровъ. Замыселъ Бога былъ простъ: человѣкъ только послѣднее изъ животныхъ. Живи въ раю, радуйся, пой, — только яблока познанія не ѣшь. А съѣлъ — казнись вѣка, тысячелѣтія. И весь ядь-то тутъ въ томъ, что познанія-то никакого не получилось: яблоко оказалось, должно быть, поддѣльнымъ. Одно заблужденіе смѣняется другимъ, другое — третьимъ, и въ этомъ вся жизнь. А тамъ — могила. Въ

этомъ весь и ядъ: рай утраченъ, а познанія никакого нѣтъ... Впрочемъ... — оборвалъ онъ вдругъ и засмѣялся. — Знаете, что я думаю? Можетъ-быть, причиной всей этой философи — моя старость и невзрачная наружность, кто знаетъ? Можетъ-быть, если бы я былъ прекрасенъ, какъ итальянскій теноръ, то и философія моя была бы иной, и я въ точности зналъ бы все и былъ бы очень гордъ собой. Это своего рода... — опять засмѣялся онъ, — экономическій матеріализмъ... Ну, прощайте, однако, а то эти поздніе разговоры до добра не доведутъ: того и гляди, вы насморкъ схватите... Прощайте...

Съ болота поднялось и поползло развалинами сѣдое облачко. А когда оно разсѣлось, никого на разбитой капители уже не было, только на мертвой травѣ развалинъ и на прелестныхъ маргариткахъ висѣли нѣжныя капельки росы, — точно вотъ кто плакалъ тутъ о чемъ-то...

Я медленно вышелъ на дорогу. Навстрѣчу мнѣ шелъ худой, изнеможенный траппистъ, братъ Джузеппе. Поровнявшись со мной, онъ низко поклонился и промолвилъ обычное привѣтствіе траппистовъ:

— Memento mori!

И, тихій, печальный, исчезъ за поворотомъ дороги среди черныхъ старыхъ кипарисовъ.

Веселый, румяный, за нимъ шелъ съ какимъ-то огромнымъ листомъ бумаги въ рукахъ Джованни.

— Стойте, стойте!.. — крикнулъ онъ мнѣ. — Вотъ приклею и пойдемъ вмѣстѣ.

Онъ подошелъ къ развалинамъ и на крайней колоннѣ, единственной держащейся еще стоя, быстрымъ, привычнымъ движеніемъ наклеилъ свой листъ и отступилъ на нѣсколько шаговъ, чтобы полюбоваться имъ. Большой листъ извѣщаль всѣхъ, что вотъ тамъ-то и тогда то будутъ производиться выборы депутата, а въ самомъ низу его огромными огненными буквами стояло:

Votate i socialisti!

— Каково? — самодовольно проговорилъ онъ.

— Великолѣпно... — отвѣчалъ я, не въ силахъ противостоятъ какой-то силѣ, которою былъ переполненъ Джованни.

— Ну, на этотъ разъ зададимъ мы имъ перцу... — сверкнувъ глазами и сдѣлавъ выразительный жестъ рукой, весело проговорилъ онъ. — Что, можетъ, выпьемъ бутылочку на радостяхъ?

— Съ удовольствіемъ...

Мы вошли въ слабо освѣщенный, совѣмъ пустой кабачокъ и, присѣвъ къ грязноватому столу, принялись за Chianti, — конечно, увы, поддѣльное, — то и дѣло чокаясь за успѣхъ общественнаго дѣла Джованни Учелло.

И когда оплетенная, съ узкимъ горлышкомъ фляжка подходила къ концу и міръ сталъ поэтому представляться намъ въ нѣсколько иномъ, чѣмъ прежде, освѣщеніи, я, положивъ локти на столъ, сталъ рассказывать Джованни о моей встрѣчѣ въ развалинахъ, стараясь говорить возможно понятнѣе, ибо умъ Джованни былъ склоненъ, по самой природѣ своей, къ нѣкоторому упрощенію жизни умственной. Онъ внимательно слушалъ меня.

— Чудесно... — воскликнулъ онъ, потряхнувъ головой. — То, что мы говоримъ, не ново... Можетъ-быть... Но, рога miseria, развѣ то, что говорить этотъ... м-м-м... древній синьоре, ново? Вѣдь это все та же «суета суеты», о которой намъ говорятъ попы, о которой писалъ когда-то этотъ... какъ его... Царь Давидъ, что ли? Такъ если человѣчество не идетъ за ними, значить, что жизнь сильнѣ этихъ

разсуждений. Разъ живешь, значить, дѣйствуй, согро ді Вассо, орудуй... Э-э, да мы осушили все!.. Я принесу еще бутылочку, синьоре?

Я, погруженный въ размышленія, разсѣяннo кивнулъ головой въ знакъ согласія. Джованни быстро принесъ откуда-то еще фляжку.

— И по всему видно, что это какой-то аристократъ... — проговорилъ онъ, поставивъ фляжку на столъ и сядясь. — «Подливаешь воду»... Хорошо тебѣ толковать-то, а у меня ихъ пятеро да шестой готовится. Пить-ѣсть всѣмъ намъ надо, а знаете, теперь дѣла-то какія?.. Что же, можно меня презирать за это, какъ по совѣсти, синьоре?..

— Нѣтъ, Джованни, нельзя... — сказалъ я. — Вы добрый малый. И этотъ пренебрежительный тонъ древняго синьора, какъ вы выражаетесь, мнѣ непонятенъ. Героическій періодъ социализма, когда на него смотрѣли какъ на какую-то чашу святого Грааля, а на всѣхъ социалистовъ, какъ на рыцарей безъ страха и упрека, худо ли, хорошо ли, но прошелъ. Теперь социализмъ это вопросъ только простой выгоды, новаго размѣщенія людей въ жизни. И я полагаю, Джованни, что вы болѣе чѣмъ кто-либо иной имѣете право... и основаніе, и право быть социалистомъ, не смотря на то, что вино ваше дѣйствительно иногда нѣсколько жидко. Я же съ своей стороны просилъ бы васъ только употреблять воду кипяченую, — въ этомъ древній синьоръ совершенно правъ!

— Синьоре, вашу руку!.. — горячо воскликнулъ Джованни. — Ваши слова полны человѣчности и благородства. Вы понимаете бѣднаго человѣка. За ваше здоровье, синьоре!.. И да здравствуетъ социализмъ!..

Мы сердечно чокнулись и опорожнили наши стаканы. И тотчасъ же Джованни снова наполнилъ ихъ.

— Древній синьоре тоже не сомнѣвается въ вашей побѣдѣ, Джованни, — продолжалъ я. — И онъ совершенно правъ, говоря, что побѣда ваша отнюдь не будетъ похожа на мечтанія, о которыхъ говорятъ намъ поэты-социалисты и которыя, каюсь, кажутся мнѣ похожими на пряникъ съ сусальными разводами, которыми соблазняютъ деревенскіе торговцы дѣтей на ярмаркахъ. Люди ангелами и тогда не будутъ, а будутъ только людьми. И не знаю, Джованни, такъ ли это плохо, какъ кажется; жизнь человѣка много интереснѣе жизни ангела... Да, Джованни, другъ мой, — проговорилъ я, осушивъ стаканъ, — вопросъ социализма, повторяю вамъ, это только вопросъ о новомъ размѣщеніи людей. Но я не скрою отъ васъ, Джованни... хотя, можетъ-быть, вы и не совсемъ поймете меня... что я... отчасти... Ома невѣрный, какъ говорится. Я, если хотите, сочувствую вамъ, но у меня нѣтъ вѣры — дайте мнѣ, наконецъ, возможность вложить, такъ сказать, персты!.. Да и кромѣ того — я, къ сожалѣнію, долженъ сознаться вамъ и въ этомъ, другъ мой Джованни, — сочувствуя вамъ, я все же принимаю жизнь міра и такою, кака она есть, во всей ея пестротѣ, во всемъ ея безконечномъ разнообразіи, которое, признаюсь вамъ откровенно, чаруетъ меня. Богъ — великій художникъ! Когда я вижу, какъ недавно въ Калабріи, всю изукрашенную лентами и бусами и цвѣтами молодую прекрасную дѣвушку, которая несется въ огневой тарантеллѣ, то я нисколько не сомнѣваюсь, что она очень нужна въ жизни, что св. Дѣва потому только такъ и прекрасна, что вокругъ ея сіяющаго трона по всей зеленой землѣ несутся въ цвѣтахъ и лентахъ пестрые хороводы съ горящими сердцами, что потому-то такъ и удивителенъ Будда или Симеонъ Столпникъ, что отъ Севильи до Гренады въ тихомъ сумракѣ ночей раздаются серенады, слышенъ стукъ мечей. И разъ я понимаю, чувствую это, то меня нисколько не удивляетъ уже современная узкогрудая, узкобедрая англичанка, не умѣющая быть ни матерью, ни плясать тарантеллу: ей ничего дру-

того не остается, какъ быть суфражисткой, бить палкой мистера Асквита по головѣ и поджигать стога сѣна...

— Нѣтъ, я стою за женское равноправіе, синьоре... — строго остановилъ меня Джованни.

— И я тоже, и отъ всей души, Джованни... — отвѣчала я. — Я хочу только сказать, что все это одинаково нужно, потому что все это свѣтъ и тѣни въ одной огромной картинѣ жизни, что все это слова изъ одной и той же волшебной сказки жизни... Впрочемъ, можетъ-быть, я былъ не совсѣмъ ясенъ, простите меня; во всякомъ случаѣ вина въ томъ скорѣе ваша, ибо несомнѣнно, что эти двѣ фляжки Chianti не были окрещены вами ни въ сырой, ни въ кипяченой водѣ. И я отдаю должное вашему благородству и вашей дружбѣ, которая меня искренно трогаетъ...

Джованни горячо трясъ мои руки и сверкалъ глазами...

Я поздно вышелъ изъ тракторіи Джованни Учелло. Надъ темной и грустной Кампаньей теплились звѣзды и тихій вѣтерокъ рассказывалъ чернымъ, старымъ придорожнымъ кипарисамъ печальныя сказки о быломъ. Полная луна ярко освѣщала бѣлую дорогу; развалины древняго храма въ свѣтѣ ея казались серебряными, и ярко выдѣлялась изъ сумрака огромная афиша Джованни...

II. — „Божественный Платонъ“.

Мы — фра Бартоломео, маленькій, худенькій капуцинъ съ тихимъ лицомъ, и я — сидѣли на моемъ балконѣ и, потягивая вино, мирно бесѣдовали. Фра Бартоломео, жившій при катакомбахъ, которыя онъ показывалъ туристамъ и благочестивымъ паломникамъ, былъ большимъ любителемъ живописи, и мы часами могли говорить съ нимъ о старыхъ церковкахъ, о прелестныхъ золотыхъ грезахъ фра Беато Анджелико и о другихъ милыхъ сердцу вещахъ, которыми судьба такъ щедро осыпала на радость человѣку благословенную Италію. И что дорого мнѣ было въ моемъ собесѣдникѣ, такъ это то, что онъ всегда былъ свѣтель, радостень, никогда не спорилъ, не горячился.

И теперь мы, конечно, говорили объ искусствѣ. А весенній вѣтерокъ доносилъ до насъ откуда-то тонкій запахъ фіалокъ и нѣжный перезвонъ колоколовъ Рима, звонившихъ Angelus.

Вдругъ дверь тихонько растворилась, и на порогѣ появился нашъ консьержъ Луиджи, какъ всегда величественный и полный достоинства. Онъ нѣкогда — это было въ Англии, въ Брайтонѣ, гдѣ онъ обучался англійскому языку, необходимому въ его положеніи, — онъ нѣкогда не разъ отворялъ двери самому принцу Уэлльскому и поэтому на пребываніе свое въ нашемъ скромномъ Hôtel de France смотрѣлъ какъ на паденіе. Ко мнѣ онъ относился съ плохо скрываемымъ презрѣніемъ, такъ какъ мои знакомства рѣшительно шокировали его.

— Синьоре, — съ достоинствомъ обратился онъ ко мнѣ, — тамъ какой-то... э-э... человѣкъ желаетъ васъ видѣть. Но я затрудняюсь впустить его. Онъ шумитъ, какъ извозчикъ, и, кажется, вдобавокъ еще и пьянъ... Онъ непременно хочетъ видѣть васъ. Съ нимъ маленькій мальчикъ, котораго онъ зоветъ Пе...

— А-а, это мой другъ Джованни... — сказала я. — Онъ содержитъ небольшою кабачокъ въ Кампаньѣ... Прошу васъ, Луиджи, пустить его ко мнѣ. Хотя манеры его, правда, и живы нѣсколько, но это очень достойный человѣкъ... Не задерживайте же его...

Луиджи, окинувъ небрежнымъ взглядомъ бѣдную сутану моего друга, съ достоинствомъ удалился. Черезъ минуту за дверью послышался шумъ, и въ комнату, какъ бомба, ворвался взволнованный, радостный Джованни.

— Нѣтъ, каковъ этотъ благовоспитанный тюлень!.. — закричалъ онъ, страшно вращая глазами. — Я говорю: синьоре — мой давній другъ, а онъ не хочетъ пускать!.. По его гордости ему бы быть не портъере, а министромъ двора... Иди, Пе...

И вдругъ, замѣтивъ монаха, онъ сразу осѣкся. Жестокій радикаль, онъ не ожидалъ у меня такой встрѣчи. Пе, засунувъ палецъ въ ротъ, стоялъ въ дверяхъ. На немъ былъ праздничный нарядъ, украшенный вмѣсто галстука ярко-краснымъ бантомъ.

— Я вижу, Джованни, другъ мой, что вы принесли мнѣ какія-то очень радостныя вѣсти... — сказалъ я, пожимая ему руку. — А это, познакомьтесь, мой другъ фра Бартоломео...

Джованни церемонно, но очень вѣжливо поклонился монаху, показывая своимъ поклономъ, что онъ уважаетъ всякія убѣжденія.

— Садитесь... — продолжалъ я. — Садись, милый Пе... Не хочешь ли, вотъ мандарины... А вотъ русскія конфеты, попробуй... Ну, какія же новости принесли вы намъ?

— Послѣ, синьоре... Теперь неудобно... — уклончиво сказалъ Джованни. — Потомъ.

— Джованни, другъ мой, фра Бартоломео, хотя и католикъ, но человекъ широкихъ взглядовъ и при немъ можно говорить все... — сказалъ я.

— Да, но тѣмъ не менѣе... — отвѣчалъ Джованни, все затрудняясь. — Дѣло въ томъ, что мои новости какъ разъ изъ области святого отца, такъ сказать...

— Тѣмъ интереснѣе... — сказалъ я. — Вотъ выпейте этотъ стаканъ вина и рассказывайте...

Въ глазахъ Джованни заигралъ веселый смѣхъ.

— Поразительно, синьоре!.. Я говорю: поразительно!.. — закричалъ онъ. — Только пусть святой отецъ отнесется терпимо, тѣмъ болѣе, что это — фактъ, котораго не скроешь: не сегодня-завтра онъ непременно попадетъ въ газеты.

— Вы насъ измучите, Джованни... — сказалъ я, видя, какъ страстно хочется ему рассказать свои новости. — Мы рѣшительно ждемъ начала...

— Вы знаете, синьоре, тотъ бюстъ святого Каніо, который находится на берегу Арджентины? Ну, недалеко отъ моей тратторіи? — началъ онъ. — Онъ пользуется среди вѣрующихъ огромнымъ уваженіемъ. Святой отецъ, вѣроятно, знаетъ его...

— Какъ же, какъ же... — тихо отвѣчалъ фра Бартоломео. — Вещь очень старинной работы...

— Ага, вотъ!.. — закричалъ Джованни. — И, знаете, всѣ шли къ нему — прямо со всѣхъ концовъ Италіи. И была масса всевозможныхъ исцѣленій... Только вотъ на этихъ дняхъ была въ нашихъ мѣстахъ цѣлая коммиссія всякихъ ученыхъ синьори отъ академіи, историковъ тамъ, археологовъ и другихъ любителей старины: они показывали наши мѣста знаменитому французскому историку, синьоре Ленорманъ. Между прочимъ, показали ему бюстъ св. Каніо. Ну, только синьоре Ленорманъ, внимательно осмотрѣвъ его, сказалъ всѣмъ, что это совсѣмъ не св. Каніо, а... извините святой отецъ, но это фактъ!.. не святой Каніо, а... Юліанъ Отступникъ, язычникъ...

— Но, другъ мой, Джованни, что же въ этомъ такого необычнаго? — сказалъ я. — Что васъ тутъ удивляетъ? Ошибки свойственны уму человѣческому...

— Да, да, но чудеса, чудеса отъ язычника! . . — закричалъ Джованни. — Вотъ въ чемъ заговзетка! . . И какъ только *они* выпутаются изъ этого скандала? . . Я хочу сказать, клерикалы. . .

— Но почему вы не допускаете, что синьоре Ленорманъ могъ ошибиться? — тихо проговорилъ фра Бартоломео.

— Такой знаменитый ученый! . . — съ негодованіемъ воскликнулъ Джованни, страшно вертя глазами. — Никогда! . . Тѣмъ болѣе, что и наши синьори должны были признать его правоту, — онъ показалъ имъ какую-то надпись на постаментѣ, снизу. . .

— Ну, что же . . . — потушивъ глаза, отвѣчалъ фра Бартоломео. — Пути Господни неисповѣдимы, и Онъ могъ изливать свою благодать на вѣрующихъ и этимъ путемъ. Однако, ночь близка, а путь мой дологъ, — позвольте, синьори, пожелать вамъ доброй ночи . . . — сказалъ онъ, вставая. — Надѣюсь, синьоре, вы скоро побываете у меня — мнѣ хочется показать вамъ ту вазочку, которую недавно подарилъ мнѣ одинъ калабрійскій крестьянинъ, нашедшій ее при вспахиваніи своего поля, — вещь искусства великаго, способная порадовать всякаго. . .

Я обѣщала ему побывать у него на-дняхъ, и онъ, простившись съ нами и ласково потрепавъ по щекѣ маленькаго Пе, смотрѣвшаго на него своими черными блестящими агатами, не отрываясь, точно это былъ какой-то удивительный звѣрь, вышелъ. . .

— Ну, кушай же, Пе, мандарины. . . — сказалъ я. — И не смотри такъ на милаго фра Бартоломео, — право, онъ совершенно такой же человѣкъ, какъ и мы. . .

— Такъ-то оно такъ, но все-таки изъ этой исторіи имъ будетъ нелегко выпутаться! . . — захохоталъ Джованни. — Мы этимъ воспользуемся на выборахъ. . .

— Едва ли, другъ мой, Джованни, это открытіе произведетъ большое впечатлѣніе на вѣрующихъ . . . — сказалъ я. — Вы же слышали отъ фра Бартоломео, что пути Господни неисповѣдимы — то же скажутъ вамъ и другіе вѣрующіе. . .

— И пусть. А мы все же ликуемъ . . . — кричалъ Джованни. — И рѣшили отпраздновать съ Пе этотъ день достойнымъ образомъ. Мы пришли за вами, синьоре, — сдѣлайте намъ честь пойти съ нами въ оперу сегодня. . .

— Хотя, другъ мой Джованни, я и избѣгаю удовольствій шумныхъ, — сказала я, — но было бы въ высшей степени невѣжливо отвѣтить отказомъ на ваше любезное приглашеніе. . . Я благодарю васъ за то, что вы вспомнили обо мнѣ въ такой знаменательный для васъ день. Я охотно принимаю ваше предложеніе. . .

— И великолѣпно . . . — воскликнулъ Джованни. — И отлично! . . — и вдругъ онъ звонко щелкнулъ себя по лбу и закричалъ: — Ба, а самое-то главное я съ этимъ попомъ и забылъ! . .

Онъ быстро выскочилъ изъ комнаты и тотчасъ же вошелъ опять, неся въ рукахъ что-то тяжелое, завернутое въ синюю ткань. Съ видомъ заговорщика, подозрительно оглядываясь во все стороны, онъ осторожно развернулъ синее покрывало и —

— Божественный Платонъ . . . — прошепталъ онъ въ священномъ трепетѣ.

Я невольно залюбовался прекраснымъ бюстомъ.

— Я знаю, какъ любить синьоре искусство и древность, и вотъ разстарался . . . — подозрительно оглядываясь, тихо продолжалъ Джованни и, наклонившись къ самому уху, прошепталъ едва слышно: — Подлинникъ . . . выкраденъ изъ музея. . . Просить всего тысячу лиръ. . . Я не хотѣлъ упустить такого рѣдкаго случая для синьоре. . . Только тысячу лиръ.

— Джованни, — сказалъ я, — я вижу, что вы стали жертвой страшной ошибки. Прежде всего, это совсѣмъ не божественный Платонъ, какъ вы говорите, а Бахусъ. . .

— Какъ? Это Бахусъ? Никогда!.. — воскликнулъ онъ, забывая всякую осторожность. — Вся Италія скажемъ вамъ, что это Платонъ... Онъ найденъ при раскопкахъ Помпей...

— Что онъ найденъ при раскопкахъ Помпей, это совершенно вѣрно... — сказалъ я. — Точно такъ же совершенно вѣрно и то, что вся Италія говоритъ, что это Платонъ, и тѣмъ не менѣе, другъ мой, это все же Бахусъ...

— Но, синьоре...

— Но, милый Джованни, зачѣмъ же мы будемъ спорить? — сказала я примирительно. — Если вамъ нравится думать, что это Платонъ, я рѣшительно не имѣю ничего противъ. Напротивъ: мнѣ пріятно видѣть это ваше желаніе воплотить божественнаго автора безсмертныхъ твореній въ столь прекрасную, столь совершенную форму. Эта голова — голова бога, между тѣмъ какъ Платонъ историческій, какъ извѣстно, красотой не отличался... Но не въ этомъ дѣло — дѣло въ томъ, что ваши друзья ввели васъ еще въ одно заблужденіе: это совсѣмъ не оригиналь...

— Синьоре... Какъ не оригиналь?! Да вы знаете ли, съ какой опасностью они совершили это дѣло? Вѣдь по нимъ стрѣляли даже!..

— Это возможно... — согласился я. — Но они, значить, ошиблись, схвативъ не то, что имъ было надо. Дѣло въ томъ, что оригиналь этой прекрасной вещи изъ бронзы, — этотъ же бюстъ мраморный... Но такъ какъ все же сработанъ онъ въ высшей степени искусно и тонко, я охотно готовъ заплатить за него вашимъ друзьямъ, если не тысячу лиръ, что было бы чрезмѣрно, то... скажемъ, сто...

Джованни схватился за голову.

— Синьоре, вы говорите ужасныя вещи!.. — прошепталъ онъ трагически. — Пе, дай мнѣ тотъ стаканъ съ виномъ. Такъ, спасибо... Изъ за чего же рисковали люди жизнью? Такая ошибка, такая роковая ошибка, — вотъ ужъ подлинно *forza del destino*, какъ говоритъ нашъ старый Верди!..

— Джованни, я полагаю, что ваши друзья просто... обманули васъ... — сказала я. — Они просто приобрѣли этотъ прекрасный бюстъ въ магазинѣ, но чтобы сорвать съ неопытнаго человѣка тысячу лиръ, рассказали вамъ эту неправдоподобную исторію. Но сто лиръ, повторяю, я дамъ имъ очень охотно...

— Не понимаю... — скосивъ глаза въ сторону, бормоталъ бѣдный Джованни. — Совершенно ничего не понимаю... Но я, вы понимаете, не уполномоченъ на такую сдѣлку... И давайте мы сдѣлаемъ такъ: вы дадите мнѣ эти сто лиръ, и я оставлю этотъ бюстъ до завтра у васъ, а тѣмъ, что послали меня, я передамъ все. Если они убѣдятся въ своей ошибкѣ, если они согласятся на эту цѣну, бюстъ останется у васъ, а то я завтра же возвращаю вамъ ваши сто лиръ, а вы имъ — бюстъ... Хорошо?..

— *Va bene*... — отвѣчала я. — Вотъ ваши сто лиръ... А теперь идемъ...

— Только ради всего святаго, закройте же какъ-нибудь бюстъ, — я все же боюсь!.. — сказала Джованни. — Мы рискуемъ головой!..

Чтобы сдѣлать удовольствіе моему другу, я прикрылъ бюстъ старой газетой — синюю тряпку Джованни взялъ себѣ, — и мы вышли. Джованни быстро повеселѣлъ.

Ни на другой день, ни потомъ Джованни не вспоминалъ больше объ этой исторіи, и бюстъ прекраснаго Бахуса такъ и остался у меня.

III. — Комета Галлея.

— Э-э, синьоре!.. Добрый день!.. Васъ-то мнѣ и надо... — замѣтивъ меня, воскликнулъ мой другъ Джованни, сидѣвшій подъ тѣнью своей смоковницы съ цѣлымъ ворохомъ газетъ. — Жарко, э?

— Жарко, Джованни . . . — сказала я, садясь около столика, подь которымъ возился съ какими-то чурбачками маленькой Пе, сынъ Джованни. — И если бы вы дали мнѣ, Джованни, немного бѣлаго вина, похолоднѣе . . .

— Сю минуту, синьоре . . . — сорвался онъ съ мѣста.

— И вспомните, Джованни, что мы говорили съ вами не такъ давно о преимуществахъ воды кипяченой надъ водою сырой.

— Синьоре! . . . — съ укоромъ посмотрѣлъ на меня мой другъ.

— Ну, хорошо, хорошо, Джованни. . . Только поскорѣе . . .

Скоро Джованни вернулся съ холодной вспотѣвшей бутылкой золотистаго вина, и я жадно выпилъ одинъ стаканъ, потомъ другой этаго легкаго пріятнаго кваску.

— А мы тутъ, синьоре, совсѣмъ было рехнулись со страху съ этой окаинной кометой, — весело проговорилъ Джованни. — Въ газетахъ пишутъ всякіе ужасы, падре служить молебны объ отвращеніи бѣдствія, моя Юлія реветъ съ утра до ночи . . . И все оказалось вздоромъ! . . . Вотъ я сидѣлъ сейчасъ надъ газетами и все думалъ надъ этими предсказаніями астрономовъ. Обыкновенно я читаю, конечно, «Аванти», свой органъ, но по случаю кометы накупилъ вотъ и все это добро. И вотъ посмотрите: въ «Coggiere della Segga» туринскій астрономъ г. Піола пишетъ, что всѣ мы будемъ въ одинъ мигъ отравлены цианистымъ кали или какъ его тамъ зовутъ? Вотъ въ «Трибунѣ» г. Казелли увѣряетъ, что все живое будетъ въ одинъ мигъ сожжено въ вихряхъ невѣроятнаго пламени. Вотъ-съ дальше г. Моска, въ «Roma», утверждаетъ, что комета силой своего устремленія сорветъ съ земнаго шара, какъ вату, облегающую его со всѣхъ сторонъ атмосферу, и мы въ нѣсколько мгновений задохнемся всѣ, но возможно, что случится и иное: освобожденный отъ тяжести атмосферы, давящей на него со всѣхъ сторонъ одинаково, земной шаръ взорвется силою внутренняго огня, и мы всѣ полетимъ вверхъ тормашками . . . впрочемъ, виноватъ: г. астрономъ говоритъ, что мы полетимъ, но не вверхъ, такъ какъ въ пространствѣ, будто бы, нѣтъ ни верха, ни низа . . . Этого вотъ я, синьоре, не понималъ: куда же бы они дѣлись, верхъ и низъ? Погоди, Пе, не балуй . . . — перебилъ онъ себя, обращаясь къ Пе, который мастерилъ что-то подь столомъ и расплескивалъ наше вино. — Затѣмъ вотъ въ «Secolo» г. Трапани полагаетъ, что въ хвостѣ кометы заключается какой-то веселящій газъ, который приведетъ всѣхъ насъ въ самое веселое расположеніе духа, и всѣ мы пустимся съ веселымъ смѣхомъ въ плясъ и будемъ плясать такъ до полнаго истощенія, до смерти. А вотъ сегодня, уже послѣ того, какъ всѣ эти предсказанія не оправдались, — сказалъ Джованни и въ блестящихъ глазахъ его забѣгали лукавые огоньки, — нашъ римскій астрономъ, знаменитый синьоре Джусто, пишетъ, что всѣ эти предсказанія не имѣли подь собой никакого научнаго основанія, что эта встрѣча нашей земли съ кометой — пустякъ, о которомъ не стоило и говорить . . . Не находите ли вы, синьоре, что все это въ высшей степени замѣчательно? . . .

— Да, конечно, другъ мой, — отвѣчалъ я. — Если мы примемъ во вниманіе, что астрономія считается одной изъ самыхъ точныхъ наукъ, то все это, дѣйствительно, не можетъ, въ концѣ-концовъ, не навести насъ на довольно грустныя размышленія . . .

— А скажите, синьоре, — вы вотъ сами причастны къ наукѣ, газетамъ и ко всему этакому . . . сколько нужно времени, чтобы написать такую вотъ штуку про комету?

— Я думаю, Джованни, полчаса.

— А сколько можно получить за такую статью?

— Это, полагаю я, разню, Джованни . . . — отвѣчалъ я. — Я думаю, кто господинъ, предсказавшій земной пожаръ, получилъ не болѣе пятидесяти лиръ, ибо тема эта слишкомъ затаскана, чтобы можно было цѣнить ее очень дорого. Цѣнистый кали тоже вещь не дорогая въ данномъ случаѣ, — положимъ за него тоже пятьдесятъ лиръ. . .

— *Согро ді Вассо!* — покачалъ Джованни головой.

— Не будь они астрономами, они не получили бы и этого, — но онъ все же астрономъ, не простой человѣкъ, какъ мы съ вами. За срываніе атмосфернаго покрова съ земли и взрывъ земнаго шара можно вполне дать сто лиръ: катастрофа оригинальная, и никакъ нельзя ей отказать въ извѣстномъ величинѣ, не такъ ли?

— *Ма согро ді Вассо!* — бормоталъ Джованни.

— За веселящій же газъ и за послѣднюю пляску человѣчества, — сказала я, — я охотно заплатилъ бы на мѣстѣ редакціи двѣсти лиръ, не дешевле: *si non e vero e ben trovato*. . .

— Такъ. Ну, а синьоре Джусто, который, послѣ того, какъ ничего не случилось, пишетъ, что и случиться ничего не могло? . . .

— Синьоре Джусто, какъ человѣкъ весьма знаменитый, получилъ, вѣроятно, никакъ не менѣе пятисотъ лиръ: во-первыхъ, потому, что онъ знаменитъ, во-вторыхъ, потому, что онъ оказался правъ, хотя бы, и нѣсколько поздно, въ-третьихъ, потому, что онъ сообщилъ всѣмъ вещи въ высшей степени пріятныя: никакой катастрофы нѣтъ, да и быть не можетъ. . .

— *Рогса Madonna!* . . . — звонко щелкнулъ себя по ляжкамъ Джованни. — Двѣсти, триста лиръ за полчаса работы! . . . Я всегда говорилъ, синьоре, что много есть ремесль на свѣтѣ, которыя выгоднѣе ремесла кабатчика на глухой дорогѣ въ окрестностяхъ Рима. . . Да, вотъ что значить наука! . . . Учись, Пе, учись! . . . — назидательно обратился онъ къ Пепшино, который вылезъ изъ-подъ стола и, глядя на насъ, мирно ковырялъ въ носу. — Говори: хочешь быть астрономомъ?

— Хочу. . .

— И прекрасно! . . . Но это еще мало, быть астрономомъ, Пе . . . — замѣтилъ Джованни и продолжалъ назидательно: — Вотъ запомни завѣтъ твоего отца, Пе: никогда не торопись высказываться первымъ. Поступай всегда, какъ синьоре Джусто: не торопись, говори послѣднимъ и, если можно, старайся говорить вещи всѣмъ пріятныя. . . *Ессо!* . . . Еще бутылочку, синьоре, по случаю избавленія отъ кометы Галлея?

— Пожалуй, Джованни. . .

Джованни взялъ пустой графинъ и пошелъ въ погребъ, бормоча и по обыкновенію жестикулируя;

— Пятисотъ лиръ за полчаса работы, *согро ді Вассо!* . . . *Ma cinque cento!* Вотъ такъ синьоре Джусто, всѣхъ подкузьмилъ! . . .

Оглавление.

	стр.		стр.
Передъ зеркаломъ	5	Будущее	24
На ея могилкѣ	5	Плѣнные	24
Ночью	5	На перекресткѣ	25
Ужась	6	Что же главное?	26
Человѣкъ изъ папье-маше	6	Перль	26
Тайна	7	Кровь	26
Жестяная лампочка	7	Грѣхи	26
Летучія мыши	8	Двѣ истины	27
Старая сказка	8	Туманное утро	27
Одиночество	8	Morceaux moscovites	27
Общее мѣсто	9	Эзопъ	28
Овсянка	9	Основное	29
Большое дерево	10	Старыя вещи	29
Тише	10	Побѣжденныхъ не судять	29
Къ другому берегу	10	Жизнь	30
Сумерки	11	Люди	30
Тѣни	11	Эгоцентризмъ	31
Голосъ далекаго брата	11	Въ развалинахъ Помпей	32
Картинка	12	На могилкѣ	32
Облачный день	12	Тайна	33
Будущее	12	Въ забытой усадьбѣ	33
Жемчужинка	12	На волю	34
Ангель-хранитель	13	При ликованіи утреннихъ звѣздъ	34
Воздадимъ хвалу Ему!	13	Остановись, мгновенье!	35
Ave Maria	13	«Устраивайтесь»	36
Простите меня!	14	Молчаніе	37
Мечта	14	Изъ окна вагона	38
Два потока	15	Ver Sacrum	38
Волны	15	Мгновеніе	40
О терпимости	16	О покоѣ	40
Въ дорогѣ	16	Душа человѣческая	41
Безъ выхода	17	Сфинксъ	42
Золотые сны	18	Я не нахожу границъ себѣ	43
Ноктюрнъ	18	Разбитый сатиръ	43
Не понимаю	20	Храмы	45
На солнцеповоротѣ	20	Аскетизмъ	45
Кто это?	21	Обычай	45
Невозвратное	21	Надъ моремъ	47
Вечеръ	22	Въ развалинахъ	47
Враги жизни	23	Ребенокъ	48
Св. Клара	23	Прилетѣли ласточки	48
Они ошибаются	23	Искры	48

Буря	стр. 49	О наслажденіи	стр. 76
Симфонія Шуберта	49	Чѣмъ хотѣлъ бы я стать?	77
Осень	50	Богъ	78
Всюду жизнь	50	Береза	78
Что всего страшнѣе?	51	Зарожденіе искусства	79
Враги	51	Три ступени	79
Привычка	51	Фиалки	80
Жизнь	52	Надъ портретомъ Писарева	80
Они ждутъ	53	Обручальное кольцо	82
«Святая Русь»	54	Истина, добро, красота	83
Во мракѣ	54	Слово	83
Путаница	55	Старуха и пѣтухъ	90
День рожденія	55	О біографіяхъ	90
Люся	56	Критика	91
Цвѣты съ забытыхъ могилъ	56	Въ бутылкѣ	92
Въ саду	58	Элон и морлоки	94
О свободномъ воспитаніи	58	Надъ старымъ камнемъ	96
Жизнь	58	О бесѣдѣ	96
Равенство предъ страданіемъ	59	Прямая, всеобщая чепуха	97
Трудъ	59	На охотѣ	98
Отдыхъ	60	Въ морѣ	100
Карануль	60	Апостоль Ѳома	105
Противорѣчія	60	Вѣрочка	105
Три сосны	61	Мати-пустыня	105
Я	61	Сіяющая земля	107
Въ канадской глуши	61	Тяжелая минута	108
Въ лѣсу	62	Слова на снѣгу	109
Подъ сводами церкви	64	Паукъ	109
Саркофаги	64	Книга	110
Venus Victrix	67	Надо вмѣстѣ	110
Снѣжные шары	69	Наука	111
Когда міръ былъ молодъ	70	Внучка Каина и внучка Сива	111
Контрасты	71	Вѣчное чудо	113
Книги	73	«Уничтожайте бабочекъ»	113
Дѣти	74	Безъ цѣли	113
О свободѣ мысли	75	Богу или маммонѣ?	114
Парадоксъ	76	Мой другъ Джованни	115









